

ГРАНИ

12

1951

Берлину

*— сердцу касания двух миров,
форпосту революционной
борьбы за свободу и человече-
ность —*

посвящается этот номер.

Год издания VI

Выходит 4 раза в год.

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

№ 12

1951

«ПОСЕВ»

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- С. Юрасов
«Врат народа» (роман) 3
- О. Ильинский
Рядом с фронтом (стихи) 78
- Г. Андреев, Л. Ржевский
Награда (пьеса) 87
- Николай Моршен
Океанские стихи 118
- Б. Филиппов
О многом 125
- Аглая Шишкова
Грибная баллада 135

КРИТИКА

- Н. Берберова
Владислав Ходасевич,
русский поэт 140

ПУБЛИЦИСТИКА

- А. Трушнович
Берлин — окно в Россию 145
- Эрнст Ройтер
Речь на собрании «Свободного
Союза русско-немецкой дружбы»
13 мая 1951 года в Берлинской
городской опере 162

- БИБЛИОГРАФИЯ 165

«ВРАГ НАРОДА»

Глава первая

В квартире темнело. В декабре сумерки быстры. Федор попрежнему стоял у окна и глядел сквозь полузапотевшее стекло. Снег перестал, тихий переулочек казался сверху полозой бумаги, а автомобиль Федора — большим зелёным жуком на ней.

На тротуаре уже протоптали мокрую дорожку. Редкие прохожие скользили и шлёпали по снежной каше. «Слякоть», — подумал Федор, — «слякоть на дворе, слякоть во всём...»

Шли низкие косматые тучи. Откуда-то сзади, из-за дома, медленно клубясь, растягиваясь и разрываясь, они плыли за дальние белые крыши. Мысли были, как тучи, — отрывочные, бесформенные, тоскливые.

В окне напротив зажгли электричество. Федор увидел украшенную ёлку. Вспомнил о письме. Оно лежало тут же, на подоконнике. Письмо Соны, сестры. Поздравляет с наступающим Рождеством. Сырой берлинский вечер, как он не похож на русские вечера в сочельник! Правда, православное Рождество через две недели. Откуда-то из памяти выплыл далёкий день: мороз, солнце, он, золотоволосым мальчиком, в новом костюмчике, бегаёт с Соней по комнате. Соня тоже в праздничном платье, косы в лентах. Ждут маму итти в церковь. И сразу же дёрнулась щека. Мама! Как живая, вспомнилась, какой оставил, уходя на фронт, — старенькая, вся — забота и беспокойство о нём, о Федюш-

ке-сынчике... Соня пишет: «мама так и не дождалась... Ты для неё до последнего дня всё был мальчиком, и не верила фронтовым фотографиям, хотя гордилась, что офицер». «Мама, мама, умереть за день до освобождения города!» Он был тогда на ленинградском, когда пришло письмо. И вспомнил острую боль и слёзы в лесу, чтобы никто не видел, и первое удовлетворение от боя и вида вражеских трупов на снегу. Соня и в этом письме пишет о последних маминых словах: «Феде скажи, чтобы во всём был человеком... чтоб человеком был...» Он знает, что хотела сказать этим мама, и ему уже не доставляют удовлетворения воспоминания о трупах на снегу...

И тут же вспомнил он плачущего старика-немца. Казалось бы, пора привыкнуть — какое ему дело до всего этого! Но он уже не мог не думать о плачущих глазах старика... Когда Федор стал просить замполита, тот удивлённо посмотрел и сказал: «Не сентиментальничайте, майор, его два станка помогут одному из наших заводов выполнять план. Мало они у нас забрали?» Кто они? Разве старик забирал?

Сегодня к Федору в комендатуру прибежал старик, владелец маленькой мастерской. Сорок лет этот человек делал из дерева фигурки ангелочков, зверей, детей и святых. Во время бомбардировок, месяцами жил в мастерской, решив умереть вместе с

нею. И когда однажды попала зажигательная бомба — бросился тушить и изуродовал пальцы левой руки. И вот теперь прохвост в капитанских погонах — Федор ясно видел перед собою толстое самодовольное лицо демонтажника — в желании выслужиться перед своим министерством, для которого демонтировал рядом с мастерской мебельную фабрику, решил заодно прихватить и два станочка старика. И имеет наглость называть это «патриотическим долгом». Федор обязан помогать демонтажу фабрики — на это есть постановление Особого Комитета и приказ Комендантского Управления, но он не мог допустить незаконного ограбления ни в чем неповинного старика.

Тот давно опасался «герр гауптмана» — этого толстого «сабуровца»*), и, как узнал Федор, задабривал его — дарил ему деревянных ангелочков и зверей, а однажды зачем-то подарил ему крест с распятым Христом — откуда было знать старику, что пьяный «герр гауптман» станет забавляться ненужным ему подарком: толстяк швырял крест далеко в снег, а его собака, черная длинношёрстная такса, проваливаясь в снег, искала и приносила своему новому хозяину. Куда бы тот ни забрасывал крест, собака отыскивала и приносила, и распятый Христос, с мукой на деревянном лице, лежал у ног толстяка, и тот приходил в ярость и забрасывал снова. Кончилось тем, что солдат, рассказавший об этом Федору, выкрал крест и отдал немке-уборщице.

Когда в мастерскую ввалились во главе с «герр гауптманом» рабочие и принялись вытаскивать станки, старик побежал в комендатуру. Задохшись от бега, показывая изуродованные огнём и работой руки, в которых держал одетую по этому случаю фуражку «рот-фронт», он просил «герра майора» оставить ему его станки — единственное средство к жизни семьи:

*) «Сабуровцы» — демонтажники. Главой всех демонтажников в Германии был Сабуров (1945 год), ныне председатель Госплана СССР.

«Я никогда не работал на войну! Мой единственный сын погиб в концентрационном лагере! У них нет постановления на демонтаж моей мастерской! Спасите меня, Herr Major!»

И Федор помчался на фабрику и накричал на толстяка, но станки уже были погружены в вагон, и он приказал этому цивильному капитану ехать с ним в комендатуру и потащил к коменданту, но полковник, как всегда, решил «не вмешиваться» и направил их к замполиту.

Замполит же решил, что кроме «пользы Советскому государству» от этого ничего не будет. Старик заплакал и, кивнув Федору, ушел пошатываясь.

«Что я могу сделать, мама? Вот и у Сони тоже что-то не так, о чём она не дописывает. Надо бы съездить к ней — отпуска не дают».

Федор взял письмо, спрятал в карман кителя и отошел от окна. В полумраке разыскал на буфете бутылку и прямо из горлышка сделал два больших глотка. Потом прошелся опять, посмотрел на мокрый снег улочки и снова подумал о наступающем Рождестве. Рождество — это детство. В стране, к которой принадлежал он, Рождество — «пережиток отмирающего мира». Рождества нет, нет мамы, нет семьи. Есть только он — боевой майор, кавалер пяти орденов, бывший начальник инженерной службы танковой дивизии, теперь — помощник коменданта района по экономическим вопросам, есть одиночество и эта усталость.

Хмель теплом разлился по телу. Мысль стала ярче и тревожнее. Когда вошел Карл, Федор ходил по комнате большими шагами.

— Господин майор, можно мне быть свободным? Weihnachten наступает. Мне хотелось бы встретить праздник со своей невестой и родными.

Вот и его шофер имеет и семью, и невесту, и Рождество. Федору стало жалко себя и он отвернулся к окну:

— Конечно, Карл. Ты свободен на все праздники. Если что-нибудь будет экстренное — я позвоню.

но девушка, по-моему, догадалась, господин майор. Очень благодарили.

«Не любит старуха русских. Наши всю войну орали «убей немца», а нет уже злобы на них. Особенно против таких, как эти, — беженцы, раздавленные войной. Но как им это скажешь?»

Достал из ящика приготовленный свёрток:

— Вот, Карл, для тебя и твоей невесты. — *Weihnachtsgeschenk*. Возьми еще бутылку вина и выпейте за мое здоровье.

Herzlichen Dank, Herr Major! — и, немного помявшись, маленький, глядя снизу на высокого Федора блестящими глазами, добавил:

— Вы очень хороший человек, господин майор. Я хочу сказать, что никогда не думал, что русские бывают такими.

— Спасибо, Карл. Желаю тебе хороших праздников. — Потом добавил: — У каждой нации есть хорошие и плохие люди. Поверь мне, что русский народ — не плохой народ, но что поделать, если времена заставляют делать всякое.

— *Es ist recht, Herr Major.* Мы тоже в России часто делали плохое, т. е. не мы, солдаты, а эсэсовцы.

— Ну, хорошо, Карл. Есть старая русская поговорка «кто старое помянет — тому глаз вон», — и, заметив сор на ковре, спросил.

— Почему не приходит уборщица, Карл?

— Она собиралась уезжать, господин майор.

— Надо узнать, Карл. Или нанять другую. Так, говоришь, были довольны, что подвёз?

— Очень, господин майор. Они несчастные люди: муж — капитан тран-

спортного судна, погиб у берегов Норвегии, сын — в русском плену, дом и все имущество отняли поляки — они из-под Штетина. Очень бедствуют.

Федор вспомнил, как однажды встретил «девушку в солдатских ботинках» — она тащила на себе тяжелый рюкзак с картошкой. Печальным приходит для них Рождество. Вспомнил плачущего старика. Взгляд его остановился на куче покупок.

— Знаешь, Карл, нельзя ли им что-нибудь подарить на Рождество? Только чтобы не знали, от кого.

Карл посмотрел на своего хозяина, будто впервые увидел его:

Можно, господин майор. Я могу послать мальчика, которого они не знают.

Федор обрадовался и стал без разбора откладывать свёртки. Потом сложил в одну из картонок.

— *Es ist zu viel, Herr Major.*

— Ничего, Карл, — ему стало вдруг так хорошо, что, если бы он мог сейчас послать для этих, чужих ему, людей целый автомобиль подарков, — он сделал бы это, не задумываясь.

— Надо бы что-нибудь написать, господин майор.

Федор не знал, что пишут в таких случаях, но, вспомнив, что они в церкви, пошел в кабинет, позвав с собою Карла. Подумав, сказал: «Пиши» — Карл тщательно вывел на листке бумаги: «Все люди братья».

Федор с охватившим его восторгом, совсем забыв свое настроение, крепко пожал руку шоферу:

— Спасибо, Карл. Машину оставь внизу. Может быть я поеду.

— Желаю вам счастливых праздников, господин майор.

— Спасибо, Карл, и тебе тоже.

Глава вторая

Федор решил поехать на квартиру к коменданту — полковнику Баранову. Остаться в пустой квартире он не мог.

Баранов жил замкнуто, из офицеров

комендатуры у него бывали только Федор и замполит, подполковник Марголин. Марголин — потому, что был политическим заместителем Баранова, а Федор больше потому, что

Тоня, жена Баранова, молодая женщина с тихим лицом, на двадцать лет моложе мужа, все время занятая четырехмесячным сыном и хозяйством, всегда была рада Федору. Из семьи мелкого служащего, она в войну была телефонисткой в полку, где служил, тогда еще капитаном, Баранов — женатый, имевший двух детей. Там же, на фронте Тоня стала его «ППЖ» — «походно-полевой женой», как называли фронтовых подруг. После войны, уже полковник и комендант, Баранов решил жениться на молодой девушке. Развод после войны стал делом трудным. Страну охватила эпидемия разводов — суды отказывали даже генералам. Но, пользуясь связями, которые давала служба коменданта в Берлине (кто только ни приезжал из Москвы — и прокуроры, и члены Верховного Суда — и всех принимал и одаривал Баранов), он всё удачно устроил: развелся и женился на Тоне.

Федор догадывался, что Тоня пошла на этот брак из-за общей после войны усталости, от бедности и бесперспективности дома, куда она должна была вернуться после демобилизации. Мужа старалась любить, сыну обрадовалась и была по-своему счастлива. Когда приходил Федор, она играла с ним в четыре руки Рахманинова, говорила о книгах, которые доставал ей Федор из библиотек арестованных или сбежавших русских эмигрантов, советовалась, где можно купить что-нибудь для хозяйства.

Сам комендант в комендатуре держался с офицерами официально, дома или когда оставался с Федором с глазу на глаз — относился к нему покровительственно. Тогда лицо его и голос словно говорили: «ничего, брат, не поделаешь — служба!» Баранов был членом партии более десяти лет. Где партийным билетом, где природной смекалкой и умением угождать начальству, он сумел за войну, не участвуя в боях, выслужиться из капитана в полковники. Малообразованный, он был, что называется, «хитрым мужиком» и понимал, что инженер Федор нужен ему, как хороший

помощник в вопросах, в которых он, Баранов, мало разбирался.

После долгих объездов разбитых улиц Федор выехал на Александер-платц. Зажглись редкие уличные фонари. Прохожие торопливо спешили по домам. На фоне уже темного, но все еще розоватого неба развалины высились декорациями к какой-то фантастической драме.

У Бранденбургских ворот машину остановил КП*). Федор затормозил, но лейтенант комендатуры «Штадт-Митте» узнал его и махнул проезжать.

Пустынное, заснеженное Шарлоттенбургеншоссе с черными изуродованными стволами Тиргартена по сторонам пахнуло холодом и одиночеством. Федор, вместо того, чтобы проехаться, как хотел вначале, поторопился свернуть у памятника Седану — в свинцово-тяжелом небе золотой ангел осенял победным венком лежащий в развалинах многомиллионный город, на голове и на плечах ангела был снег, и он казался горбатым, с забинтованной головой.

Комендант жил в Панкове, в городской центральной комендатуре. Немецкий полицейский, разглядев советский номер машины, поднял тонкий полосатый шест, и Федор въехал в тихую, в снегу, идущую полукругом улочку. По сторонам стояли виллы: дом полковника Елизарова — политического руководителя берлинской комендатуры, дом коменданта Берлина генерал-лейтенанта Смирнова — у подъезда стоял автомобиль, возились денщики и адъютант, вытаскивая какие-то пакеты и ящики с бутылками. В стороне виднелась большая вилла полковника Колчина — уполномоченного МГБ при Центральной Комендатуре, у входа мерз солдат-постовой.

Подъехав к чугунным воротам дома Баранова, Федор затормозил и нажал на сигнал. Сквозь решётку на фоне снега чернели стволы деревьев и статуи. От ярко освещённого входа по снегу тянулись мягкие светлые тени.

*) КП — контрольно-проверочный пункт.

К воротам выбежал Франц — немецкий шофер коменданта.

— Guten Abend, Herr Major!

Федор подъехал к колоннаде входа, где уже ждал Ваня — посыльный и «комендант» дома.

Федор отдал машину и пошел по широким ступеням входа.

«Как в старой помещицкой усадьбе». — Ему даже показалось, что где-то в музее или на иллюстрации старого журнала он когда-то видел такой дом, с колоннадой, зеркальными дверями. Что-то напонило дома русских дворян, о которых читал в романах Тургенева, Гончарова, Толстого.

Горничная Лиза, девушка из репатриированных, невеста Вани, могла снять шинель и, блестя зубами, находку сообщила:

— Полковник Марченко со своей, полковник Рыльский с женой и какой-то гражданский — министр, что ли.

От теплого воздуха дома, от мягкого света бра, зеркал и ковров в коридоре Федору стало уютно и тепло. Снова вспомнилось что-то из книг. И, хотя он знал, что роскошь эта — временная случайность, ему вдруг захотелось думать, что жизнь книг стала явью.

Из гостиной доносились голоса. Дверь открылась, и в темном вечернем платье вышла Тоня. Федор подумал: «хозяйка дома встречает запоздавшего гостя».

— Федор Михайлович, как хорошо, что вы приехали. Здравствуйте.

Здороваясь, Федор почувствовал, что ей тоже приятно играть роль «молодой хозяйки большого дома». И от этого стало особенно хорошо и весело.

В ярко освещенной гостиной — в коврах, бронзе, цветах, с дорогой мебелью — было накурено. Вокруг длинного стола сидели гости.

— Здравия желаю, — громко поздоровался Федор.

Из-за стола, в расстегнутой гимнастерке, поднялся Баранов и, тоже играя гостеприимного хозяина, пошел Федору навстречу. Пожав руку и не выпуская ее, повел к креслу, в котором сидел незнакомый Федору чело-

век с длинным бледным лицом, в синем костюме и фетровых бурках.

— Разрешите представить, Иван Данилович, моего помощника, боевого офицера, героя ордена Ленина и многих других, майора Панина.

Федору стало неприятно, что вышло не так, как ему хотелось, — войти и после общего поклона поздороваться с дамами, а потом с мужчинами. Видно, этот в костюме был большим начальством и зачем-то нужен полковнику.

Гость, не вставая, подал холодную руку и показал желтые, длинные зубы. Очень светлые глаза смотрели остро и, как казалось Федору, презрительно.

Игра явно портилась, спас Марченко: крупный, седой, краснолицый, в форме полковника, уже изрядно подвыпивший, он громко через стол приветствовал Федора:

— Федорушка! Вот молодец, что приехал! Иван Данилович, прошу любить и жаловать — наша гордость и наша надежда, смотрите, какой молодец! Я его всё уговариваю демобилизоваться и катать ко мне на комбинат — замечательный работник!

Федор догадался, что штатский из Москвы — заместитель Министра Целлюлозно-бумажной промышленности — хозяин Марченко. Сам Марченко, директор Архангельского Химико-бумажного комбината, уже более полугода находился в Германии, возглавляя министерскую группу демонтажников.

Баранов до мобилизации в армию работал в системе того же министерства каким-то заведующим лесных разработок и теперь «подготавливал» для себя, на случай демобилизации, «теплое местечко на родине». Для этого водил знакомство с Марченко, помогал его группе, широко принимал и одаривал приезжих начальников из министерства. Федору успела надоесть барановская «политика» — тот всех посылал к нему за записками в немецкие магазины и фирмы района на белье, трикотаж, платье. Федор называл их «саранчой» и с трудом переносил их бесконечные просьбы.

Он и сейчас подумал о госте: «и этот будет просить».

Рядом с заместителем министра сидела жена Марченко — худая женщина с острыми глазами, ужасно надоедавшая Федору просьбами о записочках. При виде Федора она даже привстала:

— Здравствуйте, товарищ майор.

Рядом с ней сидел инженер-полковник Рыльский — плотный коротко постриженный блондин с энергичным белым лицом. Рыльский, как всегда, больше слушал, чем разговаривал сам. Федор знал его как толкового и делового инженера — Рыльский работал в Управлении Ремонтных и Поставок, во время войны служил в инженерном управлении 5-ой армии, — но недолюбливал его за холодность и скрытность: «застегнут на все пуговицы».

Екатерина Павловна, жена Рыльского, смотрела на вошедшего Федора, словно его появление обрадовало её. Тёмные глаза были, как всегда, внимательны и как-то радостно настойчивы. Закрытое черное платье делало смуглое лицо бледнее, а глаза ярче. Гладко причёсанные на пробор волосы кончались сзади тяжелым узлом. Чуть-чуть полноватое напудренное лицо было неожиданно, после глаз, спокойно. Федор встретился с Рыльской летом здесь же, у Баранова. Она приехала с Марченко. В тот день что-то произошло приятное, и Федор был оживлен и остроумен. Присутствие красивой женщины еще больше оживило, и он в шутку ухаживал за нею, нарвал огромный букет сирени, проводил до автомобиля. Потом Марченко, видно, рассказал ей о Федоре в обычном для него тоне преувеличения качеств Федора. С тех пор Федор ловил на себе внимательный взгляд Рыльской. Она не раз приглашала его к себе. Приглашал и Рыльский, но Федор, недолюбливая того, так ни разу у них и не был. Марченко однажды, захмелев, заговорчески сказал Федору: «Эх, Федорушка, будь я на твоём месте...», но Федор уклонился от разговора. Всякий раз, встречая Рыльскую, он ощущал, вме-

сте с приятностью, какое-то беспокойство. В ней было нечто иное, чем то, что Федор видел и знал в лицах других женщин. Но на этот раз Федор обрадовался ей, ему снова захотелось игры, и он с удовольствием поцеловал маленькую горячую руку.

— Садись, Федя, между хозяйкой и Екатериной Павловной. Развлекай дам! — крикнул со своего места Баранов.

Марченко немедленно налил в винный бокал водки и протянул Федору:

— Федорушка, догоняй!

Федор с ухарством, которого все ждали от него, опрокинул бокал и стал закусывать.

— Еще одну! — Федор выпил другую. — Вот как пьют наши! Никакая другая нация на свете не может так пить! — горячася, обратился Марченко к гостю.

Гость ковырял зубочисткой в углу рта и разглядывал Федора. Федор заметил, что перед гостем стоял бокал с яблочным соком. «Больной!» и почему-то обрадовался.

— А знаете, Иван Данилович, как Федя перепил американца? — отвлекая внимание гостя, захохотал Баранов.

— Ну-ну? — промычал гость.

— Передавал я это американцам район Далем. Устроили, как полагаются, совместный банкет. Выпили, конечно. И вышел у меня разговор с их полковником, новым комендантом — кто крепче в выпивке. Я говорю — русские и в войне и в выпивке крепче, а он смеется и говорит — не верю. Стал я доказывать, а он мне — «О'кэй!» и позвал какого-то своего капитана; детина, я вам доложу — во! Рыжий, конопатый, но здоров! Я и говорю Феде: «выручай, майор, честь русского солдата», а сам шепчу: «масла глотни, масла». Федя послушался, глотнул незаметно грамм сто масла и сел против рыжего. Стали они пить из одного стакана, так сказать, — ха-ха-ха! — в честь дружбы союзников! Сначала водку, потом виски, потом опять водку, опять виски; Федя по-нашему, по-русски, на закуску нажимает, а тот воду со льдом да фрукты

больше. Тут Федя и говорит: «Это что, мол, — подать сюда спирту!». Я уж думал — опупел. Принесли спирту. Федя в один стакан спирту, а в другой пива — нашего «ерша»-то! Хватили они, добавили по мелочи, американец и свалился. Даже врача вызывали. Вот смеху было! Федя же такой жох — скорей в туалет, два пальца в рот и — всё в порядке! Вернулся в зал, как ни в чем не бывало, и такие фокстроты с их американками стал выделять, что они только рты раскрыли! Одна, полковника дочка, долго еще потом приглашения присылала, да нельзя — сами понимаете.

Марченко, давно знавший эту историю, хохотал громче всех: — Шалишь, брат, нет на земле крепче русской силушки!

— И смекалочки! — сквозь смех крикнул Баранов.

Гость тоже показывал зубы, но Федору казалось, что считает его, Федора, дураком. Ему стало неловко и стыдно: он до сих пор краснел за эту выходку, разнесшуюся по всему Берлину, — тогда в крови было опьянение и угар войны и радость от сознания, что остался жив.

Тоня вышла по хозяйству. Рыльская молча смотрела на Федора. Чтобы скрыть неловкость от рассказа Баранова, Федор наклонился над тарелкой и делал вид, что занят едой. Но когда гость забарабанил пальцами по ручке кресла и сказал ничего не значущее «м-да-да!», Федор вдруг разозлился. Чтобы досадить гостю, громко рассмеялся и, глядя на одного Баранова, спросил:

— А помните, товарищ полковник, какой тост предложил тогда американский комендант?

Баранов растерянно засмеялся. Ему и хотелось еще посмешить гостя, и что-то его смущало.

— Давай, Федорушка! Давай, рассказывай! — крикнул Марченко.

— Поднял он тогда на банкете тост «за замечательных русских людей, героически и самоотверженно преодолевающих трудности!» Мы, конечно,

«ура-а-а!», а он выждал и добавил: «беда лишь в том, что эти трудности они создают себе сами».

Марченко захохотал. Рыльский улыбнулся углом рта. Гость пожевал губами, а потом обнажил зубы, и Федору показалось, что он собирается кусаться. Баранов смотрел то на Федора, то на гостя и, когда тот показал зубы, виновато засмеялся.

Федор взял бокал и повернулся к Рыльской:

— Хотите выпить, Екатерина Павловна?

Та посмотрела ему в глаза и вполголоса ответила:

— С вами — с удовольствием, — а потом, обращаясь уже ко всем, громко сказала:

— Товарищи! Есть предложение выпить.

Все обрадовались предлогу и с шумом потянулись чокаться. Гость чокался своим «апфельзафтом».

Хрусталь бокалов Федора и Рыльской, оттого ли, что остальные чокались неосторожно, или отчего другого, зазвенел как-то особенно: интимно и печально. Оба заметили это и посмотрели друг на друга.

Пили старое французское вино, где-то раздобытое расторопным Ваней.

— Почему вы, Федор Михайлович, так и не заезжаете к нам, ведь я приглашала вас? — тихо спросила Рыльская.

— Работы много, Екатерина Павловна.

— Нельзя же жить таким затворником. В ваши годы надо больше бывать на людях.

— Где там с людьми. Даже в отпуск не пускают к сестре съездить.

Рыльский, откинувшись на высокую спинку стула, разговаривал с женой Марченко. Баранов с Тоней показывал гостю картины — на стенах висели три превосходные копии Мурильо. Федор как-то рассказал Баранову про Мурильо и с тех пор слышал не раз, как тот, будто невзначай, говорил своим гостям: «вот замечательные копии замечательного испанского художника Мурильо». А гости, как и

этот, наверное, слушали и думали: какой, однако, Баранов культурный — даже испанских живописцев знает.

— Нет, вы обязательно должны бывать на людях. И еще... не пить так много.

— Николай Васильевич, ваш любимец жалуется, что ему отпуска комендант не дает.

— Да зачем он тебе, Федорушка? Или жениться задумал — там понем не одна вздыхает! Что ж, если так, похлопочу — поезжай. Кстати, моя Мария Ивановна тоже собирается после Нового года — вместе и поезжай. Поможешь ей в Бресте при пересадке: там, говорят, по неделям сидят.

— Вы его хотя бы к себе пригласили, а то он совсем скиснет в работе, — засмеялась Рыльская.

— И то правда. Приезжай, Федя, к нам в следующее воскресенье. Охоту устроим — у нас там зайцев, зайцев! Екатерину Павловну с полковником вытянем.

— Не знаю, товарищ полковник, — как начальство.

— А мы сейчас и начальство потянем. Послушай, полковник! — Марченко отошел к Баранову, беседовавшему с гостем:

— Выберись с женой в следующее воскресенье к нам, на охоту. А? Иван Данилыч, может быть, тоже согласится?

Гость показал зубы:

— Нет, товарищ Марченко, я в Германию приехал не на зайцев охотиться. Да и вам не советую — лучше с транспортом поторопитесь.

Марченко от замечания начальства увял и замямлил что-то в оправдание. Баранов, поняв реакцию гостя, потопился:

— Какая там охота, полковник, дел по горло.

В комнате стало скучно, все замолчали. Снова выручила Тоня, пригласив к столу.

Баранов подозвал Федора и усадил его рядом с собою и гостем. Чокаясь, Федор не утерпел и спросил:

— Товарищ заместитель министра, а почему вы не пьете вина?

Гость снисходительно улыбнулся.

— Я свою цистерну давно выпил. Теперь врачи запретили.

Баранов придвинул кресло и, сделав официальное лицо, заговорил вполголоса:

— Вот что, товарищ майор, — Ивану Данилычу нужно достать машину, и не какой-нибудь «Опель», а солидную, с хорошей амортизацией и отоплением. Иван Данилыч должен объезжать заводы, а состояние его здоровья — Федору показалось, что Баранов чуть не сказал: «драгоценного здоровья» — требует тепла и покоя. Что можно сделать?

Федор знал, что в гараже комендатуры были запрятаны «Майбах» и «Хорьх», но про них знала Центральная Комендатура, и Баранов не мог ими распорядиться для своих личных целей. Федору захотелось просто отказать, но тут же подумал, что по-иски автомобиля освободят его на несколько дней от надоевшей работы и он сможет заехать в дивизию:

— Здесь, товарищ полковник, не достать. Все хорошие машины растащили. Надо куда-нибудь в провинцию съездить.

— Сколько тебе для этого нужно времени?

— Дня три и чистый бланк паспорта на машину, чтоб не задержали в пути и не отняли.

— Хорошо. Можешь выезжать хоть завтра. Бланк дам. В комендатуре распорядись у себя на эти дни. Только чтоб машина была первоклассная.

Гость сидел и ковырял зубочисткой во рту, не вмешиваясь в разговор. Федору показалось, что тот недоволен посвящением его, Федора, в это дело.

Глава третья.

— Что это, Инга?

— Я не знаю, мама.

Лампочка осветила комнату с закопчёнными стенами и темным деревянным потолком. На столе, покрытом чистой старенькой скатертью, стояла маленькая ничем не украшенная ёлочка с двумя свечами.

Старуха, тяжело дыша, опустилась в плетёное кресло. Девушка поставила картонку на стол и принялась лихорадочно вынимать на стол свёртки. Когда она вынула бутылку вина и тяжёлую бутылку шампанского, глаза старухи напряглись, она с трудом поднялась и, держась за спинку кровати, подошла к столу.

Рядом с бедной ёлочкой лежали нарядные коробки и свёртки. Два пакета развернулись, старуха увидела розовую ветчину и сыр. Странно празднично блестело золото и серебро бутылочных этикеток и коробок.

Опустив руки, девушка испуганно смотрела на мать.

— Что это, Инга?

— Я не знаю, мама.

— Кто это прислал тебе? Откуда этот мальчик?

— Это не мне, мама.

— Ты лжешь! Ты лжешь матери! Отвечай немедленно — кто это тебе прислал? — лицо старухи искажилось и она схватила слезы за грудь.

Девушка со слезами повторила:

— Я не знаю, мама.

— Это русское! Видишь, это русское вино! Русские проклятые буквы! Видишь! — голос старухи переходил в крик.

— Ради Бога, успокойся, мама! Клянусь тебе, я ничего не знаю.

— Не трогай руками! Это всё поганое и всё краденое! У Германии краденое! Сейчас же собери и выбрось! Сейчас же, немедленно!

Губы девушки задрожали и, глотая слезы, она стала складывать свёртки в картонку. И только тогда заметила записку. Увидела и старуха:

— Что это? Сейчас же отдай! — Схватила и дрожащей рукой поднесла

к глазам. Потом растерянно посмотрела на дочь и, обессилев, опустилась в кресло. Посиневшие губы её что-то шептали. Девушка не решалась взять записку. С первого мгновенья, как и с автомобилем, она поняла, что это он. И продолжала стоять у столика, глядя широко раскрытыми глазами на мать.

— М-а-а-а-ма!

Старухе стало дурно. Бросилась к ней, потом — за водой и, не зная, как помочь, страшно испугавшись, стала целовать безжизненные руки матери. Когда уложила на кровать и укрыла одеялом, стала на колени и принялась гладить седую голову и похолодевшие лоб и щеки. Глаза невольно остановились на упавшей на пол записке и прочли.

Старуха мутным взором смотрела прямо перед собой. Казалось, что она еще не пришла в себя, но вдруг, не меняя выражения глаз, так же не двигаясь, она спросила, с трудом выговаривая слова:

— Инга, поклянись мне, что ты не знаешь, от кого, этот Weihnachtsgechsenk?

— Клянусь, мама, — торопливо ответила девушка и тут же опять подумала, что, наверно, от него — этого высокого офицера сверху.

Старуха словно догадалась:

— Это, наверное, майор, чей шофер подвёз нас в церковь.

— Не знаю, мама. Я никогда не разговаривала с ним. Соседи говорят, что он очень хороший человек. Может быть и он.

Старуха скосила на дочь глаза:

— Мы не можем принять подарок, Инга. Он носит мундир убийц твоего отца и, может быть, твоего брата — моего мужа и моего сына, Инга.

— Я не знаю, мама.

— Ты должна вернуть ему это. Поблагодари, но верни.

— Хорошо, мама... — Потом тихо добавила: ему будет больно, мама. Он написал: «все люди братья». Сегодня Pfarrei говорил то же самое. Может

быть, в России такие же хорошие люди помогут нашему Петеру. — Девушка знала смертную тоску матери по сыну и ей не хотелось обижать этого офицера, о котором столько раз думала, особенно, когда он играет наверху, и, что всегда поражало, — её любимую «Лунную сонату».

— Может быть, тебе стоит поговорить с ним, и он подскажет, куда нам писать о Петере, или сделает что-нибудь для него?

Старуха промолчала. Девушка напряженно ждала. Где-то далеко на улице раздался выстрел.

— Твой отец не простит нам, Инга.

— Я думаю, что папа понял бы. Может быть, у этого офицера тоже несчастье в семье.

Старуха опять ответила не сразу:

— Прочти мне записку.

Девушка подняла записку и шопотом прочла:

— «Все люди братья».

Старуха всё так же смотрела в потолок. Потом из глаза, который был виден девушке, медленно показалась слеза и, скользя по морщинистому виску, упала и расплылась на подушке. Девушка прижалась щекой к плечу матери.

Вдруг погас свет — обычное выключение сети их района. Только окно серело вырезанным в темноте четырехугольником. Мать и дочь не двинулись и молчали, каждая думая о своем.

Под окном, громко разговаривая, прошли подростки. Проехал автомобиль — со стены, через потолок, ломаясь на углах, на противоположную стену проплыла светлая тень.

— Зажги свечи. Встретим нашу рождественскую ночь без злобы в сердце. Простит нам Господь Бог.

Старуха с помощью дочери поднялась. Села за стол, подвинула к себе картонку и стала медленно вытаскивать и медленно разворачивать свёртки. Девушка стояла рядом и больше смотрела на мать. Потом, угадав желание той, принесла тарелки и две чашки.

От вида давно забытых яств: ветчины, икры, колбасы, семги, сыра,

сладостей глаза старухи заблестели, руки задрожали больше обыкновенного и она, не удержавшись, стала жадно пробовать то одно, то другое.

Когда стол был готов, а аккуратно завернутые пакетики убраны в шкаф и за зимнюю раму, девушка откупила бутылку со странным названием «Узбекистан» и налила в чашки густого красного вина. Шампанское старуха решила продать на черном рынке, где бутылка стоила триста марок.

— Prosit, мама.

— Prosit, моя бедная девочка. Будем верить, что Христос сделает когда-нибудь всех людей братьями.

Вино было сладкое. Сразу же захмелев, старуха накинулась на еду. Чуть слышно потрескивали свечи, и тихо колебались красноватые язычки пламени. Потом старуха стала рассказывать, как ели у них дома, когда Инга была еще девочкой, как Райнгольд — отец Инги, возвращаясь из плавания, всегда привозил с севера икру. И многое другое, о чем Инга хорошо знала сама — она тогда уже училась в гимназии. Тогда они жили в своем, большом доме, и мама была красивой и молодой. «Как она постарела после известия о гибели папы и от всего, что было после — война, потеря дома, тяжелое ранение при бомбардировке эшелона, издевательства поляков, крах надежд на возвращение Петера»...

Старуха говорила что-то о Петере. Девушка не слушала и думала о русском наверху. От света свечей лицо старухи стало темным, как на портретах Рембранта. Лицо девушки от вина и мыслей похорошело, румянец на смуглой, чуть с желтизной коже стал ярче, детский рот потемнел. У нее было лицо, которое редко встречается в Германии, разве — в Тюрингии и Австрии — каштановые густые волосы и темносерые глаза в черных рамочках ресниц, брови темные вразмах. Её нельзя было назвать красавицей — немного крупный рот и тупой; хотя прямой, с хорошо очерченными ноздрями, нос. Но линии подбородка, шеи, плеч были чисты и женственны.

Было далеко за полночь. Старуха давно спала, слабо похрапывая в подушку. Девушка лежала рядом, заложив руки за голову, и смотрела в темноту. Откуда-то издалека, ввинчиваясь в тишину, появился звук автомобиля. Он нарастал, приближался, но светлая тень проплыла по стене и потолку, и автомобиль проехал мимо. И опять девушка лежала и ждала. Где-то за стеной пробило два. Потом на улице послышались хрумкающие шаги на подмерзшем снегу, и она сразу сердцем угадала их. Кровь бросилась к лицу, и стал слышен стук сердца. Шаги подошли к парадному, в замке защёлкал ключ. Ключ плохо подошёл и проворачивался. Она вспомнила, как однажды он долго не мог отпереть дверь, и она решилась ему открыть. И как он узнал её в темноте и тихо сказал «Филен данк, фрейлейн», и как она покраснела — она всегда ужасно краснела, встречаясь с ним, — он так хорошо смотрит на неё, что она не может сердиться и только краснеет, даже когда его уже нет, и она только вспоминает его глаза. И она подумала: что если встать сейчас и

открыть ему? Ей так захотелось это сделать, что руки прижались к груди и сердце забилось настойчиво и призывно. И хотя она знала, что это невозможно, и тело ее продолжало лежать рядом с матерью, но мысль её, тревожная, девичья, вскопчила и побежала открывать.

Она услышала, как ему удалось, наконец, отпереть, и дверь хлопнула, закрываясь. Старуха забормотала сквозь сон. Девушка задержала дыхание и слушала, как скрипели ступени лестницы под тяжелыми шагами. Немного спустя, те же шаги раздались над головой. Они долго шагали по потолку, с конца в конец, и она снова думала о том, что он всегда один, совсем не похож на других советских офицеров, которых она встречала на улице: она ни разу не видела и не слышала, чтобы он приезжал с женщинами или пьянствовал и скандалил.

Потом шаги смолкли и все стихло.

— Gute Nacht, милый, — прошептали губы девушки, и, радуясь сладости и тайне чувства, она повернулась спиной к матери и, счастливо улыбаясь, зарылась лицом в подушку.

Глава четвертая.

Всё было готово. Федор еще раз проверил чемодан: пара теплого белья, новый китель с орденой планкой, выходные сапоги, записная тетрадь, неразлучный томик Блока, несесер, полотенце и две запасные обоймы патронов — кажется, всё. Не забыть бы меховую шубу — на дворе похолодало.

Рядом стояли две картонки с покупками и подарками.

Вошел Карл.

— Машина готова, господин майор. Уборщица заболела и уехала в деревню.

— Жаль. Придется квартиру оставить так.

Карл взял чемодан и картонки. Федор надел кожаное пальто, запер квартиру и, натягивая перчатки, пошел по лестнице вниз.

Дверь в партере, где жила «девушка в солдатских ботинках», была приотворена. Федор улыбнулся, вспомнив подарок — только бы они не подумали плохого! Когда он поровнялся, дверь распахнулась, и она — его сероглазая соседка, глядя на него снизу вверх, с яркой краской смущения на лице, шагнула через порог. Федор невольно остановился, продолжая улыбаться. Ему всегда приятно встречать девушку, приятно видеть, как ярко вспыхивал румянец на щеках полных губ, как опускала лицо свое под шапкой густых, «толстых», как говорил он, волос. Когда ему случалось увидеть на секунду ее глаза, он улавливал в них столько чистоты, столько затаённого любопытства и просыпающейся женственности, что ему на целый день после

этого становилось почему-то приятно. Но он всегда старался не смотреть на неё, чтобы она не подумала о нем чего-нибудь дурного.

На этот раз девушка сама смотрела на него и, повидимому, хотела что-то сказать.

— Herr Major, извините, пожалуйста, — и от волнения остановилась.

— Пожалуйста, — ответил, сам пугаясь, Федор.

— Я хотела от имени моей мамы и от себя поблагодарить вас за рождественский подарок.

Федор покраснел и, теряясь, забормotal, забывая немецкие слова:

— О, пожалуйста... ради Бога... это не я, — но поняв, что проговорился и что отказываться уже глупо, покраснел еще больше.

— Нет, нет, господин майор. Я знаю — это вы. Мама послала меня поблагодарить вас.

Не зная, что сказать, Федор рассердился и неожиданно для себя спросил:

— Ваша мама дома? Можно её видеть?

— Если вы... пожалуйста.

Не понимая, зачем он это делает, Федор пошел по темному коридору и шагнул через порог открытой девушкой двери.

Старуха сидела в кресле и пытливо смотрела на вошедшего.

— Guten tag, гнeдиге фрау.

— Guten Tag, Herr Major.

«Господи, как глупо» — подумал он и снова смутился.

— Я пришел не для того, чтобы выслушать благодарность. Я хотел только сказать, что сделал это от всего сердца, что все мы люди и верим в одного Бога, — и совсем покраснел потому, что не думал о Боге с детства и давно считал себя неверующим, и подарок послал не от религиозности, а от минутного желания сделать что-нибудь хорошее. «Ничего это тебе не стоило и это ужасно стыдно. Ханжа» — мысленно выругал он себя.

Старуха, заметив краску смущения, может быть, впервые увидела русского офицера-человека с застенчивостью молодости.

— Я верю вам и поэтому благодарю вас.

— А я очень рад, что вы мне верите — этого вполне достаточно... Я всегда был бы рад, если... могу быть вам полезным чем-нибудь. Не поймите меня плохо, просто я слышал о вашем несчастье...

Он подбирал слова, невольно стараясь произвести впечатление образованного офицера и хорошего человека, не столько потому, что это был он, сколько потому, что был русским и офицером перед немцами. Так было у многих советских офицеров и даже солдат.

Старуха, услышав о своем несчастье от чужого, покраснела:

— Это так непохоже, извините меня, на советских офицеров, и я рада, что была неправа.

Федор вспомнил, что почти то же самое говорил ему вечером под Рождество Карл, и так же ответил:

— Каждый народ имеет хороших и плохих людей, гнeдиге фрау. К сожалению, в последнее время людей, плохо поступающих, становится больше, но виноваты ли они в этом. Мне стыдно за плохие поступки наших офицеров, но, клянусь вам, вы многое простили бы им, если бы знали их жизнь.

— Мне трудно это — мой муж погиб от русской мины. Мой сын умирает где-то в плену в Сибири.

— Поверьте, гнeдиге фрау, мне больно слышать о вашей горе. Я понимаю его — мой отец погиб от немецкого снаряда в первую мировую войну, моя мать умерла от лишений во время немецкой оккупации в 1943 году, — ответил Федор, и щека у него дернулась.

Старуха быстро взглянула на него и неожиданно легко поднявшись, подошла к Федору, протягивая руку:

— Боже мой, простите меня.

Федор, пряча глаза, наклонился и поцеловал ей руку, — в этом было продолжавшееся в нём желание показать себя «настоящим офицером», хотя разговор его взволновал.

— Жизнь жестока ко всем. Только мы сами можем помочь друг другу.

Старуха села.

— Вы молоды, у вас есть силы и положение победителей, а мы, всё потерявшие, чужие, обуза для окружающих... — Это очень трудно, — и поднесла платок к глазам. — Я больна, дочь моя молода, но что она может сделать, когда кругом все разбито и работы нет. Ездит в Тельтов разбирать картофель.

Федору стало чуточку неловко за то, что она от большого горя перешла к житейскому.

— Вы, наверное, знаете: узнай моё начальство о моем поступке и особенно об этом разговоре, — меня страшно покарали бы. Поверьте, многие из нас с готовностью помогли бы людям в нужде — русские люди знают горе, может быть, больше, чем кто другой на земле, но страх наказания за обыкновенную человечность удерживает их. Политика требует бесчеловечности. Но я буду рад, если могу чем-нибудь помочь вам, если вы, конечно, разрешите мне. Единственное, что я попрошу, — это чтобы все оставалось между нами.

Старуха остро посмотрела на Федора.

— Вашей дочери незачем ездить в Тельтов. Мне абсолютно не стоит труда найти для неё работу здесь, в этом районе, в каком-нибудь немецком учреждении или фирме. Сейчас я уезжаю на несколько дней, а когда вернусь, скажите мне ваше решение.

Федор вспомнил о заболевшей уборщице и, зная, что работа у советских офицеров выгодна, тут же хотел предложить освободившееся место, но подумал, что предложение работы уборщицы для ее дочери, да еще в его квартире, может обидеть эту, несомненно интеллигентную, даму.

— Это очень мило с вашей стороны, господин майор. Мы будем очень, очень вам благодарны. Я знаю, как трудно сейчас с чистой работой, мы будем рады любой черной работе, только бы это было рядом — мне трудно оставаться одной.

Тогда Федор решился:

— Разрешите мне быть откровенным, гнедиге ффрау. Я мог бы предло-

жить вашей дочери работу у себя, — глаза старухи опять стали острыми, — Федор поторопился, — хотя бы на время моего отсутствия: женщина, следившая за квартирой, — он не решился сказать «уборщица» — заболела и уехала. Мне всё равно нужно кого-нибудь нанять. Нужно следить за порядком и записывать, если кто позвонит в моё отсутствие... Если это вам подойдет, мой шофер все покажет и расскажет подробнее.

— О, Herr Major! Это так любезно! Я не знаю, как вас благодарить.

— Не вам, а мне нужно вас благодарить, — и, испугавшись за двусмысленность, поспешно добавил: я беспокоился за квартиру, а теперь буду спокоен.

За все время разговора Федор старался не смотреть на девушку, чтобы мать не подумала, что он думает о ней. Он не видел девушки, но знал, что она стоит сбоку, у печи, и что ей, может быть, неловко и даже стыдно за мать, как это бывает с очень молодыми людьми. И повернувшись, обращаясь к ней одной, сказал:

— Разумеется, если вы согласны и если это... не оскорбляет как-нибудь вас.

Её губы что-то прошептали, он угадал по глазам: «Я благодарю тебя, я знала, что ты — хороший».

И Федору стало так хорошо, что он поторопился откланяться и вышел, сказав, что сейчас придет шофёр и расскажет остальное.

Карл сидел за рулем и недоумевал, что могло задержать хозяина.

Федор вышел из парадного и, сдерживаясь, чтобы не побежать, подошел к машине.

— Карл, эта девушка согласна присмотреть за квартирой. Вот ключи, расскажи ей, что и как, где уголь и прочее. Условия скажи такие же, как и той уборщице, но не говори, что сто марок, а сто пятьдесят — понял? — не в силах скрыть радости, выпалил Федор, не переводя дыхания.

Карл лукаво поглядел на хозяина, молча взял ключи и вылез из автомобиля. Федор сел на его место и включил мотор.

Минут через пять Карл вернулся. Федор знал, что она смотрит из окна.

— Вперед, Карл!

Автомобиль дёрнул. Федор быстро оглянулся и скорее угадал, чем увидел, глаза за занавеской.

И только когда выехали на берлинское кольцо автостреды, опомнился:

— А шубу-то забыли, Карл?

— Mein Gott, Herr Major! Что же делать?

— Ничего, оказывается, совсем не холодно, — и засмеялся. Засмеялся и Карл.

Вскоре по сторонам автостреды замелькали однообразные зимние пейзажи средней Германии.

Карл вел машину ровно. Езда успокаивала. Вспомнил о предстоящей поездке.

Сначала в Лейпциг — надо достать две меховые шубы: одну жене замполита, чтобы «не настучал» на коменданта и на него, Федора. А другую — Соне в подарок — наверное попржежнему ходит в стареньком, перешитом из маминого, пальто. А потом в Нордхаузен, в дивизию. И снова обрадовался предстоящей встрече с товарищами. Федор в марте 1945 года был ранен в ногу, из госпиталя попал в комендатуру, дивизия расквартировалась в Тюрингии. Его фронтовой друг Вася попржежнему служил начальником связи дивизии. Когда ездил в отпуск, заезжал к Федору в Берлин, вернулся через Дрезден, так что Федор его не видел. Там и машину можно достать — в Тюрингии осталось много автомобилей — американцы почти ничего не взяли.

Баранов просил ещё белья при случае купить. Федор тогда подумал, что тоже для гостя, но Баранов даже руками замахал: «И не думай! С ума сошел! Он и так дуется, что я тебе о машине рассказал».

«Да, напуганы они теперь — эти тыловые начальники. Когда летом понаехали, хватали всё, что под руку попадалось: кто повыше — такие, как этот, «ответственные товарищи» — целыми вагонами грузили мебель, ковры, одежду; кто помельче — ходили по комендатурам и кланчили из

реквизированного, или шарили по оставленным жителями домам, собирая Бог знает что. Федор вспомнил, как однажды комендантский патруль задержал одного «майора» — какого-то министерского диспетчера. Того привели в комендатуру, Федор в тот день дежурил. В мешке оказались старые платья, грязное бельё и пар тридцать рваных чулок. Было стыдно перед солдатами, когда вытряхивали из мешка «майора» грязные немецкие обноски.

Вакханалия с «барахольством» в Германии кончилась скандалом: МВД обнаружило в эшелонах с демонтированным оборудованием вещи и мебель — какого-то министра сняли с работы, нескольких заместителей министров и начальников Главков исключили из партии.

Теперь на границе таможня возвращающимся из Германии разрешает провозить ограниченное количество вещей, требуя на все счета или документы.

То, что сняли с постов и выгнали из партии московских заправил, — это правильно: они и так имели в Москве все в кремлевском и других закрытых распределителях. Но правильно ли было, что других, обыкновенных людей, двадцать восемь лет не имевших ни платья, ни белья, ни чулок, за войну изнашивших последнее, правильно ли, что солдат, выигравших эту войну, лишили добытой такой дорогой ценой возможности приобрести и привезти домой самое необходимое для себя и своих оборвавшихся семей. И так ли уж был виноват тот «майор», когда собирал брошенные старые вещи? Его жена и дети никогда не имели даже такого белья и такого количества рваных чулок!

Все эти строгости и ограничения на границе совсем не означали борьбы с ограблением Германии — государство продолжало реквизировать и вывозить из Германии в адреса своих торговых и промышленных учреждений тысячи эшелонов с оборудованием, товарами, скотом, вещами, мебелью, музейным имуществом. По всем про-

винциям уже начали организовывать пункты министерства Внешней торговли по закупке у немецкого населения драгоценностей, хрустала, ковров, картин, расплачиваясь за это райхсмарками, захваченными в немецких банках. Всё это шло на склады для продажи советскому населению, которому, чтобы что-нибудь купить, приходилось работать изо всех сил на то же государство, или — в валютный фонд Государственного банка для закупок за границей.

Федор даже усмехнулся: «Социализм!» — и вспомнил раздавленное лицо старика-хозяина мастерской. Ему снова стало жалко того и стыдно. «Правда, — война, правда, — у нас и таких станков не хватает, правда, что немцы тоже вывозили из Советского Союза, но старика, все-таки, жалко. Как он теперь будет жить? Ужасная путаница. Хорошо им — Баранову, Марголину, «гостю» и другим; их не трогает ни судьба старика, ни судьба этой старухи, у них просто: воевал с нами — расплачивайся. А эти воевать так же хотели, как и наши». Федор, сколько ни старался, никогда не мог понять «государственных интересов», если «интересы» эти делали людей несчастными.

«Ужасная путаница — политика, государство: люди создали этих уродов, уродцы подросли и стали пожирать самих людей. «Чтоб был человеком»... А что значит быть человеком, когда все перемешалось — понятия, оценки, что хорошо, что плохо. Угождай государству, старайся изо всех сил — убивай, грабь, подличай для него и ты будешь героем, знатным человеком. И то не всегда: переменит власть направление своей политики — и то, что вчера было хорошо, станет преступлением. Федор вспомнил годы, когда за любовь к России, к русскому, к национальному людям сажали в тюрьмы, расстреливали за «великодержавный шовинизм», теперь за самое крайнее восхваление русского та же власть награждает орденами. А антисемитизм?.. Вспомнил институт — за пять лет переменилось около десяти про-

фессоров; одних арестовывали, другие приходили, говорили другое, потом их арестовывали, присылали третьих, так что студенты переставали понимать... А историческая школа Покровского! «Быть человеком»? Что есть человек? — Материал, песчинка материала в непонятной и чуждой для него политике. Кому сказать, что не понимаешь? Кого спросить? — Нельзя, погибнешь. Жить же, ни о чем не думая, никому не мешая, тоже нельзя: «аполитичность» — государственное преступление. Если нацисты говорили немецкому народу: не думайте, за вас думает фюрер, то у нас говорят: нет, думайте, но думайте так, как думает товарищ Сталин! Попробуй сказать, что не хочешь думать или что не понимаешь! Хорошо было Робинзону Крузо — теперь необитаемых островов нет, ни в полном, ни в переносном смысле.

Какими же мы наивными были в войну! Думали, что всё переменится. Ничего не переменялось. Посулили какую-то волю, обнадежили, чтобы лучше воевали, а как победили — еще крепче прикрутили пресс над человеком». — Федор по какой-то ассоциации вспомнил берлинский ботанический сад: от бомбардировки вылетело стекло крыши, ветки одного дерева, изменив направление, потянулись в окно, к небу, к солнцу и, выйдя из окна, буйно разрослись, Стали оранжерею ремонтировать, срубили разросшиеся ветки, всунули обрубки вовнутрь, застеклили, и опять дерево стало расти в искусственном направлении. Так и народ — война рванула, нарушила искусственный порядок колхозов, государственной торговли, хозяйства — открылось окно, и народ, крестьянина и городской ремесленник — совсем не капиталист! — без партий, без программ, без «плана», естественным чутьем, инстинктом живого человека потянулся к вольному воздуху и, как после тяжелой болезни, встал и пошел, пошатываясь. Поэты неуверенно, но искренно и вдохновенно запели новые песни, и сразу полюбились они народу. Но кончилась война, срочно стали

«ремонттировать» — стали рубить ветки в народе, засунули под крышу «порядка», и замолкли певцы, завели граммофонную пластинку.

Я, боевой офицер, должен превращаться в коммивояжера. Или демобилизоваться и запрягаться в «стройку», или оставаться в армии, отдавать жизнь военной службе — это почти одно и то же: ни свободы, ни покоя... не обывательского покоя, нет, нет! И деваться некуда. Вот и ловчишь, чтобы коммивояжёрством добыть несколько дней свободы, купить встречу с другом. Домобилизоваться?.. Надо будет искать работу где-нибудь на заводе, комнатнушку, годами копить копейки на костюм и книги; если помогут ордена, может быть, удастся устроиться в Москве, но там тоже будет работа с утра до полуночи, раза два в год — театр, редкие встречи со знакомыми, а при встречах будут больше молчать и скрывать свои мысли. Куда ни кинься — везде изматывающая работа, а главное — работа, противная воле, мыслям, целям, только для того, чтобы существовать... Нет, надо задержаться в Германии подольше. Жили же люди — немцы, что им еще было нужно? У нас министры не живут так, как здесь инженеры, а наши инженеры — как здесь рабочие. И как жили: хочешь работай, хочешь — нет, думай, говори, что хочешь. Понадобился же им Гитлер! Правда, автострады хорошие построил — автострада широкой лентой бежала под автомобиль, — кое-что и создал для Германии, а кончил все-та-

ки катастрофой. Видно, чувство меры — необходимое качество и в стихах, и в политике. Ведь можно же жить на земле хорошо. Была бы только добрая воля. А может быть, эта воля и есть, но всюду разная. Вот и дерутся, и калечат людей, чтобы доказать, чья воля лучше, забывая, что не люди для неё, а она для людей.

Или я чего-нибудь не понимаю, или в этом есть своя закономерность и неизбежность... «Борьба противоположностей», — как говорят наши марксисты. Ну, и чёрт с ней, с этой путаницей. Пусть мир ходит вверх ногами, если вожди народов уговорили его, что это лучший способ передвижения! Поживем — увидим!»

— Не так ли, Карл?

— Wie, bitte?

— Я говорю: давай выпьем и закусим. Что-то холодно.

Федор достал круг селями и бутылку. Разломав колбасу пополам, отдал половину Карлу. Отпил два больших глотка и бутылку передал шоферу. Карл сделал аккуратный глоток и вернул ее Федору. Стали грызть твердое кисловатое мясо.

Карл отпил из бутылки еще раз, Федор ее допил. Стало теплее. Федор принялся устраиваться спать. И уже засыпая, вспомнил глаза «девушки в солдатских ботинках».

— А хорошая девушка, Карл?

— Очень хорошая, Herr Major, — сразу поняв, о ком говорит Федор, серьезно ответил шофер.

— Альзо... — под ровный шум мотора Федор скоро заснул.

Глава пятая

В Нордхаузен приехали вечером. Улицы лежали в развалинах — авиация союзников в поисках завода V-1 и V-2 много раз бомбила город; завод находился в шести километрах под землей, в горе. Делая объезды, расспрашивая прохожих, выехали на освещенную улицу, перегороженную шлагбаумом. Часовой поднял полоса-

тый шест, но, разглядев штатского Карла, опустил снова.

Федор вылез и, разминая затёкшие ноги, пошел в бюро пропусков.

Скучавший за столом сержант при виде Федора радостно вскочил:

— Здравия желаю, товарищ гвардии майор!

— Здравствуйте, Голин.

Федору стало приятно, что сержант сразу узнал его. Сержанту было приятно, что майор помнил даже его фамилию. На Федора пахнуло прошлым: огромной семьёй дивизии, годами войны, сроднившими и солдат и офицеров. Ему самому было приятно, что он вспомнил фамилию сержанта, хотя тот был из разведки.

— Здравствуйте, Голин, здравствуйте, — он подал сержанту руку, и тот пожал её со вниманием, за которым Федор, как прежде, угадал солдатское уважение.

— Вот обрадуются наши! — улыбаясь большим ртом, сказал Голин, — Давно вас не было видно, товарищ гвардии майор.

— Давно, Голин. Целую вечность, будто, не был.

— Разрешите, я провожу вас, товарищ гвардии майор.

— Куда же вы меня проводите? Надо ведь пропуск — я теперь чужой.

— Что вы, товарищ майор, какой вы чужой! О вас даже новенькие знают, — и тут же испугался.

— Этот у вахты тоже знает, только обличия вашего не знает. Потому не пропустил, — и снова заулыбался: — товарищ гвардии генерал-лейтенант будет рад.

— Нет, Голин, вы к генералу не ведите меня, а вызовите-ка лучше мне майора Трухина.

Сержант с готовностью принялся звонить по полевому телефону, но Василия, видно, не было ни на квартире, ни в кабинете. Голин сердился на задержку и кричал телефонистке:

— Немедленно разыщите! Обязана знать, где находится начальник связи! — но телефонистка, видно, ответила ему такое, что ему пришлось сменить тон:

— Милушка, да его просит товарищ гвардии майор Панин, — и от удовольствия даже подмигнул Федору.

— Ну да... он самый...

— Теперь мигом найдет. Это наш старший сержант Лиза. Привет вам передает, товарищ гвардии майор.

В комнату вошел незнакомый Федору капитан. По красной повязке на рукаве шинели — дежурный офицер. Покосившись на погоны Федора, козырнул. Постное лицо задержалось на улыбающемся Голине. Усмотрев нарушение дисциплины, он подчеркнуто официально спросил Федора:

— Вам что угодно, товарищ майор?

Федору стало неприятно, хотя понимал, что новый в дивизии офицер не обязан знать его.

— Мне нужен майор Трухин.

— Начсвязи на политзанятиях. Освободится через час.

Сержант смотрел на Федора и улыбался уже извиняюще.

— Спасибо, товарищ капитан. Я подожду. — Федор сел на скамью. Голин наклонился над бумагами.

Резко зазвонил телефон. Капитан взял трубку. Постное лицо его слушало недоумевая.

— Хорошо, — и уже с любопытством поглядел на Федора:

— Телефонистка передает, что начсвязи сейчас будет.

Голин, стараясь скрыть довольное лицо, совсем уткнулся в бумаги.

Хлопнула входная дверь, в коридоре загрохотало, и в комнату медведем, в гимнастерке, ввалился Василий:

— Федя! Дружище! — бросился к поднявшемуся Федору. Обнялись и принялись увесисто хлопать друг друга по плечам — нормальному человеку впору свалиться бы.

— Что ж ты, подлец, не предупредил?

— Хотел неожиданно нагрянуть.

— Юберрашунг! Вот здорово!

— А ты потолстел, Вася.

— А ты!

Довольный Голин что-то шептал дежурному на ухо.

— Что ж я, дурак, держу тебя! Пошли!

Федор вспомнил о Карле:

— Вася, а с машиной как?

— Поставим в авто-батальон.

— Но у меня шофер немец.

— Это хуже. На территорию городка ему нельзя. Придется в немецкий отель. Я сейчас позвоню коменданту,

— не обращая внимания на дежурного, Василий пошел к телефонам и набрал номер на городском аппарате.

— Говорит майор Трухин. Надо одного немца устроить в гостиницу. Что? Это шофер бывшего начальника инженерной службы, а теперь вашего брата, коменданта из Берлина. Что? Федя, машину тоже с ним? — Федор кивнул. — Да, и машину. Что?.. С едой устроим. Что?.. Запиши, сержант, — «отель Бангоф». Спасибо, товарищ капитан.

— Порядок. Пошли, Федя.

Напомнить о пропуске дежурный не решился.

У автомобиля, разговаривая с Карлом, стоял солдат — Саша, посыльный Василия. Завидев выходящих офицеров, он бросился к крыльцу и радостно заорал:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— Здорово, Саша, ну, как жизнь молодая?

— Все в порядке, товарищ майор! Прикажете вещи с собой, или в машину оставить?

Василий его оборвал:

— Вещи мы сами возьмем, а ты смотайся с шофером и устрой его в гостиницу — дежурный комендатуры распорядится.

— Пожалуйста, Саша. Карл парень хороший. Накорми и, вообще, возьми над ним шефство.

Пошли по освещенной улице. Весть о приезде Федора каким-то образом обогнала его — встречные солдаты или громко приветствовали его, или козыряли и с любопытством рассматривали. Знакомые офицеры здоровались. У Федора было ощущение, будто вернулся домой.

— Хорошо, Вася, в дивизии. А?

— Хорошо-то оно, хорошо, да не очень — теперь не война, Федя. Ну, да об этом потом.

Василий занимал две комнаты, обставленные случайной мебелью. На этажерке с книгами стояли фотографии, на некоторых Федор узнал себя, и это было приятно.

Василий вышел «распорядиться»,

как он сказал. Федор лег на диван и выгнулся, радуясь предстоящей встрече с фронтовыми товарищами.

Через час друзья сидели за столом, обильно заставленным пищей и бутылками.

Василий всем сказал, что Федор устал и отдыхает.

Они уже начали вторую бутылку. Федор слушал, облокотясь на стол, говорил Василий:

— Вот такие-то дела, Федя. Съездил я в отпуск, а получился не отдых, а беда. Сам знаешь, на крыльях летел домой — шесть лет не видел! Со станции взял подводу и в деревню. Подъехал к дому, а оттуда Полкан — собака наша, кинулась с лаем, но тут же признала и давай визжать и прыгать, все в лицо лизнуть норовит! Наши-то из окна и увидели. Братишка с сестренкой кубарем с крыльца и на шею. Мать выбежала — Васенька, сыночек мой, а сама плачет, целует и плачет, вцепилась вся, от себя не отпускает. Постарела, маленькая стала. Соседи сбегаться стали. Потом и отец с поля прибежал. Тоже постарел здорово.

Щека Федора дернулась. Василий угадал, что ему, потерявшему мать, тяжело слушать.

— Ну, что там говорить, — обрадовались наши: и жив, и здоров, и ордена. Одарил всех подарками. Вечером гости сошлись — родственники, соседи — чуть не полдеревни.

Вот с того же вечера-то и началось. Вначале все поздравляли, председатель колхоза речугу даже сказал, девчата деревенские улыбаются, приятно оно, конечно. А потом то одна баба, то другая стали плакать. Оглянулся я, а кругом все бабы режут. Сразу-то не понял, а мать мне шепчет: своих мужей и сыновей убитых жалеют. Оказалось, Федя, в деревне из двадцати семи мобилизованных вернулось восемь, да и то трое калеки, а один чахоточный. А тут еще Иван Рогов приковылял — без руки и без ноги: «Угости, герой», — говорит, а сам зло так на меня смотрит. Посадил я его рядом с собой, стараюсь ласково с ним, а он

пьет водку и молчит. А потом как закричит-то, да давай с себя медали рвать и на пол бросать: «на, — говорит, — тебе ваши ордена, а мне ногу и руку отдай! Какой, говорит, я работник вам — от работы меня никто не освобождает! Вон председателю давай работу, трудовни, а у меня трое ребят, да жена! Что я с культиками сработаю! «Ну и получилось с моего веселья не радость, а слезы. Народные слезы, Федя.

Ушли гости, стал я своих расспрашивать. И оказалось, жить-то, Федя, — это после победы-то, — хуже каторги. Бабы да старики с детворой всю войну, как лошади, ломали, без мужиков-то: на коровах пахали, как рыбы об лед бились, думали: — вернутся мужики домой — отдохнут малость, а пришло-то восемь, да и то калеки. Работы же не убавилось, а прибавилось. Вот это лето ломали, гнулись, а начали по осени барыши считать — госпоставки отдали, в фонд армии — дали, в фонд пострадавшим от оккупации — отдали, в фонд восстановления — дали, а себе — по четыреста грамм на трудовень не осталось.

Обнищали, износились. А ждать-то, говорят, нечего. Газеты, радио, агитаторы из района в один голос — работать лучше, восстанавливать народное хозяйство, крепить оборону и нашу доблестную армию. Отец мне и говорит: «видишь ли, сынок, люди жить хотят. Люди не рабочий скот. До войны все отдавали: и силушку, и хлебушко на подготовку к войне, ни праздника не видели, ни радости, в колхозы пошли — ведь мы понимаем, колхоз — государству удобен: что хошь с мужиком-колхозником делай. Будет неурожай — умереть не дадут, государство поможет, это правда, а урожай будет — не разгуляешься, заберут, оставив, чтоб не подохла, а работали, — вот и вся механика. Пришла война, никто и воевать за такую жизнь не хотел, так власть хитра — за Россию воюем, за наших детей! Негласно разрешили и торговлю мужику, слухи пошли, мол, колхозы распускать будут, церковь от-

крыли. Горько нам было, когда вы отступали, — ведь не для этого народ столько пятилеток толодал. Ваши наркомы бахвалились: бить врага на его территории, а бить стали нас, да на нашей земле. Настроили заводов да совхозов, да все и отдали немцу. А немец-то сдуру стал лютовать. Что ж было делать — не отдавать же Россию немцу чужому. Мы попервоначалу думали, он свободу даст, а он вон как повёл. Ну и простил народ правителям ошибки. И стал против немца всерьёз. Думал: и правители ошибки поняли, победим и заживем припеваючи. Воевать-то больше будет не с кем — американец и англичанин вместе кровушку пролили, братьями стали. Да и земли их далеки от нашей — делить нам нечего. А вышло не так: победили, так правители наши снова за своё принялись, опять криком кричат: империалисты угрожают! Готовься к войне! А я думаю — никто нам не угрожает, просто у наших аппетиты разгорелись, что у того Гитлера, опять за своё принялись, за коммуны свою мировую. А до русского человека им — как до той скотины, — работай да и только. Что ж это получается, сынок? Власть-то народная, а проку народу никакого. Выходит, опять маяться до новой войны. Опять рожай, да отдавай сынов и дочерей, опять строй, чтоб потом погибло. И конца этому не видно. А все почему? Потому что не хотят правители наши жить, как все люди на земле живут».

Что я ему мог ответить, Федя? Чем мог возразить старику? Воевали мы с тобой и не плохо воевали, за родину, за народ воевали, а вышло, что народу победа наша и не нужна. За Сталина, вышло, воевали. Не убили, так убьют в следующей войне — вот наша доля.

И сколько ни послушай офицеров, сколько ни посмотри — у всех такое на душе. Может, у политотдельщиков и особистов другое.

Василий встал и прошелся. Федор все так же сидел, облокотясь на стол, и катал шарики из хлеба. Василий подошел и обнял его за плечи.

— Горюй не горюй, Федя, — ниче-

го не сделаешь. Лучше чеколдыкнем по стаканчику.

Федор выпил не закусывая. Василий взял хвост селедки.

— Вася, а как Соня? — вдруг тихо спросил Федор.

— Я и забыл, извини, Федя. На обратном пути заехал. Обрадовалась твоей фотографии, благодарила за подарок, просила скорей приезжать в отпуск. У неё какая-то петрушка: несколько раз в милицию вызывали: допросы снимали о работе при немцах: когда твоя мать заболела, Соня работала на консервной фабрике — на немецкую армию, оказалось, работала фабрика. Она боится, как бы не выслали из города. Говорит — многих арестовали. Как-нибудь обойдется, ты не беспокойся. Если что случится, она сказала, что пришлет телеграмму: больна, мол, опасно, чтоб ты понял... В городах, где были немцы, такие чистки начались — беда. Как при коллективизации кулаков арестовывали и высылали, так сейчас с теми, кто работал при немцах, или на чьей квартире офицеры немецкие стояли. Много людей бежало с немцами — знали, что им будет. Теперь правительство требует их назад. Те, которых немцы на работу в Германию увезли, многие вернулись. Вот тоже: люди на каторге были, думали, освободили мы — помнишь, как плакали от радости наши девчата в Силезии, — а вернулись, редко кто домой попал, почти все на Урал да в Сибирь на работу, за проволоку. Пленные тоже «изменники родины». Многих расстреляли. А за что? Федя, милый, за что? Помнишь, как мы под Житомиром в окружение попали, по вине штаба армии? Ну, не прорвись мы — попали бы в плен: там в штабе ошиблись, просчитались, а мы за это попали бы в «изменники родины». А капитан Орлик, Петя? Орёл парень был — хитёр, силач, смелый, орден уйма. К «герою» был представлен. А пошел в разведку и попался. Приказ о награждении «Героем Советского Союза» пришел, а его нет. В «Правде» о нем тогда писали. Недавно генерал рассказывал: освободили Орлика наши где-то в Саксонии. Как

это называется болезнь, когда один скелет и кожа остается?

— Алиментарная дистрофия.

— Ну вот, освободили его, положили в госпиталь. Поправился, а его в СМЕРШ... Ну и заправили куда-то в Сибирь, как «изменника». А какой он изменник, Федя? Такой же, как мы, может, еще лучше воевал с немцем. Да что Орлик-то. Маршала Жукова тоже куда-то запрятали! Нам тут один говорил, что маршал «разложился», — дачу, мол, себе на самолётах перевез, мебель, барахло. И кому врут-то? Нам, солдатам Жукова! Пачкают имя маршала! А за что? За то, что о солдатах думал, о народе. Говорят, он хотел армии из Германии провести в Союз триумфальным маршем, а Кремль-то и наклепал в штаны: пройдут солдаты по стране, послушают такое, как я дома услышал, дойдут до Москвы и скинут там всех к чертовой бабушке! Вот и назначили нам в министры комиссара Булганина. Части везут домой по ночам, как воров... Они знают, как мы думаем, знают, Федя. Потому и наслали в армию опять комиссаров да МГБ.

В соседней дивизии, в Бланкенбурге, один сержант письмо из дому получил — мать побирается, отец с голоду помер, невеста не дождалась и вышла за другого. Парень возьми с горя — всю войну проделал — вышел на круг, прочел братве письмо вслух, а потом у всех на глазах и застрелился. Что там было! Командира роты под суд, командира батальона разжаловали, командиру полка выговор закатили! А за что? Разве они виноваты, что дома такая чепуха идет?

Да, Федя, такие-то дела. Запутался я, брат, — ничего уже не понимаю. Сегодня — на политзанятиях подполковник Комов, — а он не дурак, — говорил, что выхода у нас нет, что жизнь идет так и капитализм должен погибнуть... Что капиталисты из своего кризиса выход будут искать в новой войне и на этот раз уже против нас. Что это логика истории, мол, и Москве известно, что Америка и Англия уже разрабатывают планы войны против нас. И чтобы выиграть будущую войну, мы дол-

жны готовиться и, если надо, самим нападать и захватывать стратегические позиции. А вдруг Москва на самом деле, знает, что Америка и Англия готовят войну, — у них и атомная бомба есть! Не народ и солдаты ихние — мы их видели на Эльбе, — ребята хорошие, мы даже подружились, выпивали вместе, но приехал СМЕРШ и запретил встречаться; а капиталисты хотят войны, чтобы рынки захватить? Что если так? Тогда выходит начальство право, что, опять запрягает страну в хомут подготовки к войне. А если не так? Тогда один ответ — Сталин хочет мировой революции! Чтоб при жизни своей сделать. Плевать ему, что она убьет десятки, а то и сотни миллионов людей, ему важна его идея и слава его! Что мы знаем, Федя? Одно я знаю — народ изнемог, измучился. Ведь ему хочется пожить, как говорит мой старик.

Пожить... Помнишь, мы были в Балтике или Финляндии — ведь это тоже раньше, до революции, Россией было. С 17-го года начали они жить самостоятельно, без царя, как и мы. Мы пошли «социалистическим» путем, через нужду, через ликвидацию миллионов людей: «бывших», интеллигентов, кулаков, всяких оппозиционеров, националистов, а они пошли с того же, как и мы, места путем «капиталистическим». И что же мы, Федя, там видели? Крестьяне, рабочие жили, как нашим и не снилось: красивые дома, удобные вещи, сытость, культура, народ довольный, хорошие дороги, станции, фабрики — и все это без плана, без «руководства партии», без жертв, без убийств. Как не засомневаешься? И вот, думаю я часто, а что, если бы февральская революция победила и у нас бы такая «буржуазная республика» или конституционная монархия, как в Англии? И народ жил бы, и индустрия была бы не хуже!

А может, я не понимаю, Федя? Может быть! Но говорю с тобой, как с другом. Ждал тебя, вот как ждал, всё сказать! Надоело.

Федор продолжал сидеть и катал шарики из хлеба.

— Может, тебе не интересно, Федя? Прости меня. Может, ты приехал порадоваться, встретиться, а я тебе душу выворачиваю? — снова спросил, садясь рядом с Федором, Василий.

Федор катал шарики и не отвечал.

— Что с тобой, Федя?

Федор поднял голову, как-то пристально посмотрел на Василия и тихо, странно тихо после горячей речи Василия, заговорил:

— Милый Вася, что я могу тебе сказать? Сочувствую и только. Все это и у меня, и у тебя, и у многих. Ты хоть отца, мать, семью имеешь, а я — один. Соня осталась, выйдет замуж, и будет ей не до меня.

Идет мир какой-то непонятной дорогой. Вот постигла мысль человеческая атомную энергию, а получилась атомная бомба. Кто знает, может быть, пожрет она и людей, и самую землю. А, может, и не пожрет. Может, принесет такие страдания, что опомнится человек и наведет порядок. Через страдания очистится, как говорили раньше. Родились мы — казалось бы, жить нам и радоваться солнцу, зеленым, любви, детям, а мы — гибнем, убиваем других или готовимся убивать. Кто-то из философов, кажется — Вольтер, говорил о «счастливым времени», когда во главе государств станут не короли, не вожди, а философы. А что из этого получилось: раньше философы дрались на словесных поединках, терпели поражения, умирали, умирали их философии, появлялись новые, а жизнь шла своим чередом. А сейчас ошибка философа-правителя стоит миллионов жизней, гибели государств, народов.

Человек от всего этого может спрятаться только в личную жизнь. Здесь, на западе это еще можно, и то не надолго, а у нас это давно — государственное преступление.

Если останется человек на земле, если не погибнет, если в мире жизнь имеет разумное направление — придет она, так или иначе, к такой форме, к какой должна придти. И будут тогда люди смеяться над нами, над нашими муками, как смеемся мы сейчас, например, над нелепостью рели-

гиозных войн — тогда тоже гибли люди, вся Европа горела в кострах еретиков. И кажется мне: победит ли коммунизм, победит ли западная демократия — мир, все равно когда-то придет к тому, к чему должен придти. Подумай, был бы мир в таком положении, как сегодня, если бы победил Карфаген, а не Рим, или Наполеон, а не коалиция? Был бы! Может быть, советская власть или похожая на нее была бы не в России, а в Китае, Германия — во Франции, — это сути не меняет, суть в том, что к этой далёкой, неизбежной форме жизни в наше время стремятся разными путями: нацизм через главенство одной, высшей расы, коммунизм — через насилие партийной диктатуры — не диктатуры пролетариата, конечно, а — демократия — самотёком, реформами. Первый путь — лопнул, потому что нес с собой неприкрытое рабство для остального, немецкого человечества, возмутил народы. Остался коммунизм и демократия.

Кто победит — не знаю, Вася. Знаю, одно я: дорога мне земля, на которой родился и рос, знаю — хочу жить, но жить негде. Ты говоришь: народ, народ! Если ты думаешь о нем иначе, чем власть, значит ты противник власти и подлежишь расстрелу. Я мало понимаю в политике, но в жизни чувствую, что я несчастлив. И ничего не вижу для себя хорошего. Зачем я пошел в Инженерный институт? Ведь я точные науки не очень люблю. Мне бы на литературный факультет идти. А потому, что думал: инженерной работы много, гиганты индустрии собирались строить, размах и поэзия строительства пленили. Еще думал, что работа моя народу нужна, и я буду нужен. И так получу больше внутренней свободы, больше независимости. И ничего из этого не вышло: инженер ли, поэт ли — все равно раб государства.

Сейчас, чтобы жить, надо отказываться от жизни. А я, да и ты не можем от нее отказаться, вот нам и тяжело. А посему — давай выпьем, Вася, сердцу будет веселей! — Федор стал

наливать в стаканы. Рука его дрожала.

Федор, хмелея, бледнел. Василий сидел красный, как после бани.

— Федюшка, друг мой, до чего же трудно жить стало! Я часто уже жалею, что и учиться в техникум пошел. Сейчас, чем меньше понимаешь, тем лучше.

— Может быть, ты и прав, Вася. Много отдал бы я сейчас за семью. Да всё как-то не получается.

— Ну, так я тебе и поверил. В Берлине, чай, бабы так и бегают за тобой! Знаем тебя!

— Нет, Вася. Всё это не то. Душа тоскует о большом, а ей подсовывают приложения к двуспальной кровати. Гдо-то же есть «она»? А, Вася?

— Обязательно, есть, Федя!

— Знаешь, как в песне, — хорошая эта песня, Вася:

«Жаркое страстью пылая,
Сердце тревожно в груди,
Где ты — тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди...»

Василий басом подхватил, друзья обнялись и запели вместе:

«Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая моя,
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай...»

С этой песней в тысяча девятьсот сорок первом году они ехали к фронту, на позиции.

— Эй, Федя! Вот только в песне и выльешь душу!

Пели еще. Всё больше русские, народные, тоскливые и печальные. Живет в русской песне вековая тоска, рожденная где-то при татарском иге, в дремучих лесах и в бескрайних степях. Многое переменилось на русской земле — дымят громадины новых заводов, тарахтят по полям тракторы и комбайны, а тоска в песне всё та же.

И так же, как сотни лет тому назад плакал под песню удалой молодец, так же вдруг заплакал Василий и полез целоваться.

— Федя, друг мой сердечный! Только ты и есть у меня! Один ты понимаешь!

Вошел Саша. Улыбаясь, браво доложил:

— Всё в порядке, товарищ майор: Карл устроен, накормлен, даже стограмм получил.

— Молодец, Саша. Иди сюда — выпей с нами, — Федор протянул солдату свой стакан с водкой.

Саша покосился на Василия, но тот махнул рукой.

— Вы бы прилегли, а то утром к генералу идти.

— Правильно, Саша. Укладывай хозяйна, а я на диване устроюсь.

Через пять минут в комнатах стоял богатырский храп, да ходил Саша, убирая со стола.

Глава шестая

— Входи, герой, входи.

Был генерал сед, широк в кости, красное лицо из-за седых нависших бровей казалось суровым.

— Здравствуйте, товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Федор, свежевыбритый, в новом кителе, освещенный утренним солнцем, радостно смотрел на генерала.

— Здравствуй, герой. Рад видеть тебя, — генерал задержал руку Федора, оглядывая его. — Всё таким же молодцом — это хорошо. Извини, что вчера не принял, у нас, брат, заседания за заседаниями — днем учение, вечером мучение, — генерал любил говорить в рифму, подражая Суворову.

Из двери направо вошла маленькая, полная, в широком темносинем платье жена генерала — Наталия Николаевна. Карие молодые глаза делали скуластое, простое лицо ее приятным и по-своему красивым.

— Федюшка! Вот сюрприз-то! Здравствуй, дорогой. Какой молодец! Я и то говорю своему — нет у него офицера, равного тебе, Федя! И краснеет всё так же! Ну пойдемте к столу.

— Я вам маленький подарок привез из Берлина, Наталия Николаевна, — Федор неловко передал банку икры, семгу и огурцы, — у нас в Берлине открылся «Гастроном».

— Спасибо, Федюшка, спасибо, милый.

Генерал занимал большую виллу: стильная мебель, ковры, много цветов, на стенах гравюры Дюрера.

— Хорошо мы устроились, герой? А?

— Уж и хвастается. Ты его, Федя, не слушай. Всё это чужое и нам не нужно — Бог с ним. Вы кофе или чай будете?

— Ну нет, мать! Ты это брось — приехал герой, а ты нас чаем. В Польше говорят: «пусть чай гуси пьют», мы ведь солдаты, а не гуси! Ты нам настоячки своей поднеси.

— Господи, да ведь утро-то! — Наталия Николаевна знала, что без настойки и наливки не обойдется, и уже приготовила в буфете, но для порядку на стол не подала.

— Славился Нордхаузен ликерами, а не устоять им против наташиной наливки. — Наталия Николаевнаставляла рюмки и ей было приятно слушать похвалу мужа. — Прислал мне комендант города коллекционных ликеров от фабриканта — хозяина этой виллы. Попробовал я — ничего. А я ему наташиной наливочки послал, так, по рассказам, только и говорил: херлих, вундербар, и всё рецептом интересовался!

— Да хватит тебе хвастаться-то, — остановила мужа явно довольная Наталия Николаевна.

— Ну, герой, выпьем за нашу боевую дружбу! Наташа, а ты что? Выпей, выпей с нами.

Наталия Николаевна налила себе маленькую серебряную чарочку, свою.

— Выпьем за победу России, за великую Россию — вот она какая стала — от Китая до Средиземного моря! А скоро и больше будет! Будет, герой?

Федор промолчал и чокнулся с хозяйкой, потом с генералом. Настойка была крепка, но ароматна, на какой-

то пахучей траве или ягоде. Стали завтракать. Наталия Николаевна больше подкладывала Федору, чем ела сама. Ей всегда доставляло удовольствие угощать Федора и смотреть, как он ест. Генерал ел тоже много, то и дело подливая себе и Федору.

— Ты что, отпуск получил?

— Никак нет, товарищ генерал. Так сказать, в служебной командировке.

— Проездом, значит?

— Нет, к вам, вернее в Нордхаузен. Одному замминистру машину послали достать.

— Вот оно как! — явно недовольно протянул генерал. Федор стал оправдываться:

— Теперь время другое, товарищ генерал, — не война. Из госпиталя в хозяйственники в комендатуру послали, вот и делаешь, чорт знает что. Хорошо, что в дивизии побываю, вас встретил, Василь... майора Трухина.

— Это, конечно, хорошо. Но как же они посмели, сукины сыны, боевого офицера — в хозяйственники?

— Говорят, что инженеры должны быть использованы по хозяйству — у меня сейчас все заводы и фабрики района.

— Ну, а причем же автомобиль?

— Комендант карьеру себе будущую делает, — криво усмехнулся Федор.

— Сукины сыны! — рассердился генерал. — Слышь, мать, офицера сделали... — я даже слов не подберу — кого они из него сделали!

— Что ж ты можешь? Напиши в штаб группы или Соколовскому рапорт, может быть и переведут в дивизию.

— Да, переведут, держи карман шире. Они мне такого начальника инженерной службы прислали, хоть вой! Да ничего не поделаешь — Политуправление за него, член партбюро.

— Надо терпеть, товарищ генерал, — демобилизуют, — дома хуже будет, — сказал мрачней Федор.

— Да-а-а... Ну, а где же машину достанешь?

— Майор Трухин уже договорился с комендантом: где-то на шахте есть «Мерседес-Компрессор» запрятанный.

— Как же он, твой министерский, «Компрессор» себе оформит, ведь такие машины теперь не оформляют?

— Ему не в собственность, а для служебного пользования.

— Ну, а себе машину купил?

— Купил, товарищ генерал, «Опель-кадет».

— Что ж такую пиголицу?

— Нам, майорам, разрешают только четырехцилиндровые.

— Вот и мне разрешили шестицилиндровую, а я купил и хочу оформить «Хорьх», а он восьмью цилиндров.

— Это можно устроить, товарищ генерал.

— Как? Ведь мне Военный Совет отказал.

— Блат сильнее Военного Совета.

— Вот это здорово! — генерал расхохотался. — Мать, слышишь, герой и здесь героем оказался — моего «Хорьха» нам оформит!

— Да на что он тебе? Где ты будешь ездить? У нас и дорог-то нет для него.

— Ничего, мать. Какой же я генерал-победитель без трофея? Значит, поможешь, герой?

— С удовольствием, товарищ генерал. Если этим министерским крысам приходится делать, то как же мне для вас не сделать.

— Ну, спасибо. Сейчас я должен итти. Ты посиди с Наташей, обедать приходи, а вечером потолкуем обстоятельнее.

Федор остался с Наталией Николаевной. Перешли в ее комнату. Здесь она, видно, проводила часы одиночества, вязала, вышивала, на столе лежал неоконченный пасьянс.

Она женским чутьем угадывала в Федоре какую-то нервность.

— Что, Федюшка, что-то не так на душе? Брав-брав, а в глазах тоска.

— Ах, Наталия Николаевна, всё как-то вверх ногами идет. Что делать, и не знаю.

— А ты женись. Пора семьей обзаводиться. Отвоевал — теперь семью строй.

— Да на ком жениться-то, Наталия Николаевна? Ведь Германия.

— А ты в отпуск съезди, погуляй, может быть встретишь хорошую девушку.

— Это за отпуск-то?

— Твоя правда, Федя. Трудно судьбу свою найти, а поспешишь — людей насмешишь и век будешь каяться.

Рядом зазвонил телефон. Наталия Николаевна вышла:

— Я слушаю. Здравствуй, Вася. Здесь, здесь. Это тебя, Федя.

Василий сообщил, что машина уже в мастерской, но без резины и требует легкого ремонта.

Федор простился с Наталией Николаевной и поехал в мастерскую.

Задерживаться на два-три дня без разрешения коменданта он не мог. Позвонил в Берлин. Баранов, видно, подумал, что Федор загулял, но разрешение дал.

После обеда поехал в бывший свой батальон. Новый командир встретил сухо, но Федор имел разрешение генерала.

Солдаты были в классах. Дневальный попался из новеньких и Федора не знал. Но когда кончились занятия, из учебных классов стали выходить, застегивая сумки, офицеры, за офицерами повалили солдаты, Федора окружили, пожимали руки, расспрашивали. Есть в солдатской дружбе, спаянной войной, что-то необычайно чистое. Федор угадывал много нового, чуждого ему, но гнал это от себя и весь отдавался радости встречи с боевыми товарищами.

Следующими были строевые занятия. Солдаты надели шинели и выходили на площадь. Федор вышел с ними и стал прощаться. Вдруг старшина Митюков крикнул: «Братцы, качать гвардии майора!» И сразу десятки рук подхватили Федора, и он полетел вверх, потом вниз. Крепкие руки, те, которые строили с ним переправу через Днепр, через Березину, через Одер, поймали его — и снова взлет, и снова падение, и снова небо,

и снова руки, крепкие, мускулистые руки солдата.

— Становись! — раздалась команда, и солдаты, оставив растрепанного Федора, стали строиться.

— До свиданья, товарищи! — взволнованно крикнул Федор, и ему вдруг показалось, что он больше никогда не увидит их.

— Счастливого пути, товарищ майор! До свиданья! Не забывайте! — раздались десятки голосов уже выстроившихся солдат. И Федору показалось, что и они знают, что больше его не увидят. Он круто повернулся и пошел к автомобилю.

Вечером у генерала решили, что Василий через три дня с бумагами генеральского «Хорьха» поедет на «Мерседесе» в Берлин, где его встретит Федор и устроит генералу паспорт и пропуск на «Хорьх».

Пили настойку, ели, вспоминали боевые времена. Генерал захмелел и казался сердитым, — густые брови совсем закрыли глаза.

— Никогда не прощу ни себе, ни армии воровства твоего награждения, герой! — он называл Федора «героем» с тех пор, когда Федор, во главе своего батальона под огнем авиации и артиллерии противника построил переправу через Березину, потом отбил атаку пехоты, продержался до прихода танков и был представлен генералом к «Герою Советского Союза». Федора наградили только орденом Ленина.

— Будь ты партийный, носить бы тебе золотую звезду. Но для меня ты был, есть и будешь героем!

— Был, да скис, товарищ генерал.

— Что так?

— Запутался, отстал от армии, или почему другому. Может, от войны устал — не знаю.

Генерал поднял брови, и стали видны его удивительно голубые и чистые глаза.

— Вот оно что! А ты, мать, говоришь — женить. Тут похуже, — он посмотрел на Василия, — этот тоже гнуться стал.

Брови опустились. Генерал расстегнул ворот.

— Да-а-а-а... Так вот, что я вам, орлы, скажу: жизнь в наше время пришла в такое положение, что стала, как армия. Вся страна — армия, всё население — солдаты. Правильно или нет, не наше дело, есть приказ — выполнять! Дисциплина армии — нелегкая штука, но привыкнешь и не замечаешь — всю жизнь проживешь, не подозревая, что можно жить иначе. Но, случается, нет у человека призвания к военной службе, не лежит душа, а его на действительную призвали. Трудно его сломать — целая наука! Не привыкнет или убежит — тогда военный трибунал, или калечит себя — тоже трибунал, или самоубийством кончает. Вам это плохо известно — вы офицеры хорошие, но военного времени. Так сейчас и в жизни: не можешь приспособиться — погибнешь. Убежать от жизни некуда. Единственное спасение — не рассуждай, верь в устав, выполняй приказы! И только так.

— Разрешите, товарищ генерал, — не выдержал Василий, — почему же одни мы на свете должны жить, как армия? Почему другие живут без казармы?

— Это уже рассуждения. Я сказал — без рассуждений. И кончим об этом. Ты как, герой, стихи всё пишешь?

— Пишу, товарищ генерал.

— Вот это хорошо, но только, если для себя. — В себе и поэзией можно заниматься, выносить же на люди — или поэзия погибнет, или сам погибнешь. А теперь, орлы, спать. Не забывайте, что говорил про армию — и опять поднялись седые брови, и опять стали видны его голубые чистые глаза. — А еще на прощанье скажу вам стихами, хотя и не к лицу генералу лирические стихи:

«Молчи, скрывай и таи
И чувства и мечты свои,
Пускай в духовной глубине
И всходят и зайдут оне».

Глава седьмая

Рано утром Федор уехал в Лейпциг. После Рождества немцы еще не торговали, но без шубы замполиту Баранов сказал не возвращаться. Федор шел по Николойштрассе, когда его кто-то окликнул. У тротуара стоял автомобиль, из окна которого выглядывало женское лицо. Федор узнал жену Марченко.

Марченко знала в Лейпциге все торговые фирмы и магазины. Через два часа Федор купил не одну шубу, а три — черные под котик. Хозяин магазина вначале не хотел продавать, но Марченко напугала его, шепнув, что Федор из комендатуры, — хозяин подумал, что из комендатуры Лейпцига. Третью шубу Федор купил для продажи: в Союзе такая шуба стоила около десяти тысяч рублей, здесь же — всего восемьсот марок — четыреста рублей. Это была спекуляция, но Федор не думал об этом — так поступали все.

Покончив с покупками, Федор хотел пообедать и ехать в Берлин, но

Марченко стала настойчиво приглашать его отобедать к себе, — они жили под Ошатцем, по дороге на Дрезден. Федору ехать не хотелось, но и возвращаться в комендатуру, имея разрешение полковника еще на два дня, тоже не хотелось. К тому же пообедать в Лейпциге приезжему офицеру было очень сложно — надо ехать к дежурному городской комендатуры, объяснять причину приезда в Лейпциг, ехать за талонами, потом ехать в отель «Фюрстенгоф», а там время обеда могло кончиться. Шофера накормить же — совсем невозможно. И проголодавшийся Федор согласился.

Всю дорогу Марченко, пересевшая к Федору, не переставая говорила, так что Федор обрадовался, когда показался Ошатц.

Марченко жили на территории большой демонтированной фабрики. Въехав в ворота фабрики, Федор увидел огромные ящики с демонтированными машинами, котлами и трубами.

На снегу вокруг ящиков копошились рабочие — мобилизованные жители и рабочие фабрики. Ящики подтягивали к полотну железнодорожной ветки, готовясь к погрузке.

В кабинете Марченко, куда прошел Федор, толпились какие-то военные. По разношерстной форме, сшитой из немецкой серой или зеленой материи, по неумению носить её и по отсутствию наград Федор сразу узнал «сабуровцев». Демонтажников присылали в Германию в военной форме: директоров и инженеров — полковниками, подполковниками, майорами; техников и начальников цехов — капитанами и лейтенантами, мастеров и рабочих — сержантами и солдатами. В армии не любили «сабуровцев» за их принадлежность к «тыловикам», за офицерские погоны, и при случае издевались над ними.

Однажды в комендатуре Фёдор впервые встретил одного такого «полковника» — маленький, сгорбленный, в мешковато сидящей, не по росту солдатской форме с полковничьими погонами, тот стоял перед развалившимся в кресле дежурным лейтенантом Киселевым и о чём-то робко его просил. «Ну и что вы от меня хотите?» — грозно спрашивал Киселев для пущего удовольствия сидящих тут же солдат комендатуры. «Полковник» оказался профессором какого-то исследовательского института. Марченко был таким же «полковником», но, зная военную службу, понимал, какую власть давали ему полковничьи погоны, и держался с достоинством настоящего полковника.

— Федорушка, вот здорово! — обрадовался Фёдор Марченко.

Федор за дорогу продрог и с аппетитом набросился на еду. Марченко и слышать не хотел об отъезде в Берлин.

— Успеешь! Работа не волк, в лес не убежит. Погости денек-другой. Завтра охоту организуем. А?

Федору и самому не хотелось уезжать. Он чувствовал симпатию к этому стареющему добродушному человеку, любившему его за молодость и силу, за все то, что любил

сам Марченко в жизни и безвозвратно утерять.

— Сейчас начало второго. Ложись, отдохни. Я закончу со своими сводками и графиками — даже здесь в Германии нет от них спасения. А вечером устроим «детский крик на лужайке».

Вытянувшись на диване, Федор принялся рассматривать книгу об Олимпиаде 1936 года. Задремал.

Проснувшись, не сразу понял, где находится: незнакомая комната, за окнами темно, где-то играет радио.

За дверь послышался шопот. Потом дверь приоткрылась и показался смуглый лоб, смоляные гладко причесанные на пробор волосы и смеющиеся глаза.

— Да он не спит! — в комнату, свежая с мороза, в коричневом платье, гладко облегающем тело, вошла Рыльская.

Федор вскочил, застегивая воротник.

— Здравствуйте, соня. — Запахло дорогими духами. За Рыльской показалась Марченко:

— Ну, гость дорогой, куда же это годится: приехал и завалился спать на целый день! — глазки бегали с Федора на Рыльскую.

— Что пристали к Федорушке! Поспал с дороги — и слава Богу, — Марченко был одет в гражданский костюм и домашние туфли.

— У него теперь аппетит за пятерых. Посему скорей к столу. Мария Ивановна хотела тебя будить, но я не дал.

Марченки вышли. Рыльская села за стол, вытянув перед собой в глухих рукавах руки, и молча смотрела на Федора помолодевшими глазами.

— Вы довольны, что я приехала? — она была чем-то взволнована, кончики пальцев дрожали.

— Очень рад, Екатерина Павловна, стараясь не впадать ей в тон, ответил Федор.

— Федя, Екатерина Павловна! Прощу к столу, — позвал из соседней комнаты Марченко.

На большом столе были расставлены богатства русской кухни: за-

ливной поросёнок, икра, соленые грибы, квашенная капуста с яблоками, огурцы, селедка под лучком, нарезанные колбасы и ветчина, хрен и другие закуски, между блюд симметрично стояли два графина с водкой.

— Начнем с маленькой, — священнодействуя пробасил Марченко.

Первую рюмку выпили за здоровье хозяйки. Вторую за гостью. Немецкая девушка в белом переднике подала рассольник с кулебякой. На второе был тушеный, напичгованный салом заяц. За зайцем последовали пельмени. Все это сопровождалось немецким столовым вином, от которого мужчины сразу же отказались и пили водку, настоянную на лимонной корочке.

Часа через два настроение было подогрето. Принесли шампанское и фрукты, привезенные, как догадался Федор, Рыльской.

Рыльская предложила тост «за исполнение желаний» и посмотрела на Федора.

— Ура! — закричал уже захмелевший Марченко. Федор чокнулся с Рыльской и, отводя взгляд, вдруг увидел возле себя освещенную полноватую шею и начало груди в разрезе платья, и сразу же мысленно увидел плечи и грудь. Он вернулся глазами к продолжавшим глядеть на него глазам, чокнулся еще раз и залпом выпил. Рыльская пила медленно, будто уверенная в чём-то.

Марченко стал предлагать выпить «за красоту и гордость Красной армии — Федорушку». Он заметно пьянел. Мария Ивановна подвинула свой стул к Федору.

— Федор Михайлович, вы мне обещали адрес, где можно достать настоящий персидский ковер. На продукты или на деньги — всё равно.

Федор не помнил, когда он обещал ей адрес, но, чтобы отвязаться, назвал знакомого немца.

— Может быть, вы и записочку напишете, Федор Михайлович?

Федор полез за блокнотом в задний карман и, повернувшись, нечаянно коснулся коленом ноги Рыльской. Он хотел отодвинуться, но что-то

удержало его, и он сделал вид, что не замечает.

— Так вот и живем, Федорушка! Подальше от царей — голове целей. Гуляй, танцуй, что твоей душе угодно — никто не настучит!

И еще что-то говорил Марченко, что-то говорила Мария Ивановна, что-то отвечал Федор, но всё его сознание было сосредоточено в месте прикосновения колена с теплой и упругой ногой Рыльской. Словно через это место в него вливалось какое-то тепло, отчего напрягалось тело и таяла воля. И когда молчавшая Рыльская пошевелила ногой, он не задумываясь сделал то же, и она сразу же ответила едва слышным, будто случайным встречным движением. И он посмотрел отрезвевшим взглядом ей в глаза и увидел в них твердую решимость и серьезность, с какой солдаты ходили в бой, и вдруг понял, что что-то случилось такое, отчего он уже не имел права уйти и обидеть эту женщину. И она его поняла и побледнела.

— Федорушка! Милый! Давай споем! Катюша, что же будем петь? Какие же мы русские без песни! А?

Рыльская молча встала и отошла к окну.

— Давайте, но что?

— «Огонек». — предложила Марченко.

— Давайте «Огонек». Запевайте, Федор Михайлович, — словно приглашая на что-то значительнее, чем песня, сказала Рыльская.

Федор посмотрел перед собой на тарелку и запел. Контральто Рыльской присоединилось, потом подхватили и Марченки.

«На позицию девушка провожала бойца.

Поздно ночью простились на ступеньках крыльца,

И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке, на девичьем все горел огонек...»

К концу песни Марченко только мычал и, раскачиваясь в кресле, дирижировал вилкой.

— А у нас в дивизии один балагур, знаете, как пел? — все так же стоя спиной к окну, спросила Рыльская и,

поглядев смеющимися глазами на Федора, запела одна:

«Но вернется с позиции победитель-боец,
Выйдет ноченькой темною на знакомый
крылец,

И поймет, догадается фронтовик-паренек,
Что другой уж прикуривал об его огонек».

Марченко так и грохнул:

— Вот это да! Ну и Катюша! «Другой прикуривал»!

«Это на случай, если у меня осталась дома девушка» — подумал Федор и рассмеялся. Чтобы ответить ей, он встал и спросил:

— Хотите, прочту новое стихотворение?

— Давай, Федя, скажи-ка что-нибудь такое, чтоб знали наших!

«Все ищут себе места в жизни:

Кто в несколько га плодородной земли,
Кто площадью в две-три комнаты,
Кто кресла международной конференции,
Кто в несколько строк большой газеты,
Что называется Славой,
Кто уголка живого влюбленного сердца,
Кто — о, дерзкий! — переменчивого места

В Бессмертии.

А я говорю вам: нет на земле лучше

Места,

Площадью моего тела

(Вам надо того меньше)

На зеленой траве

В тени придорожного парка,

Чтс нет лучше для глаз места,

Как свободное для всех небо,

И еще — теплая глубина глаз

Влюбленной женщины.»

Рыльская смотрела на Федора, уже не скрываясь от хозяев. Потом села за пианино, стоявшее для мебели, — Марченко не играла — и запела:

«Мой голос для тебя, и ласковый, и томный...»

У Федора кружилась голова, его словно что-то подхватило и несло. Он налил два бокала и подошел к Рыльской. Закрыв ее собой от Марченко, глядя в поднятые к нему глаза, ставшие вдруг беспомощными и влажными, он молча протянул бокал.

— За вас, Федя, и за... себя, — тихо проговорила она.

Федор выпил и вернулся на свое место. В голове шумело. Марченко что-то говорил и смеялся. Федор ясно услышал имя Рыльского и ему сразу стало нехорошо от того, о чем было уже решено. Мучительно захотелось избежать идущего с ночью. Он принялся пить из двух бокалов, сам с собою чокаясь.

Рыльская угадала его бегство и старалась ему помешать. Марченко кричал:

— Федя, не сдавайся! Федя, пей! — и, попытавшись подняться с кресла, вдруг свалился на пол, продолжая кричать:

— Федя, не сдавайся!

Федор с трудом поднял грузное тело и понес в спальню — хозяйка подерживала ноги. Марченко пьяно хохотал и блаженно мычал.

Потом хозяйка провела Федора в его комнату и, будто невзначай, показала на стеклянную дверь:

— А здесь Екатерины Павловны комната.

«Сводня», — зло подумал Федор и, ничего не сказав, пошел в столовую.

Рыльская сидела на диване, курила и казалась совсем трезвой.

— Садитесь, Федор Михайлович, — думая о чем-то другом, сказала она и поглядела снизу на него, глаза были серьезны и настойчивы.

Федор сел вплотную к ней и, почувствовав ногой ее бедро, не зная, для чего он это делает, взял за округлые плечи, повернул к себе и прижался губами к ее рту. Губы Рыльской были холодные и сухие. Она закрыла глаза и казалась пьющей птицей.

Потом отпустил плечи и провел рукой по лицу. Екатерина Павловна была бледна, у губ и носа лицо казалось напудренным. Она хотела что-то сказать, но задохнулась, судорожно сжала его руку и, не сказав ни слова, даже не взглянув на него, выбежала из комнаты.

Федор закурил. Зачем-то подошел к зеркалу. На него смотрело до неузнаваемости напряженное лицо.

— Опять? — спросил он, — изображение передразнило.

Завтра охоту организуем.

— Ну и чорт с ним! А больше всего со мной! Так? — изображение повторило.

— А поэтому выпьем! — он налил в чей-то бокал вина и вернулся к зеркалу.

— Прозит, лишний человек XX века! — изображение чокнулось с ним и выпило. Федор пошел к столу закутить. И, как это случалось с ним не раз после сильной выпивки, его вдруг охватил животный голод, он стал поедать с тарелок подряд — холодное мясо, огурцы, колбасу.

И только когда почувствовал полноту в желудке, закурил и пошел к себе.

В комнате Екатерины Павловны горел свет. Федор принялся медленно раздеваться, всё время думая о том, что нужно идти туда. Но идти не хотелось, а идти было нужно — он должен был идти, будто бы на это был приказ и он не мог нарушить его. Он приказ подумать об этом и... провалился.

Проснулся он от каких-то толчков. В темноте над ним белым привидением стояла Рыльская. Федор сделал усилие сбросить с себя сон, в голове шумело и болезненно хотелось спать.

— Я... сейчас... сейчас иду...

Она повернулась и пошла к своей двери. Федор услышал сдерживаемое рыдание и сразу проснулся — теперь он должен идти! И он пошел.

К себе Федор вернулся, когда окна стали синими.

Потом где-то рядом звонил телефон. Никто не подходил, и телефон звонил с редкими перерывами, словно дышал. Вставать не хотелось. Зашлепали чьи-то шаги, послышался сонный и хриплый голос Марченко:

— Слушаю... Да, я... Кто? Аркадий, ты?... Здравствуй, дорогой... Катя у нас, у нас, не беспокойся... — в голосе была фальшь, и Федор всё вспомнил и поморщился, как от зубной боли.

— Что?... Спит еще — мы вчера поздно засиделись. Разбудить?... Пусть спит. Моя тоже еще спит... Что? Приедешь?... Ты где?... В Тор-

гау? Так это же рядом! Приезжай к завтраку... Прошу. Ждем. Пока! — В голосе уже была растерянность.

Федор лежал и знал, что в комнате рядом Екатерина Павловна не спит и тоже слышит разговор Марченко с мужем. «Какая гадость! Сейчас приедет он, — она, я, эта сводня, Марченко со своей растерянностью! Сейчас же вон отсюда!» — он встал и принялся одеваться.

«Бежишь? Мужа испугался?» — стало совсем нехорошо. Потихоньку отворил дверь к Рыльской. Она лежала на спине, черные волосы на подушке были разметаны, бледное, похудевшее лицо казалось моложе, глаза встретили Федора, словно ждала, что он войдет.

Пересилив неловкость, он подошел и сел на край кровати. Екатерина Павловна взяла его руки и прижала к теплой шее.

— Я должен уехать. Так лучше.

Она закрыла глаза и сжала руки сильнее.

— До свиданья... Катя...

Открыла глаза, перехватила руки на плечи и зашептала жарко и настойчиво, прямо ему в лицо:

— Федя, я люблю тебя. Я всю жизнь ждала тебя, Федя, и не могу, не могу теперь жить без тебя!.. Когда вчера мне позвонила Мария Ивановна — я знаю, она женщина не всегда приятная, расчетливая, но она понимает меня, — и когда сказала, что ты у них, я бросила в Берлине всё и помчалась сюда, к тебе... Сейчас приедет Аркадий, хочешь — я скажу ему и прямо отсюда уйду к тебе? Хочешь?

Федор не знал, что ему ответить.

— Всё так неожиданно, Катя... Я должен возвращаться в комендатуру... В Берлине мы встретимся... поговорим... Не сердись на меня...

Рыльская разжала руки и отвернулась к стене и, медленно выговаривая слова:

— Я сделала всё, даже то, что не должна была делать... Я сделала это, чтобы ты понял, как я люблю тебя... Я сделала... Зачем я это сделала? — почти крикнула она и заплакала, кусая губы. И тут же подумала, что ему

неприятно встречаться с мужем и Марченко. С надеждой обернулась.

— Поезжай, милый... Я скажу, что извинился, что должен сегодня быть в комендатуре... До свиданья, жизнь моя, и она потянулась к нему

лицом. Федор неловко поцеловал, и снова она показалась пьющей птицей.

Через час Федор, поеживаясь от утреннего холода, сидел в автомобиле. Карл молча держал руль, словно угадывая состояние хозяина.

Глава восьмая

Автомобиль быстро бежал по запыленному снегом шоссе Дрезден-Лейпциг. Сокращая путь, Карл свернул на север, через Дален. Выглянуло тусклое зимнее солнце. Морозный туман порозовел, зарозовели и снежные поля. Въехали в лес — зимние, отяжелевшие деревья замелькали по сторонам.

Вдруг в моторе хлопнуло и затарахтело о железо. Лопнул ремень динамо. Запасного не было. Досадуя на Карла, Федор приказал ехать на аккумуляторе до Далена.

Дежурный офицер даленской комендатуры — пожилой, сутуловатый капитан — позвонил коменданту на квартиру.

— Товарищ гвардии майор, комендант города просит вас к себе.

Федору ничего не оставалось, как идти к коменданту.

— Тихо у вас, хорошо, — заметил он капитану, проходя по белой улице в белых кустах и деревьях.

— Тихо, товарищ гвардии майор, но скучно. Семью бы сюда выписать.

Капитан до войны был учителем сельской школы. Дома ждала жена и двое детей. Тосковал, подавал заявление о демобилизации, обещали разрешить выписать семью, но прошло четыре месяца, а разрешение не пришло.

— Молодым еще ничего: бегают по немкам, комендант живет с репатрированной, а нам, семейным, — тоска. Хоть бы читать было что, — может, у вас в Берлине можно что достать?

Комендант жил на пивоваренном заводе, наглухо огороженном высокой каменной стеной. На звонок вы-

шла немецкая девка — широкобедрая, неряшливая, с жирной кожей.

Большая квартира была набита мебелью и вещами. В прихожей на шкафу лежало два аккордеона, почти в каждой комнате — по радиоприемнику. Бледный майор с припухшими глазами на обыкновенном лице вышел из спальни и представился:

— Районный комендант, майор Носов.

Китель был увешан медалями и орденами — Кутузова 2-ой степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.

Познакомились. Оказалось — воевали в соседних дивизиях. Был четыре раза ранен.

Пришла «жена» — смазливая молодая женщина с усталыми глазами, в шелковом платье и русских сапогах на высоких каблуках. Глядя в сторону, подала бескостную руку и тут же ушла на кухню. Федор потом узнал, что она украинка, была вывезена немцами в Германию, при репатриации попала в сводный лагерь в Ошатце, где ПФК*) проверяла репатрированных. Коменданты ближайших районов ездили в лагерь и набирали хороших для «обслуги» комендатур.

Стали собирать на стол. Федор отказывался, но комендант был заметно рад новому человеку и не хотел слышать. Чтобы развлечь Федора, завел радиолу. Пластинки были русские, даже эмигрантские — Лещенко и Вертинский.

— Только для своих, — заговорщицки сказал он Федору, имея вви-

*) ПФК — Проверочно-Фильтровочная Комиссия.

ду мнение политотделов об этих певцах, как об упадочных и вредных.

«Ну, что ж, простимся, так и быть,
Минута на пути,
Я не могу тебя забыть,
Прости меня, прости».

Лицо Кати — пьющей птицы всплыло в памяти.

Вошла «жена» с тарелками на подносе. Она незаметно рассматривала Федора. «Освободили», — подумал он, — «сделали наложницей, потом выбросят «по приказу» на родину. Что ее там ждет, прошедшую военную Германию и постели «освободителей»?

Перевернул пластинку — тот же голос со слезами в горле:

«...Обо мне не грусти, мой друг, я озябшая, хмурая птица,
Мой хозяин, жестокий шарманщик, меня заставляет плясать...
Вынимая билетки счастья, я гляжу в несчастливые лица,
И под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать.»

«И мне хочется спать, мучительно хочется спать». Комендант в другой комнате звонил по телефону.

— Товарищ майор, я приказал съездить за ремнем в Ошатц, а пока давайте подкрепимся, — и он сделал широкий приглашающий жест:

— Так сказать, легкий завтрак!

Опять еда — горы мяса, закусок, приправ, опять водка, опять вино. Лишенные столько лет еды досыта, советские люди, попав в Германию, старались угощать, есть, поражать едой. Это дополнялось старинным русским гостеприимством. Так и у генерала, так и в Берлине, и у Марченко — повсюду.

Федору ни пить, ни есть не хотелось, но хозяин настаивал, обижался, так что «легкий завтрак» кончился пьянкой.

Время от времени появлялась «жена», убирала со стола и молча уходила. Когда Федор спросил её, почему она не разделит с ними компании, — покраснела, опустила руки и стала отказываться. Тогда комендант протянул ей стакан вина и приказал:

«Пей». Она тихо сказала: «На здоровьечко» и выпила, так же стоя у стола. Потом собрала на поднос пустые тарелки и опять ушла в кухню. Захмелевший хозяин, хвастаясь, рассказывал о своем «царствовании» в городке.

Волею войны закинутый в коменданты этого тихого городка, он быстро вошел во вкус положения «царька» и «развернулся». Федор не раз встречал таких комендантов. Что их ждало, вчерашних полуграмотных крестьян, а сегодня вершителей судеб тысяч побежденных немцев.

Жители, чье имущество, а порой и жизнь зависели от воли коменданта, при одном появлении самодовольной фигуры представителя военной власти старались скорее скрыться. Не дай Бог, если у какой-нибудь матери красавица дочь! Не дай Бог, если у кого в гараже остался автомобиль! «Непослушного» арестовывали и водворяли в подвал комендатуры, где он сидел, пока не соглашался с любым требованием коменданта. Жаловаться никому не приходило в голову. Группы местных коммунистов, зависимых от комендантов, даже при явном беззаконии не решались «портить отношений» с властью. Федор угадывал будущее этих «царьков». Он знал, что в Москве готовились кадры для работы в Германии, что комендатуры по мелким городкам будут упразднены и комендантов ждала демобилизация и возвращение к себе в деревни или в провинциальные городки, где они, отвыкшие от труда, с новыми привычками к пьянству и безграничной власти, неминуемо должны были кончить тюрьмой и лагерем.

— Тебе что нужно, — ты скажи, майор! Я все могу. Хочешь корову — пожалуйста! Хочешь бочку спирту — пожалуйста! Сахар, повидло — пожалуйста! Все равно немецкое — они у нас брали, теперь мы берем! Разошедшегося коменданта прервало появление дежурного:

— Товарищ майор, надо бы сводки подписать.

Федору стало стыдно перед этим пожилым капитаном. Он извиняюще

развел руками, показывая, что ничего не мог сделать.

— Извини, майор, надо сходить в комендатуру, сам знаешь — служба прежде всего! — Пошатываясь, стараясь держаться прямо, комендант удалился в сопровождении дежурного.

— Он часто у вас так? — спросил, чтобы что-нибудь сказать, Федор у поправлявшей скатерть «жены».

— Каждного Божого дня, — со вздохом, покорно ответила та. Это Федор и без неё знал.

— А нельзя ли мне где-нибудь поспать у вас?

«Жена» как-то боком взглянула на Федора, и ему показалось, что она хотела проверить, не приглашение ли это мужчины ей, женщине. «Неужели она еще и спит с приезжими?»

— Я устал немного и хотел бы отдохнуть, — как мог мягче сказал он.

— Прошу, товарищ майор, до цыей кимнаты, — она провела Федора в комнату рядом, повидимому «кабинет» хозяина. Везде валялось оружие, фогаопараты, части киноаппарата, какие-то картонки с бельем, куски материи, недошитые посылки. Здесь же стоял широкий диван. «Жена» принесла стеганое одеяло и подушку.

— Прошу, — но не уходила, и Федор опять подумал о коменданте. «Как он надоел ей».

— Вы хотите что-то мне сказать?

— Товарищ майор, вы из Берлину, чи вы не чули, шо с нами буде? — быстро спросила она, прижимая руки к груди.

— Домой, наверное, отправят.

На глазах у женщины показались слёзы.

— Хоть бы до дому, Боже ж мій! Уси кажутъ, шо пашпарты дадутъ — але ничего не даютъ. Наши кажутъ, шо до Сибиру засылають... страх-то... от и сидю тут... Чи не можно там похлопотатись. Може допоможете, товарищ майор, вик Богу за вас молитись буду, — и она молча заплакала.

Федору до боли стало жалко это замученное человеческое существо. Чем он мог помочь ей? Но, чтобы

как-нибудь успокоить, достал блокнот и спросил фамилию, обещая где-то похлопотать.

— Нечипуренко, Галина, 1925 року народження, — вытерла рукой слёзы и, всхлипнув: — Вы вже попросить, товарищ майор, щоб до дому поїхати.

Оставшись один, Федор долго лежал и думал о «поїхати до дому», о сотнях тысяч таких же девушек, искалеченных событиями, потерявших близких, дом и даже доверие правительства своей страны только за то, что их вывезли на каторгу в Германию.

Он слышал сквозь сон, как вернулся комендант, как кричал на Галину, как та что-то тихо отвечала. Когда комендант разбудил Федора, стол в столовой был снова заставлен блюдами и бутылками. Пить Федор отказался наотрез. Карл сидел на кухне, сытый, подвыпивший, и что-то рассказывал смешное толстой кухарке. Автомобиль был готов.

Комендант снова настойчиво просил выпить и снова обижался, так что Федору пришлось уступить и, преодолев отвращение, проглотить три рюмки. Комендант пил не закусывая и, опьянев, снова стал предлагать взять у него что-нибудь в подарок.

— Хочешь, бери вон ту картину. Ты человек образованный и тебе она нужнее. — Большая картина изображала обнаженную женщину на фоне огромного павлина. Кожа была написана так хорошо, что казалась теплой и живой.

— Бери, майор, — это из Дрезденской галереи. Когда союзники бомбили, всю галерею развезли по деревням. Эта попала в Дален.

— Спасибо, товарищ майор, картина очень хороша, но с ней под суд попадешь: знаете приказ маршала Жукова, — Федор чуть не сказал «покойного маршала», — у нас в Берлине одного офицера за гешефты с картинами на десять лет засадили, а тут из Дрезденской галереи.

— Ну, ладно, тогда возьми что-нибудь — у меня вон сколько! — настаивал вошедший в раж гостеприимства пьяный майор.

— Чего у вас в Берлине нет, ты скажи? Ну, продуктов хочешь?

— У нас «Гастроном» есть, спасибо, — отказывался Федор.

— Ну, а мясо у вас есть?

— Столько нет, но хватает.

— Вот видишь, возьми мяса. А?

Решив отделаться и думая, что всё обойдется кругом-двумя колбасы, Федор согласился.

Было десять часов, когда Федор стал прощаться. На освещенном фонарями заводском дворе стоял готовый автомобиль, и Карл прогревал мотор. Федор еще раз поблагодарил вышедших на крыльцо коменданта и Галину. Ночной полицейский открыл ворота, и автомобиль, освобожденный от тормоза, покатился с возвышенности.

Городок уже спал. Только комендатура была ярко освещена и со стен смотрели плакаты и огромный портрет Сталина. У полосатой будки ходил часовой с автоматом.

Когда въехали в лес, Федор почувствовал запах навоза. На заднем сиденье что-то чернело и тяжело дышало.

— Что это такое, Карл?

— Овца, господин майор.

— Что-о-о?

— Овца. Комендант сказал, что вы знаете.

— Вот идиот! — но тут же рассмеялся: Что же мы будем делать с нею, Карл?

— Придется зарезать, господин майор. Она ягнёная.

— Этого еще не хватало!

«Если в пути комендантский контроль найдет овцу, да еще ягненую, без соответствующих документов — это грозило отдачей под суд по тому же приказу. «Попадешь на дурака — ну и пропал. Надо выбросить».

— Останови, Карл — шофер затормозил. Федор вышел. По обеим сторонам дороги, уходя кронами в тьму ночи, стояли белые сосны. Федора слегка лихорадило. «Куда же ее, проклятую. Жалко, ведь, — замерзнет». И Федор снова сел в машину, решив оставить овцу в ближайшей деревне, о чем и сказал шоферу.

Карл, недоумевая, покосился на хозяина:

— Зачем выбрасывать, господин майор, ведь в ней центнер мяса.

— За этот центнер меня могут расстрелять.

— За подарок коменданта? — Вы можете указать, откуда она у вас.

— Тогда попадет коменданту, Карл.

— А кроме того, господин майор, уже ночь и до Берлина никаких постов. В Берлине вас все знают.

«Пожалуй, Карл прав» — подумал Федор и решил положиться на судьбу.

В лесу снегу было больше, и автомобиль ехал со скоростью в сорок-пятьдесят километров.

Одна канистра с бензином протекала, и в автомобиле стоял удушливый бензиновый запах. То ли от этого, то ли от своего состояния, овца явно задыхалась. Пришлось опустить заднее окно. Свежий морозный воздух овцу успокоил.

Федор поднял воротник пальто и стал дремать. Проснулся он, когда проезжали Торгау — большие темные казармы, красная освещенная комендатура, зимние ночные улицы, площадь с неизменной ратушей и фонтаном, снова улицы и снова темнота зимней ночи. Несколько раз впереди, в свете фар, пробегали зайцы, один раз метнулся рыжий язык лисицы, а когда въехали в лес, метрах в пятидесяти, справа от дороги, увидели козулку: животное, повернув голову, смотрело на огни приближающегося автомобиля; потом медленно, будто нехотя, козуля сошла в придорожную канаву и скрылась в кустах.

Федор мысленно увидел свой маленький автомобиль, одиноко бегущий среди огромного ночного леса. Будь это в России — давно обстреляли или остановили бревном через дорогу. «Станный народ — немцы. Ни одного случая возмущения, хотя в оскорблениях от таких вот комендантов недостатка нет. Ни одного террористического акта, ни одной диверсии, а ведь они Германию любят не меньше, чем мы Россию... и солдаты хорошие... Всегда казалось, что

нацистская молодежь воспитана в духе очень боевом и патриотическом... Ведь какими молодцами ходили в психические атаки. Неужели всё — пресловутое немецкое уважение к порядку: раз приказ о капитуляции подписан, значит надо терпеть и, пока не будет правительства и новых приказов, так и будут терпеть».

Потом вспомнил о недавнем убийстве двух демонстрационных и шофера где-то недалеко от Лейпцига. Так же ночью в лесу их автомобиль остановил патруль — офицер с красной повязкой и солдат с красным флажком. Ехавшие не придали значения, что «КП» выбрал себе место в лесу. При проверке документов офицер в упор застрелил из пистолета сидящих в автомобиле. Трупы выбросили в снег, забрали деньги, личные документы и скрылись. Убитых обнаружили, а месяц спустя в Дрездене был задержан «подполковник», документы которого имели фамилию убитого демонстрационного. При задержании подполковник пытался бежать, застрелил одного солдата, но другой солдат убил его из автомата.

Федор знал, что по всей советской зоне оперировали банды дезертировавших из частей солдат и офицеров. «Война нравственность не улучшает»... Не хотят ехать на родину, не хотят возвращаться в бедность, нищету, беспросветный труд для каких-то чужих — всё-таки чужих, что бы ни говорили — интересов.

Вспомнил слова отца Василия «люди хотят жить»... «Можно ли огулом осуждать этих озверевших от войны людей — они хотят жить и вот остаются здесь. Затравленные облавами, не смеющие перейти границу на Запад, — там их выдают союзники, — они, чтобы существовать, превращаются в грабителей».

От этих мыслей ночь стала черней, дорога глуше. Федор вынул пистолет, снял предохранитель, положил на колени. Саметив это, Карл сосредоточился и стал вглядываться вперед. Овца сзади временами тяжело вздыхала.

Далеко в ночи сквозь стволы деревьев замелькали огоньки.

— Ютеборг, — облегченно сказал Карл.

В Ютеборге стояла танковая дивизия. В темных окнах спящих домов вспыхивало отражение света автомобильных фар, и казалось, что кто-то включал свет. Выехали на длинную улицу. Впереди виднелся освещенный фонарем перекресток. Когда подъезжали к нему, из-за углового дома выскочил солдат и замахал красным флажком. За ним вышли еще две фигуры в шинелях. Федор кивнул Карлу остановиться и взял пистолет. Автомобиль по инерции, скользя по укатанной мостовой, проехал мимо отскочившего солдата и остановился. Подбежал другой солдат с погонами сержанта и красной повязкой на рукаве. Федор опустил возле себя стекло. Разглядев погоны Федора, сержант приложил ладонь к шапке:

— Контрольный пункт. Прошу документы, товарищ майор.

Федор протянул в окно паспорт на машину, свое удостоверение и пропуск.

Сержант зашел вперед, сверил номер автомобиля с документами и, вернувшись к окну, протянул их Федору. В этот момент овца как-то особенно тяжело вздохнула. Сержант обернулся на вздох и стал пристально вглядываться в темноту заднего сиденья. Он увидел что-то черное, вроде шубы, но живое.

У Федора упало сердце: «вот оно»... Сержант наклонился к открытому окну разглядеть и — то ли от света перекрестка овце показалось, что пришли кормить, то ли что другое, — она вдруг высунула морду прямо к лицу сержанта и густо заблеяла: «бэ-э-э-э!»

От вида перед носом страшной косматой морды с нечеловеческим «бэ-э-э!» сержант испуганно отпрянул от автомобиля. Решив, что офицеры шутят над ним, только и успел сказать:

— Ну, что вы пугаете!

Не дав ему опомниться, Федор толкнул Карла, тот включил газ, автомобиль дернул и поехал, набирая скорость.

Опасаясь стрельбы вслед, Федор оглянулся: два солдата подошли к сержанту, и тот что-то рассказывал, показывая руками у головы.

Карл рассмеялся, засмеялся и Федор.

В этом настроении удачи доехали до Берлина. Какими-то неизвестными Федору улицами, через американский сектор выехали к дому.

Квартира встретила теплом. Полы были до блеску натерты, ноты и книги аккуратно сложены, стол накрыт чистой скатертью. Всё неузнаваемо преобразилось, и Федору, несмотря на поздний час — было три часа ночи, — показалось, что в квартире давно живет хорошая семья и он член этой семьи.

Глава девятая

Разбудил его чей-то вскрик. В раме дверей, освещенная сзади утренним солнцем, стояла Инга. Лучи в волосах нимбом окружали испуганное и смущенное лицо.

— Пожалуйста, извините! — она поспешно закрыла дверь. Опомнясь, Федор крикнул:

— Не уходите, я сейчас оденусь! — он торопливо стал одеваться, все время оглядываясь на дверь, где только что была девушка с солнцем в волосах.

Когда Федор, стараясь быть незамеченным, прошел в ванную, девушка убирала в кабинете. В ванной всё стояло на месте: одеколон, щетки, мыльницы, стаканы. «Замечательная девушка!» — подумал он. Торопясь, порезался бритвой и долго останавливал квасцами кровь.

— Гутен морген! — как можно бодрее сказал он, входя в кабинет, но почувствовал неловкость от того, что не знал, как её зовут.

— Guten Morgen, Herr Major! девушка мельком глянула на него и продолжала вытирать чернильницу.

— Я напугал вас? Я приехал ночью.

Девушка чуть покраснела и засмеялась. Две ямочки на щеках сделали лицо ещё моложе.

— Я была совершенно уверена, что в квартире никого нет. Вы, наверное, не выспались, а я разбудила вас. Вы приехали позже двух, — и она покраснела от мысли, что он догадается: она не спала и ждала его до двух часов.

Он понял это и смутился сам и, чтобы скрыть смущение, взял с письменного стола фотографию Сони.

— Вам нравится моя сестра?

Девушка как-то странно посмотрела на фотографию, потом на него.

— О, это ваша сестра? Теперь я вижу, что она даже похожа на вас, — и, взяв из рук Федора карточку, стала излишне пристально разглядывать ее.

— А вы думали, что это не сестра? — тоже обрадовался Федор.

Девушка наклонилась над карточкой и ничего не отвечала. Она почувствовала вдруг, что ей нравится это лицо с гладкой прической и грустными глазами; до этого прическа казалась ей старомодной, а глаза глупыми.

И, ставя фотографию на стол, чтобы прервать молчание, сказала, что звонила ффрау-оберст Рыльская и подполковник Климов.

При имени Рыльской Федор сразу всё вспомнил и помрачнел. Пробормотав что-то в благодарность, вышел из кабинета. Он совсем забыл, совсем не думал о Кате, и в этом было что-то очень неприятное.

Он принялся ходить по столовой и вспоминать всё, что произошло у Марченко.

Он давно догадывался, но то, что сказала ему Катя, было совсем иное. Это иное говорило ему, что она глубоко несчастна с мужем, что ей было не легко решиться на поездку к Марченко и что это было отчаянным решением полюбившей женщины.

Чувство тревоги и чего-то непопра-

вимого — он знал, что всю жизнь теперь будет вспоминать это с острым стыдом, — навалилось на него, так что он даже остановился, сжал глаза и замотал головой.

И раньше были встречи. Он ловил себя на том, что ему нравились женщины с внешностью Кати — чувственные, с развитыми формами. Но он всегда стыдился сознаваться и боролся с этим. Встречи были короткими, а на войне и просто торопливыми. Они затрагивали его как-то внешне, механически. Он никогда не переставал ждать встречу-чудо, которая должна была чем-то поразить его и стать смыслом жизни. Ещё подростком, юношей и за книгами, и в воображении он мечтал о такой любви и, глядя через призму своего желания, влюблялся в случайных женщин. Обычно, если не упрямился, это скоро проходило.

Катю он воображением не приукрашивал — он даже не думал о ней. К ней его влекло как раз то, с чем он боролся в себе. Её отношение к нему он объяснял обычаями военной среды и привычками жён высоких, всегда занятых работников.

Сейчас он думал, что, опьянев у Марченко, поддался «животному» и «порочному». Его смущало и беспокоило то, что она говорила ему ночью и утром.

Он не любил её и не мог, как казалось, полюбить. Поэтому он не должен был делать того, что произошло.

Попытался защититься тем, что она сама приехала, но это было уже не по-мужски, нечестно. Он снова остановился и замотал головой.

Из кабинета выпла Инга с тазом и тряпкой в руке.

Присутствие этой девушки сейчас показалось Федору досадным и неприятным. Он остановил её и слегка раздраженно сказал:

— Я сегодня же поговорю с бургомистром района, чтобы он нашел вам работу в какой-нибудь фирме, как я обещал вашей матери.

Она испуганно посмотрела на него и зачем-то взялась второй рукой за таз.

— Мне хотелось только знать, что вы умеете делать — знаете ли стенографию, машинопись? Учились ли?

Инга отвернулась к окну.

— Разве вы недовольны моей работой, Herr Major? — помолчав быстро спросила она, глядя в окно. — Я окончила гимназию и музыкальное училище, знаю стенографию, машинопись плохо... Но разве вы недовольны? — повторила она, морща лоб.

— Нет, я очень доволен, но я обещал вашей матери устроить вас в фирму. Мне кажется, что эта работа для вас, образованной девушки, не подходит.

— Мне удобна эта работа... Мама больна, и я всегда рядом с нею... Но, если вам это не подходит...

— Вы меня не поняли, — Федор чувствовал, что обидел ее, — мне неловко предлагать вам черную работу уборщицы... Но если вы находите возможным, — я очень рад... Тогда надо познакомиться, — и протянул ей руку:

— Майор Федор Панин.

— Inge von Torner. — Маленькая рука ответила ему крепким пожатием.

— Я очень рад. И если вам когда-нибудь будет нужна моя помощь — говорите мне не стесняясь.

— Vielen Dank, Herr Major. Вы уже и так много сделали для нас, и мы с мамой не знаем, как вас благодарить, — серьезно ответила девушка, глядя прямо ему в глаза.

— Я сейчас иду в комендатуру. Скажите, пожалуйста, шоферу, чтобы взял эту картонку и ехал туда же.

— Хорошо, Herr Major, но... — она улыбнулась: разве Herr Major по утрам не завтракает?

— Я позавтракаю в комендатуре. За эти три дня там накопилось много работы и мне надо торопиться.

Было видно, что она сказала о завтраке от простого недоумения — как это идти на службу не позавтракав? И это его тронуло.

— Ауфвидерзеен, — и снова не сказал «фрöляйн» — это звучало бы, как в гастшетте; «Фрöляйн фон

Торнер» — звучало бы слишком официально.

— Aufwiedersehen, Herr Major! — и опять засмеялись ямочки на щеках.

«Хорошая девушка» — несколько раз подумал Федор, спускаясь по лестнице. На дворе светило солнце, ослепительно сверкал выпавший за ночь снег. Федор быстро пошел по направлению к комендатуре. Несмотря на мороз, ему вскоре стало жарко, в глазах словно посветлело, он снова почувствовал себя бодрым и с особым удовольствием отвечал на приветствия встречных солдат.

Из ворот комендатуры выезжала телега комендантской столовой. Задняя ось зацепилась за ворота, и лошади стали. Заметив Федора, солдат-возница принялся хлестать кнутом по широким крупам лошадей. Кони прижимали уши, рвались, но ось не пускала.

Из ворот выскочил Валька — сержант Волков.

— Ты что, очумел? Рад, что кнут в руки попался! Чего зря коней пореешь?

— Что ж их жалеть — всё одно немецкие! — крикнул, смеясь, возница.

— Вот балда! Виноваты они что ли, что немецкие? — сержант взял лошадей подузды, подал назад и ловко вывел.

«Молодец, Валька!» — подумал Федор и приветливо кивнул заметившему его сержанту.

Полковник был один.

— А, Федя, заходи. Здравствуй, — он как-то чересчур внимательно, как показалось Федору, поздоровался.

— Ну, докладывай, докладывай. Садись, Федя, — продолжал суетиться Баранов.

Федор рассказал о «Мерседесе» и покупках.

— Значит, в порядке. Молодец. Сейчас позовем замполита, он артачился, но раз пальто жинке есть — замолчит. У него в семье, между нами, штаны носит жинка.

Баранов замполита не любил, как все коменданты, к которым замполиты были приставлены для контроля.

На звонок явился секретарь,

— Позовите подполковника Марго-

лина. — Теперь вот что, Федя: тебе пришла телеграмма. Она у Марголина. — Федор сжался и вцепился в ручки кресла.

— Сестра заболела. Телеграмма заверена врачом.

«Вот оно...» — Федор беспомощно посмотрел на серебряные от инея ветки за окном.

Вошел без стука замполит. Маленький, толстый, молча сунул сосиски пальцев коменданту, потом Федору и, придвинув стул, сел сбоку комендантского стола.

— Всё в порядке. Пальто майор привез.

Марголин забарабанил пальцами-сосисками по столу.

— Где оно у вас, товарищ майор?

Федор не понял.

— Пальто где, товарищ майор?

— Ах, пальто... в картонке... дома...

— Правильно. Завези его на квартиру товарищу подполковнику.

— Очень кстати. Спасибо, товарищ майор. У жены послезавтра день рождения. Очень кстати, — заговорил, наконец, Марголин.

Федор молчал.

— Здесь вам телеграмма. Где она, товарищ полковник?

Баранов сделал вид, что забыл:

— Разве я не отдал тебе? — и полез в ящик стола.

«Не хотел без замполита отдавать. Бойтся решить сам», — подумал, начиная злиться, Федор.

Полковник протянул через стол телеграмму. Она была распечатана, хотя адресована на имя Федора.

«Соня очень больна тчк требуется ваш немедленный приезд тчк соседка Козина тчк факт болезни заверяю городской врач Шишкина».

— Мы с комендантом решили дать вам отпуск. Работы много, но забота о человеке — правило коммунистов. Поезжайте и, если что нужно, пишите — мы поможем.

Федор встал и молча пошел к двери. «Соня... Боже мой... Соня...»

На улице его окликнул Карл.

— Herr Major, а что делать с картонкой?

— Что? С картонкой? — Федор по-

тер лоб. — Отвези на квартиру коменданту. Потом прижай домой... — и пошел, не замечая козырявших солдат.

Инга была еще в квартире. Федор, в шинели и фуражке, прошел мимо нее в кабинет и сел за стол. С фотографии грустно смотрела Соня. «Что же делать? Что же делать?»

— Herr Major плохо себя чувствует?

Девушка стояла в дверях и внимательно вглядывалась в лицо Федора. — Вам нездоровится?

Федор взял карточку Сони и протянул ее Инге.

— Сестру... — хотел сказать: арестовали, но поправился — Сестра опасно заболела. Очень опасно, — голос был чужой, и Федор будто слышал его со стороны.

— Mein Gott! — Она подошла к нему и протянула руку. «Будто поздравляет» — подумал он об обычае немцев пожимать руку человеку в несчастье. Прикосновение похолодевшей руки было искренне, как и вся она. «Не то, что эти!» — злобно подумал о Марголине, Баранове и даже о Кате.

— Завтра я улетаю в Россию. Когда вернусь — не знаю. Прошу вас присматривать за квартирой. Я очень рад, что познакомился с вами. Если меня не будет больше двух недель, возьмите мои личные вещи к себе, Карл вам поможет. Во всем советуйтесь с ним, он хороший парень.

Открыл стол, вынул из ящика деньги и, отсчитав пятьсот марок, протянул их Инге.

— Это ваше жалование вперед.

Инга покраснела:

— Это очень много, Herr Major.

Это ваше жалование вперед — я ведь могу долго задержаться.

Кто-то позвонил. Девушка пошла открыть.

— Все в порядке, Herr Major, — доложил, входя, Карл.

— Ладно, Карл, теперь не до этого. Завтра я улетаю в Россию. — Шофер удивленно остановился.

— Моя сестра опасно заболела.

Федор подумал, что для хлопот понадобятся деньги и что сегодня же надо продать автомобиль, но вспомнил о меховых пальто — одно Соне, а другое можно будет продать.

— Машину, Карл береги. Поставь куда-нибудь в мастерскую, в западном секторе. Если кто из наших будет спрашивать, скажи, что я отдал её в ремонт и ты не знаешь, куда Понятно?

— Jawohl Herr Major! —

— Дальше: если я вдруг не вернусь вообще, бери машину себе, продай, купи другую и начинай свое дело.

— Oh, Herr Major!..

— Дальше: вот тебе жалование за месяц вперед. Если я не вернусь... через две недели, все мои вещи перенеси к фроляйн фон Торнер, — мебель не моя. Если я не вернусь через месяц, раздели вещи с ней и делайте, что хотите. Понятно? Я постараюсь дать тебе знать письмом через сержанта Волкова.

— Jawohl, Herr Major! А что делать с овцой?

— Какой овцой? — но тут же вспомнил и усмехнулся.

— Зарежь. Мясо подели с фроляйн фон Торнер. Теперь оставь меня, я напишу письма: одно отдашь майору из Нордхаузена, он послезавтра приедет, другое отвезешь и отдашь лично — понимаешь? — лично фрау-оберст Рыльской.

— Jawohl, Herr Major!

Глава десятая

Рано утром самолет вылетел из Аэропорста. Погода стояла пасмурная, до самого Минска летели в облаках. Потом развиднелось, в круглые оконца увидели землю. Рядом с Федором

сидел старый генерал артиллерии. Им пришлось смотреть в одно и то же оконце: далеко внизу плыла русская земля — ни одной деревушки, ни одного села — только печные трубы и

землянки возле них; города были похожи на какие-то развороченные игрушки. И так до самой Москвы. Генерал глядел молча, тяжело вздыхал, отворачивался, но через минуту смотрел снова.

Сели во Внукове. Вечером на автобусе добрались до Москвы,

Столица поразила Федора усталыми лицами прохожих, бедностью одежды, толкотней и заметно увеличившимся количеством автомобилей на улицах, больше немецких марок.

Хотелось проехаться по городу — изменился ли он? Сколько лет прошло и каких лет! Но вспомнив Соню, поехал прямо на Курский.

На вокзале не протолкнуться — залы, проходы были забиты пассажирами, детьми, узлами, сундуками, чемоданами. У касс люди стояли с какими-то тупыми лицами — очередь занимали за три дня до отъезда, билетов ежедневно хватало одной трети ожидавших. Достать через носильщика стоило в три-четыре раза дороже.

Федор пробрался в зал для военных. Усталый, с красными глазами дежурный вокзальной комендатуры предложил билет на завтра. Федор молча положил перед ним орденскую книжку, отпущное предписание и телеграмму о Соне. Дежурный хотел по привычке отказать, но, взглянув на Федора, махнул рукой и молча достал откуда-то из-за стола талон: такой всё равно не отстанет — начнет скандалить, пойдет к коменданту и разрешение получит.

Поезд отходил через полчаса. В воинской кассе очереди не было. Купив билет, Федор вдруг почувствовал, что голоден — не ел с утра.

В вокзальном ресторане — посетители все больше офицеры — было тепло и шумно. Федор обратил внимание на цены — мясное блюдо стоило 8-10 рублей, т. е. столько, сколько зарабатывал в день квалифицированный рабочий. За обед Федору пришлось уплатить тридцать шесть рублей.

Поезда еще не было. У входа на платформу стояла тысячная толпа, оттесняемая милиционерами. Всё это

должно ринуться, как только подадут поезд. Федор в нерешительности остановился. Какой-то железнодорожник, пробегая мимо, посмотрел на него и раздраженно, как показалось Федору, заметил:

— Вам-то, товарищ майор, зачем лезть? Когда уляжется, тогда и проходите — офицерские места нумерованы!

Из двери слева торопливо вышло десятка полтора милиционеров и железнодорожников. Они заняли проходы к двум соседним платформам, куда скоро подошел запыхавшийся паровоз. Приехавшие пассажиры выскакивали из вагонов, стараясь пробраться ближе к выходам, где милиционеры и контролеры стали тщательно проверять паспорта, пропуска, командировочные. Тут же многих задерживали и куда-то уводили. Москва!

Потом подали поезд. Вагоны брали с боя. Кого-то придавили, кто-то кричал, плакали дети, визжали женщины...

В офицерском отделении вагона было даже пусто. Вместо электричества горела свеча. Федор стянул сапоги и полез на верхнюю полку. Ни белья, ни матраца, конечно, не было. Под голову положил чемодан, укрывшись шинелью и стал думать, что будет делать дома. За окном бегали люди, просились в вагон, кондуктор одностонно говорил: «воинский». Измученный женский голос крикнул: «Чтоб им пусто было, этим лейтенантам!»

Потом всё смешалось: шум моторов самолета, печальное лицо старого генерала, вокзальные толпы, милиционеры, проверяющие документы, лицо Сони, крики за окном... Отхода поезда Федор уже не слышал.

Проснулся от мерного стука колес и боли в спине. Светало. Внизу храпел, укрывшись с головой шинелью с интендантскими полковничьими погонами, какой-то толстяк.

За окном в сером утреннем свете плыли снежные уходящие до горизонта поля. Пронесся сожженный полустанок, и снова низкое темное небо и мертвые белые поля.

Глядя на них, Федор почувствовал, что он дома. Чем-то бесконечно родным повеяло на него от этой безрадостной картины зимних полей.

Он закурил и подвинулся к окну. Метрах в ста от полотна шла проселочная дорога. Мимо проплыла, ясная на снегу, группа — лошадь, сани и фигура в полушубке и шапке. И уже когда они остались позади, Федор всё еще видел клячонку с понурой головой и человека, глядящего на поезд, на фоне бескрайнего снежного поля. Эта картина каким-то образом предельно дополнила ощущение того, что он — дома, чувство глубокой связи с этим миром, зовущимся Россией, родиной.

Мелькали сожженные полустанки и станции, бабы, укутанные в огромные платки, с кувшинами в кошелках, вороны на дорогах, поля и снег без конца, без края.

Подполковник ехал в Крым лечиться от «одышки», как он говорил. Был он веселый, плутоватый, сыпал анекдотами и все приговаривал: «а мы его осторожненько за ушко да на солнышко». О своих болезнях — «одышке» и какой-то «контузии» говорил так, будто это доставляло ему удовольствие. Вещей с ним было много, Федор даже удивился, зачем ему это в санатории.

— Э, батенька, да ведь в Крыму ничего нет — ни мануфактуры, ни трикотажа, ни обуви! Я и подлечусь, и времени даром не потеряю, — и подмигнул Федору.

К обеду он стал надоедать, и Федор обрадовался, когда услышал, как тот договаривался в коридоре с кем-то из пассажиров «сгонять вечером пулечку».

Федор снова попытался собрать мысли о предстоящем. Всё было неясно — даже представить Соню арестованной не мог.

Взял со столика книгу — подполковник ее вынул из чемодана еще утром. «Краткий курс истории ВКП(б)» — это было неожиданно и непохоже на толстяка. Федор рассмеялся.

Тот заметил снизу:

— Правильно, майор! Надо на зубок знать — без нее ходу нет, — и смеясь добавил: — везде вожу с собой, но дальше двадцатой страницы никак не осваивается.

Вскоре подполковник ушел в соседнее купе играть в преферанс. Федор достал Блока, но читать больше не хотелось, и он бездумно смотрел в окно — мягко проносились, отсчитывая расстояние, телеграфные столбы, бежали, то поднимаясь, то опускаясь и перекрещиваясь, провода, косматый шар солнца, разрывая чашу леса, несясь за деревьями и, казалось, хотел обогнать поезд и забежать вперед.

Кто-то без стука открыл дверь.

— Подайте безногому, товарищ офицер!

Федор оглянулся — с высоты пояса на него пристально смотрели светлые с усмешечкой глаза. На безногом была выцветшая гимнастерка с орденами «Славы» 1-ой степени, «Красной Звезды» и медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». В руках деревяшки для опоры.

Федор смотрел на калеку, тот на Федора, у обоих в глазах росло узнавание.

— Седых... ты?! — первым опомнился Федор. Усмешечка пропала, глаза сузились и стали колючими.

— Так точно, товарищ гвардии майор Панин, бывший гвардии сержант Седых, собственной персоной. Наше вам с кисточкой!

Федор молча кинулся к двери и протянул руку. Калека посмотрел на руку, потом на лицо, снова на руку и, осторожно поставив на пол деревяшку, пожал грязными и сильными пальцами руку Федора:

— Привет, товарищ майор, если не шутите.

— Боже мой, Седых! Митя! Да входи же! — Какой-то любопытный офицер остановился в прорезе двери. Федор почти втащил безногого в купе и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть напротив и стал угощать папиросами.

— Как же, Митя? А? Сколько лет, и вот привелось...

Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел уже с усмешечкой на Федора.

Федор знал эту усмешечку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на него, когда он под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал своему сержанту Митяке Седых, самому отчаянному головорезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к наведению переправы. Приказ послал сержанта на смерть. С этой усмешечкой Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Через двадцать минут пулемет замолчал. И когда с мостом было кончено и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор никогда не слышал.

— Вот она «Слава» где! — Седых ткнул грязным пальцем на белую звезду, потом на обрубки ног. От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора:

— А я думал, вам «Героя» тогда дали.

— Какое там «Героя», Митя... Ты, наверное, мне никогда не простишь этого.

Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет, с лицом, налившимся кровью, прохрипел:

— Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра — я!» — еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего — попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой — деньжата завелись. В госпитале боялся — бабы любить не будут, а вышло наоборот, без ног даже сподручнее. Плохо — война кончилась: ребятки с фронта к женам прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже — «товарищи» спуску стали не давать. Раньше едешь с чувалом барахла, чтобы загнать, где подороже, — никакая зараза не прилипнет!

Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его — костылями! До полусмерти долбали! А на базаре за версту обходили лягавые нас! Теперь — крышка: засыпался с барахлишком, ну и хана — три-пять лет! Хоть бы «Ленина» имел! Ордена теперь не защита.

Федор достал из чемодана бутылку коньяку и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.

— Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь!» — ему заметно нравилось говорить с Федором независимо, как с равным. Федору хотелось сделать для Седых что-нибудь такое, чтобы он понял, что ему стыдно за ноги Седых и за свое неискалеченное тело.

Русский человек неловкость прячет в вине. Скоро последовала вторая бутылка, а потом Федор купил на станции самогона.

— Куда же ты едешь, Митя?

— Домой. я

— А дом где?

— Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке женская ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые, — жить бало бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше мы били милицию, — теперь милиция бьет нас. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом — под монастырь, в лагерь. Хоть я «Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже — русская земля», но обидно, товарищ майор, — они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне «максим» — всех мильтонов перестрелял бы!

— Как же тогда без них? — усмехнулся Федор.

— В натуре, советской власти без мильтонов нельзя, на мильтонах и держится. Но наше время вернется. опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов, а тех, кто повыше! Во второй не обдурят! Теперь — ученые.

— А разве инвалидам не дают по-

собий, не устраивают на легкую работу?

— Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот в Одессе собралась бражка на костылях, да так на костылях лягавым, что внутренние войска вызвали.

— Как же это?

— Да так, великая революция инвалидов в городе Одессе! — рассмеялся совсем не пьяный Седых, — схватили корешков, ну и тью-тью, в лагеря. Рано еще. Но время наше еще придет. Сейчас надо по маленькой. Вот собираю милостыню — офицеры дают, вдовушки жалеют, — каждый день пьян и нос в табаке. Может, и пристану к какой зазнобе — молочнице — «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...»

Поезд подошел к какой-то большой станции и, стуча буферами, остановился. Седых глянул в окно и, опрокинув в рот остаток самогона, заторопился:

— Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощение, за приятную встречу.

Федор подумал дать Седых денег, но боялся обидеть. Когда тот опустился на пол, решился и спросил:

— Может, тебе, Митя, нужны... деньги? Пожалуйста... Не обижайся...

Опять засмеялись глаза Седых:

— Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути, — и, падая на деревянные в руках, сильно понес туловище. Федор пошел за ним.

В коридоре на выходе толпились офицеры.

— Дорогу инвалиду, товарищи офицеры, — весело кричал Седых и ловко двигался между сапог.

Федор дошел с обручком Седых к выходу с перрона. Остановились.

— Прощай, Митя. Прости меня...

— Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор, — и, засмеявшись глазами, добавил: — А я все же пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.

Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в протянутую руку.

Глава одиннадцатая.

Соседка, пославшая телеграмму, оказалась седенькой старушкой. Увидев Фёдора, она ахнула, закричала, но, разглядев, заплакала:

— Господи, а я думала, Витя наш! Летчик был, под Сталинградом убили. Такой же большой, красивый.

А когда узнала, что Фёдор брат Сони:

— Голубчик вы мой, дьяволы они окающие, такую девушку забрали! Она мухи не обидит, не то, что кого! Умница моя, только о покойнице и вспоминала да вас ждала. Что ж ей было родной матери голодной смертью дать помереть! Ну, работала для больной матери — что ж тут за контрреволюция? На их, иродов, всю жизнь работаем — так это ничего!

В комнате Сони уже жила какая-то семья. Старушка занимала маленькую каморку — бывший чулан. Чтобы не стеснять ее, Фёдор по до-

роге в Управление НКВД забежал на вокзал и заказал койку в комнате для приезжих офицеров.

Был уже двенадцатый час, а Фёдор всё ждал в приемной начальника Управления. Секретарь, — прилизанный лейтенант с острыми ушами, что-то писал. Зазвонил телефон. Секретарь взял трубку:

— Приемная начальника Управления... Я вас слушаю, товарищ начальник... Нет, не был... Слушаюсь... Есть майор Панин, по делу сестры, Софии Паниной... Есть... Есть... Слушаюсь... — ухмыляясь, медленно положил трубку и повернулся к сидящему Фёдору:

— Начальник Управления может принять вас только завтра — в тринадцать ноль-ноль.

Сдерживая злость, Фёдор поднялся и, не прощаясь, вышел из приемной. Сбежал по красной дорожке ле-

стницы, но часовой у выхода не пропустил — пропуск был не подписан. Пришлось подниматься назад к секретарю.

— Боевому офицеру нервничать не к лицу, — заметил тот, ставя на пропуск штемпель.

«У-у-у... тыловая крыса!» — сжал зубы Фёдор. Секретарь блеснул белесыми глазками и язвительно прибавил:

— До свидания, товарищ гвардии майор Панин.

Федор долго бродил по сожженному и разбитому городу. Советские войска при отступлении взорвали центральную часть, бои завершили разрушение. Уцелели только окраины. Если в развалинах городов Германии было что-то трагическое и ужасное: стертый в кирпичный порошок Кюстрин, сожженные виллы Целлендорфа, разбитые дворцы Потсдама, джунгли изуродованных труб заводов Мерзебурга, то развалины родного города были жалки и беспомощны.

Странными показались размеры улиц, площадей и уцелевших домов — будто уменьшились вдвое. На месте дома, где жил раньше, лежал толстый слой кирпича.

Знакомых в городе Фёдор не нашёл.

Кладбище за войну расширили до самой рощи. Фёдор, проваливаясь в снег, едва разыскал среди занесённых могил некрашенный крест. «Мама...» — и внутренне растерялся, не почувствовав боли. Он даже попытался эту боль вызвать в себе, но ничего, кроме холода, пустынности кладбища и невозможности поверить, что под снегом, в земле лежала его мать, не было.

Стоял перед крестом долго, пока не заметил, что пошел снег и стало темнеть. Одиноким, с обнаженной головой, покрывшейся снегом, он ещё раз обошел могилу, остановился, перечел надписи, надел шапку и пошел по снегу к дорожке, оглядываясь на крест.

Утром его разбудили заводские гудки. Он так давно не слышал их,

что вначале не мог понять — не тревога ли?

Ровно в час Фёдор входил в кабинет майора безопасности Делягина. Крупный, с одутловатым большим лицом, Делягин мельком взглянул на Фёдора и продолжал писать.

— Здравствуйте, товарищ майор государственной безопасности, — поздоровался Фёдор, неловко выговаривая непривычное звание.

Делягин театрально удивился и, показывая рукой на стул, тонким, не идущим к его большому телу голосом сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте, майор Панин. Садитесь, пожалуйста. Как доехали? Как Германия? Как воевали? — спрашивая, он рассматривал Фёдора и думал о чем-то другом. Долго смотрел на орденские планки.

Федор сел. Делягин пожевал бледными губами и вдруг заговорил резко и зло:

— Я знаю, зачем вы приехали. Напрасно приехали. Ваша сестра была связана с немецкой разведкой и работала против нас, и вас в том числе. Она созналась и будет приговорена к высылке.

Федор сжал зубы:

— Я приехал, чтобы выяснить дело моей сестры, товарищ майор, — «государственной безопасности» решил не говорить. — Она моя сестра и не могла работать против меня. Она работала на консервной фабрике, чтобы кормить больную мать. Мать воспитала нас в ненависти к немцам. (Федор врал, но так было нужно). Я кавалер пяти правительственных орденов — это вам доказательство, как воспитывала нас мать. После смерти матери я остался у сестры единственным близким человеком — она не могла работать против меня!

Делягин нетерпеливо перебил:

— Мы знаем это лучше вашего, майор. Вы были «единственно близким человеком», говорите, а она путалась с немецкими офицерами.

Федор встал. Он так побледнел, что Делягин покосился на его пистолет.

— Вы не имеете права оскорблять

мою сестру! Я знаю свою сестру лучше, чем вы! Вы говорите вздор о ее работе у немцев! Если она работала в немецкой разведке, ее надо расстрелять, а вы говорите «высылка»! Если вы не дадите мне возможности выяснить это дело, я завтра же еду в Москву с жалобой самому товарищу Берия.

Делягин впился зрачками в переносицу Федору и, когда тот задыхаясь остановился, неожиданно тихо проговорил:

— Жалобу, говорите, товарищу Берия? Ну-ну, поезжайте...

— Я требую свидания со своей сестрой! Мое командование предоставило мне отпуск по семейным делам, и я хочу привести их в порядок.

— Ваше командование... А вы вспомните, что вы в Советском Союзе, а не в Германии и что партизанщина кончилась, товарищ гвардии майор Панин, — переходя на резкий, высокий голос, закричал:

— Вы забываете, что говорите со старшим по чину! Кто вам здесь дал право гребовать? Свидания с подследственными не разрешаются, — потом пожевал губами, помолчал, и опять тихо, будто примирительно:

— Я сейчас проверю дело вашей сестры, подождите в приемной.

Не желая сидеть в обществе остроухого лейтенанта, Федор прошел в коридор. В темном коридоре время от времени открывались двери и мимо пробегали люди в форме, с папками и бумагами. Федор принялся ходить по коридору. Прошло минут десять, никто его не вызывал. «Сволочь!» — подумал о начальнике Управления. Твердо решил собрать материалы о Соне и ехать в Москву с жалобой.

Мимо пробежал какой-то сутулый офицер. Фигура показалась Федору знакомой. Офицер тоже остановился и оглянулся.

— Панин! Здорово!

— Семушкин...

Федор обрадовался знакомому человеку в этом чужом и враждебном доме. Они вместе кончили школу. С тех пор не виделись.

— Да ты майор! В орденах! Поздравляю!

— А ты здесь? Давно?

— Да почти с тех пор. Ты зачем здесь?

— Да... жду вот...

— Пошли ко мне.

Семушкина Федор помнил, как посредственного ученика, но активного общественника и комсомольца.

Кабинет был небольшой и неряшливый.

— Старшим следователем в лейтенантах всю войну отбухал. Только «Красную Звезду» получил. Вам на фронте — лафа. Ну, рассказывай, какими судьбами?

Семушкин достал из шкафа начатую бутылку водки, закуску и стаканы.

Федор рассказал о Соне. Семушкин пил мелкими жадными глотками. Федор только сейчас разглядел его лицо с синяками под глазами — лицо спящего днем.

Когда Федор рассказал о Делягине, Семушкин как-то странно поглядел на него и свистнул. Встал, прошелся и, подойдя к Федору, взял его за орденскую планку:

— Вот что, Панин. В знак прошлой юности... Я сейчас схожу кой-куда, а ты сиди здесь и не выходи. Понял?

Федор остался один, не понимая, что хотел этим сказать Семушкин.

Минут через пять тот вернулся и молча сел напротив:

— Вот что, Панин. Дело твоё — дрянь. Сестра попала под директиву 109 — ее отправят в Среднюю Азию, в лагерь, и никто ей теперь не поможет, будь она святая. Понял? Твое дело того хуже: разве можно связываться с майором — съест и косточек не останется! Ты ему пригрозил жалобой — сестру это, конечно, не спасет, но Москва может Делягина ругнуть — не умеешь, мол, работать без скандала. Понял? И он тебя из своих рук не выпустит. Понял?

Чем больше говорил Семушкин, тем меньше понимал Федор.

— Я видел ордер на твой арест!

Федор даже привстал со стула.

— Но ведь...

— Ты брось дон-кихотствовать. Арестуют, а там Делягин найдет, под какую статью тебя подвести, — опыт у него еще с 37-го, богатый. Понял?

— Ничего не понял.

— Короче: мотай, Панин. Через полчаса будет поздно. До тех пор, пока не выедешь за пределы области, помни, что ты в делягинских руках. Мотай немедленно. Как — это ты сам думай. Для сестры оставь у старухи денег: на еду и передачу с теплым барахлом, — я зайду и научу ее, как это сделать. Понял? А ты — мотай и никуда, а прямо в Берлин. Там — своя власть, там кто и заступится за тебя. А здесь — никто: раз НКВД — никто не заступится. Понял? Через полгода можешь начать хлопотать о сестре: сейчас пусть утихомирится чистка. Теперь возьми пропуск на Егорова. Если засынешься у выхода, скажи, что нашел в коридоре. Понял? Большого я не могу для тебя сделать. И то в память прошлого... Помнишь, как ты Галю Сушко отбил у меня? Ну, выпьем остаток и прощай. Помни, что Петя Семушкин не совсем скурвился.

Федор понял, наконец — Соня бу-

дет отправлена в лагерь. Мелькнуло — пойти и застрелить Делягина. Но Соне это не поможет. Надо устроить передачи и потом хлопотать.

Семушкин выглянул в коридор и дал знак выходить.

Пожав ему руку, Федор направился к выходу. Часовой взял пропуск и, не глядя, наколол на гвоздь.

Прибежав к старушке, Федор отдал ей чемодан с подарками для Сони, деньги, себе оставил только на дорогу и одно пальто, которое решил продать в Москве, чтоб было, на что хлопотать.

— Постарайтесь передать Соне, что я начну хлопотать и добьюсь ее возвращения. Как приедет в лагерь, пусть даст знать на ваш адрес. Мой — вы знаете. Я тоже буду писать на ваш. Пальто и теплые белье передайте ей, остальное продайте и купите валенки, теплых чулок и побольше еды. Зайдет один товарищ, он вам расскажет, как передать. Спасибо вам за всё. Я должен бежать. Никому не говорите обо мне. Пишите подробнее.

На попутной машине Федор добрался до соседнего города и сел в поезд.

Глава двенадцатая.

Федор позвонил. За дверью послышались шаги. Первое, что он увидел, были заплаканные глаза Инги.

— Was ist los mit Ihnen?

Губы девушки задрожали, она вернулась и вдруг заплакала.

Федор стоял, растерянно глядя на девушку. Плач становился громче. Федор взял ее за плечи.

— Что случилось с вами?

— Meine Mutti... meine Mutti..., — только и смогла сказать она.

— Где ваша мама?

Девушка закрыла руками лицо и выбежала в столовую. Сбросив шинель, Федор пошел за ней, стараясь понять, что это значит.

Инга сидела в кресле, уткнувшись лицом в спинку. Только сейчас Федор заметил креп на ее рукаве.

— Господи, и здесь тоже! — порывски сказал он и, подвинув стул, сел рядом.

Жалость к ней, к себе, к Соне смешалась в нем. Он взял ее руку.

Не отнимая руки, не вытирая слез, девушка взглянула на него:

— Ваша сестра выздоровела?

— Нет, она заболела надолго, — ее арестовали... И, может быть, я ее никогда не увижу.

Инга с испугом посмотрела на его голову.

— Да, арестовали за то, что работала при немцах и разговаривала с ними. Ну, вот так, если бы сейчас советские войска ушли, и вас арестовали бы за работу здесь.

— Это невозможно...

— Там всё возможно... Всё.

Он вдруг почувствовал, как он устал: и с Делягиным, и за три недели в Москве в беготне по защитникам, и от бесполезности хлопот: — когда очередная чистка, никто не берется защищать попавших под удар — бесполезно.

Не выпуская руки девушки, он закрыл глаза:

— Там всё возможно... Меня тоже хотели арестовать за то, что я заступился за сестру, Инга, — он впервые назвал ее по имени, — и вот я снова здесь...

— Боже мой, почему так много горя на свете? — тихо сказала она, пожимая ему руку.

Так они сидели, не нарушая тишины и того, что нарастало в них — молодых, одиноких, брошенных друг к другу непонятными событиями.

Давно замолчал шум горящих брикетов в печи. И даже когда окна стали исчезать, всё еще говорил голос Федора и голос Инги.

Так нашли они друг друга, два ограбленных молодых человека двух воевавших на смерть народов. Ромео и Джульетта современных Монтекки и Капулетти.

У Федора еще оставалось два дня отпуска. Они провели их дома. Они были счастливы, как могут быть счастливы два человека, нашедшие друг друга, как могут быть счастливы влюбленные, созданные друг для друга. Свет для них стал чище, краски ярче, горе — мягче.

Телефонные звонки веселили их. Однажды кто-то даже позвонил во входную дверь. Они никому не отвечали. Они были похожи на людей, которые, после долгой, изнурительной жажды, пьют и не могут напиться.

И когда пришел день расставанья, они два часа прощались.

— Она, похудевшая и пожелтевшая, но еще ярче были щеки и глаза, а он, уже одетый в шинель, не в силах оставить ее одну.

На улице он перешел дорогу и оглянулся — в окне спальни, за занавеской увидел ее — дорогое лицо в шапке темных волос.

В комендатуре Федора встретили приветливо, все расспрашивали о Москве, о жизни дома. Шутили, что похудел. Федор что-то отвечал, усталый, светлый, тихо радуясь, что скоро домой. Но обедать пришлось с Барановым и Марголиным, которым тоже хотелось узнать новости о родине, а вечером — остаться на собрании, явка на которое для комендантских работников была обязательна.

Актный зал был полон. Председательствовал Марголин.

— Товарищи солдаты и офицеры, повестка сегодняшнего нашего собрания следующая:

1. Международное положение. Докладчик подполковник Попов из Политуправления группы войск.

2. Приказ Главнокомандующего и Главного начальствующего.

На возвышение вышел похожий на цыгана офицер в подполковничьих погонах.

— Товарищи, мы, советские люди, в результате победоносной отечественной войны оказались далеко за пределами нашей горячо любимой Родины и являемся ее форпостами на границе капиталистического мира. Поэтому нам больше, чем кому, необходимо правильно разбираться в международном положении.

Кое-кому в мире не нравится, что из войны с фашистской Германией мы вышли не только победителями, но намного сильнее, чем были до войны. Империалисты всего мира и всех мастей надеялись, затягивая войну, затягивая открытие второго фронта, оставляя нас один на один со всей мощью немецких полчищ, надеялись обескровить нас, сделать нас бессильными, с тем, чтобы после войны диктовать нам свои условия. Но господа империалисты ошиблись. Наш вождь и учитель, гениальнейший полководец всех времен, великий Сталин (Марголин захлопал в ладони, понукая глазами собрание. За ним захлопали коммунисты, а потом кое-кто из беспартийных. Первым рядам, на виду у Марголина, пришлось хлопать всем) давно разгадал планы капиталистических заправил. В результате

его гениальных предвидений мы с вами находимся в Берлине, в логове разгромленного нами фашизма, наши товарищи по оружию находятся в Венгрии, в Румынии, Австрии. Вы можете быть уверены, что мы не уйдем, пока в этих странах не будет народной демократической власти без капиталистов и их наймитов.

Рабочий класс, трудящиеся всего мира приветствуют нашу победу и окрыленные ею ведут успешную борьбу за свое освобождение. Не за горами народно-демократическая Италия, народно-демократическая Франция, не за горами, товарищи, народно-демократическая Европа! Мы имеем на сегодняшний день много-миллионные армии коммунистических партий, за двадцать семь лет существования советской власти в мире выросло около двадцати пяти миллионов членов коммунистических партий. И когда пробьет час, мы протянем им руку нашей братской помощи!...

Федор вспомнил анекдот, ходивший в Советском Союзе в 1940 году, когда «протягивали руку братской помощи» народам Балтики: возмущенный Иден спрашивает у Молотова: «Когда вы перестанете протягивать руки братской помощи?» — «Когда вы протянете ноги» — отвечает Молотов. «Ничего не изменилось» — подумал Федор.

— ...Капиталисты хотят восстановить Германию, как плацдарм против Советского Союза. Хотят возродить военную индустрию Рура. Формируют в западных зонах дивизии иностранных наймитов и немецких нацистов. Военные машины Америки и Англии продолжают работать, будто война и не кончалась. Против кого? Возможен один ответ — против нас!

Вот почему, товарищи, нашему правительству приходится вместо долгожданного отдыха напрягать все силы страны для обороны! Империалисты думают, что советский человек войной размагничен. Нет, советские люди, верные своему трудовому долгу, советские солдаты, верные своему военному долгу, глубоко сознавая ответственность перед Матерью-Роди-

ной и всем трудовым человечеством, не ослабят усилий, а удвоят и утроят их, чтобы в минимальный срок восстановить разрушенное войной и увеличить до неведомой высоты мощь Советского Союза!

Новый послевоенный пятилетний план всё предусмотрел, и господа капиталисты это знают. Потому и ненавидят нашу Родину, потому и стараются и будут стараться сорвать наши созидательные планы.

Всё это характеризует общее международное положение. Перейдем к отдельным странам...

Докладчик стал перебирать страны Европы и Азии. Федор не слушал и думал об Инге. Сзади кто-то переговаривался, зал явно не слушал докладчика — всё было известно из газет, радио, политзанятий.

Доклад тянулся часа полтора. Когда докладчик кончил, все облегченно ему зааплодировали.

Поднялся Марголин:

— Вопросы есть, товарищи? —

Зал молчал.

— Переходим ко второму пункту сегодняшней повестки.

Марголин взял со стола бумагу:

«Приказ Главнокомандующего группой советских оккупационных войск и Главноначальствующего Советской Военной Администрации в Германии генерала армии Соколовского.

В связи с участвовавшими случаями сожительства солдат и офицеров группы войск и работников СВАГ с немецкими женщинами, в связи со случаями заражения венерическими болезнями немецкими женщинами советских солдат и офицеров, в связи со случаями попытки вербовки советских людей разведками иностранных государств через посредство немецких женщин

п р и к а з ы в а ю :

1. Всему личному составу группы войск и СВАГ объявить, что за сожительство с немецкими женщинами виновных гражданских лиц откомандировывать в Советский Союз в 24 часа, военных лиц — подвергать дисциплинарным наказаниям вплоть до отдачи военному суду.

2. Начальнику Комендантского Управления генерал-майору Горохову принять меры к усилению борьбы со случаями ночевки на квартирах у немецких женщин.

3. Командирам частей и подразделений сократить до минимума выдачу увольнительных офицерскому составу. Рядовой и офицерский состав должны находиться на территориях своих частей.

4. Запретить хождение в немецкие рестораны, в немецкие увеселительные заведения и немецкие кино. В театрах выделить для советских граждан места, отделенные от публики.

5. Разрешить командирам частей и начальникам управлений выпуску семей по согласованию с Военным Советом и моим помощником.

6. Запретить военнотрудовым и гражданским лицам хождение по немецким магазинам и рынкам.

7. Запретить посещение западных секторов Берлина...

Федор напряженно слушал: «запретить», «запретить», «запретить»...

Марголин отпил из стакана воды.

— Объявить, что капитан Егоров — офицер комендатуры города Н. за нарушение воинской дисциплины, выразившееся в женитьбе на немке, осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей».

Федор знал Егорову: мягкий, интеллигентный офицер, должен был де-

мобилизироваться, страстно влюбился в немецкую женщину, согласившуюся ехать с ним в страшную для нее неизвестную Россию.

Запутавшись, Егоров решил обвенчаться с нею, а потом просить разрешения на выезд с нею в Россию.

Марголин уже не читал, а говорил:

— Мы, живущие среди капиталистического мира, обязаны, как нигде, помнить о бдительности. Нас окружают шпионы, провокаторы, наших офицеров немецкие зубные врачи заражают сифилисом, «кто-то» подсылает в города, где расположены наши части, проституток-венеричек. В постелях, показывая фокусы разврата гнилой Европы, немки нашептывают о «прелестях» капиталистической жизни!

Нам, работникам комендатур, поручается борьба с этим злом. И мы искореним его! Если раньше, во время войны и сразу же после войны, мы смотрели сквозь пальцы на случаи сожительства, теперь мы будем выжигать их каленым железом!

Но если это поручено нам, работникам комендатур, то как мы должны рассматривать случаи сожительства среди наших офицеров и солдат? Мне хорошо известно, кто не ночует дома, кто имеет всяких смазливых уборщиц и хозяек квартир! Предупреждаю, что мы не будем уговаривать — все слушали этот приказ. Завтра все распишутся на нем, чтоб не говорили: — «не знали, мол».

Глава тринадцатая

Всё, чем жил до этого Федор, словно отошло и потеряло свою остроту. Даже арест Сони. Знал, что надо переждать год, а затем хлопотать. Он послал старушке два письма и еще денег с просьбой передать или переслать Соне. Желание возбудить дело против Делягина тоже угасло. Уже в Москве, советуясь с защитниками, он понял безнадежность такой жалобы: выписанный на арест ордер Делягин, после бегства Федора, конечно, уничтожил.

Теперь, когда все мысли и желания были дома, где ждала его Инта, Федору всё это казалось давно прошедшим, как то, что было на войне.

К своим обязанностям в комендатуре он приступил, но никак не мог охватить всех накопившихся за отпуск дел. Вот и сейчас он сидел в кабинете и, перелистывая бумаги, совсем не думая о них. Рядом лежала копия приказа коменданта Берлина о мороприятиях по борьбе с сожительством с немками (в развитие

приказа Главнокомандующего и Главноначальствующего). Федор невольно думал о приказе, и тревога за Ингу, за их встречу росла в нём, и он старался придумать, как обезопасить ее и себя.

Выходить с Ингой из квартиры, бывать с нею в театрах, в кино — невозможно. В доме, рано или поздно, соседи догадаются, если уже не догадались. Кто-нибудь обязательно донесет в комендатуру. Могут придти с неожиданным обыском, как это обычно делается. Днем не страшно — уборщица и только, но ночью! Федор даже подумал сделать под видом ремонта потолка Ингиной комнаты замаскированный люк: в случае «непрошенных гостей» Инга могла бы опускаться через люк из его столовой к себе в комнату.

Но в мысли этой было что-то оскорбительное, и он не приходил ни к какому решению. Почему-то вспомнился Валька — сержант Волков. Месяцев пять тому назад Валька познакомился где-то с молодой немкой — хорошенькой хохотуньей. Стал ухаживать, но девушка дальше встреч и добродушного подсмеивания над незнанием Валькой немецкого языка его не подпускала. Кончилось тем, что парень влюбился. Он писал ей письма, но так как посвящать в свои чувства товарищей не хотел, а переводчика боялся, то однажды пришел к Федору и, застыдившись, попросил написать за него письмо. С тех пор Федор писал ему отдельные немецкие слова, с тем, чтобы сам составлял письма и так научился немецкому.

Однажды Валька пришел опущенный и сумрачный. Синие его глаза бегали и не смотрели на Федора.

— Ты что такой сегодня?

— Беда, товарищ гвардии майор... Эх, все... — вдруг грубо выругался он и отчаянно махнул кулаком.

— Что случилось?

У Вальки, как у обиженного мальчика, дрогнула верхняя губа:

— Триппером наградила, — и, озлобляясь, чуть не закричал:

— Застрелю заразу, и все тут!

Девушке не удалось удержать Вальку на расстоянии ухаживаний, и Валька после трех дней счастья без оглядки вдруг упал в страшную яму: ужас от известной только по рассказам других болезни, стыд, оскорбленность горой свалились на него, когда немец-доктор сказал «гоноррея».

Федор, как мог, успокоил его. Тогда страх болезни сменился обидой:

— Я всей их семье помогал, продукты таскал, кормил... Да что там, просто влюбился, а она вон как, — и снова махнул кулаком.

Федор напомнил ему, что девушка избегала близости и что лучше всего объяснится с ней. Этот довод подействовал на Вальку, он вдруг утих, задумался и решил поговорить.

В тот же день, поздно вечером — на улице лил дождь — Валька пришел к Федору на квартиру насквозь промокший. Федор дал ему чашку горячего кофе, усадил у печки. И Валька рассказал: в дни падения Берлина девушку изнасиловали советские солдаты и заразили. Денег не было, и она до одурения пила олеодрон. И когда доктор сказал, что она здорова, снова стала веселой и жизнерадостной. Познакомившись с Валькой, пошла к врачу и сказала, что «собирается замуж». Доктор посоветовал пройти повторный курс, что она и сделала.

Когда Валька пришел к ней, она по его виду поняла, расплакалась и всё рассказала.

— Что ж мне делать, товарищ майор? Наши нашкодили, да я и сам не без греха. Чем же она виновата. Не говорила, хотела, чтоб всё по-хорошему. Не виновата она, товарищ майор! — и махнул кулаком. — И любит меня, от стыда скрывала. Ну, короче, повел я к своему доктору. Обещал обоих вылечить за продукты.

— Как же ты с ней обо всем договорился-то?

— Да я, товарищ майор, со словом ходил. Четыре часа разговаривали. Беда без языка. Я ведь и в постель словарь беру! — неожиданно рассмеялся он и стал похожим на обычного сержанта Вальку Волкова.

Так они и лечились вдвоем. Пока однажды Валька не прибежал к Федору.

— Всё в порядке, товарищ гвардии майор! Здоровы!

Вчера Валька приходил снова, встревоженный приказом Соколовского:

— Товарищ гвардии майор, разрешите опять к вам за советом.

— Что, опять? — рассмеялся Федор.

— Да нет, вот приказ. Моя Рудка придумала нанять квартиру в английском секторе, так я хочу просить, чтоб ваш Карл её барахлишко туда вечерком завёз.

«Может быть, и мне нанять для Инги комнату где-нибудь в другом секторе? Попрошу Валькину зазнубу, чтоб устроила. Но как тогда ездить туда? В форме нельзя, надо переодеваться в штатское, и автомобиль с советским номером, и ночью могут позвонить или приехать, а меня нет. Подследят. Так в «шпионы» попадешь. Нет не годится... Люк — лучше».

Чувство тревоги росло. Мысль снова вернулась к Вальке.

«Ну, попадется, что тогда? Демобилизуют и с «волчьим билетом» отправят на родину. А парень ничего дурного не делает. Просто любит и любим. И сколько таких валеков! Ведь за разврат, за случайную встречу, даже за насилие не наказывают — «для здоровья», — говорят. А чуть проглянет чувство — преступление. У русского же человека без чувства бывает редко. Даже про маршала Жукова говорили, что у него немка была. А у полковника Елизарова, замполита коменданта Берлина, — Федор знал, — жила красавица кухарка — «для здоровья».

Всё это не имело отношения к его любви: немка ли Инга, русская ли, француженка ли — ему было всё равно. Может быть, ему хотелось, чтобы она была русская — это сделало бы их близость еще полнее.

Но приказ говорил о немках. Очередной шаг пресловутой «бдительности», отгораживания советского человека от капиталистического мира. Стань Германия советской — никакого запрета не было бы. Даже наоборот. Суровость приказа лишний раз подчеркивала охватившую армию волну увлечений женщинами местного населения. В этом сказывалась и солдатская одинокая жизнь, и экзотика, но больше всего, может быть, сказывалось то, что немецкие женщины были одеты в чистое, «заграничное» платье, в котором в Союзе щеголяли редкие столичные жители, говорили на непонятном европейском языке, комнаты и квартиры поражали мебелью, коврами, посудой и опрятностью. Городская немецкая женщина внешне была похожа на недостижимую для солдата или офицера женщину верхов советского общества. Этим и объяснялись совершенно нелепые связи. В интимной жизни неизощренные русские крестьяне и рабочие встречали то, что им казалось чувственностью и что, на самом деле, было только опытной Европой. Сказывалось и безразличие советских к социальному положению людей.

Недаром в армии ходил анекдот о «ликвидации проституции в Балтике», ибо все проститутки вышли замуж за советских офицеров.

Федор сердцем понимал, что всё это не имело отношения к нему. Чувство к Инге пришло иначе. Больше всего он любил в ней беспомощную, одинокую юность, и то, что она отдавала ее, совсем, навсегда поверив ему.

Глава четырнадцатая

— Мы подождем. Политика переменится, вот увидишь. Только люби меня крепко, как я люблю тебя.

— Политика меняется, но не так скоро.

— Ты сам говоришь — стань Германия советской, тогда ничто нам не помешает соединиться на всю жизнь. Может быть, она скоро и станет советской.

Они сидели в кресле, у печки. В глазах Инги дрожало отражение пламени.

— Радость моя, ты ничего не понимаешь в политике. Это очень хорошо. Но тебе уже теперь скучно: ты ходишь одна в театр, одна в кино, а мне так хочется просто пройти с тобой под руку по вечерним улицам...

Резко зазвонил входной звонок. Инга испуганно вскочила с колен Федора и бросилась из комнаты. Федор тоже встал и, причесывая волосы, сердясь на себя за испуг, пошел отпираться. Инга уже стучала ведром на кухне.

За дверью стоял задыхшийся от лестницы Марченко, а в стороне, в белочей шубе, Екатерина Павловна.

Федор растерялся:

— Прошу.

— А мне, Федор Михайлович, можно? — будто в шутку сказала Екатерина Павловна, но по глазам Федор видел, что ей не до шуток — лицо похудело и казалось больным.

Марченко молча снял шинель. Федор помог Екатерине Павловне.

В столовой Рыльская села у печи в кресло, где только что сидели Федор и Инга, — хорошо, что венцы не умеют рассказывать. Марченко занялся буфетом. Федор, извинившись, пошел на кухню.

Инга стояла посреди кухни с ненужной тряпкой в руках и напряженно смотрела на Федора.

— Дорогая, приехали гости. Где у нас продукты? Я сделаю всё сам. Это свои, — ты не беспокойся, только туда не входи.

Федор хотел поцеловать её, но девушка отвернулась.

— Ты сердись?

— Если это твои друзья, то почему мне нельзя быть рядом с тобой? Ведь они друзья и не предадут тебя?

— Инга, дорогая моя, как ты не поймешь: они сегодня друзья, а завтра — Бог их знает. Ты не знаешь нашей жизни...

— Нет, ты просто не хочешь, чтобы эта женщина видела меня. Это ффрау-

оверст, которая несколько раз звонила тебе, я узнала её по голосу.

— Клянусь тебе, что не в ней дело. Я ведь люблю тебя одну. Будь умницей. Нам нельзя рисковать.

Инга проглотила готовую навернуться слезу и улыбнулась:

— Хорошо, любимый. Я здесь приготавливаю, а ты придешь и возьмешь.

Предстоящее объяснение с Екатериной Павловной, особенно после письма, пугало Федора. Узнав от Баранова о его возвращении, она несколько раз звонила ему, а теперь, захватив Марченко, решила ехать сама.

Марченко после нескольких рюмок коньяку ходил по комнате.

Рыльская сидела в кресле, поджав ноги, и смотрела на пламя в печи.

— Ты что ж, паря, неделю в Берлине и никому знать не даешь? А?

Рыльская снизу посмотрела на Федора. В черных, блестящих глазах дрожало то же выражение, что у Инги.

— Работы накопилось за отпуск, Николай Васильевич, — но, понимая, что это не отговорка и что всё-таки они были близкие и неплохие люди, решил:

— Да и дома такая беда, что никак не опомнюсь.

— А у тебя что?

— Сестру арестовали, — быстро сказал Федор и, не останавливаясь, стараясь не смотреть на Рыльскую, стал рассказывать о своей поездке домой и в Москву.

Марченко слушал и сердито сопел. Рыльская смотрела на Федора так, что он знал — она больше не сердилась на него ни за письмо, ни за долгое молчание и только боялась, как бы не пострадал он.

— Вот такие-то дела получаются. Что делать — не знаю.

— У Николая Васильевича тоже несчастье.

— Что такое?

Марченко засопел:

— И не говори, Федорушка.

— Что же такое?

— Марию Ивановну чуть не убили, — ответила за Марченко Рыльская.

— Говорил я ей — брось ты возиться с этим барахлом! Нет, надо ей ковер, шубу, то да сё. Одним словом — баба. Через неделю, как ты улетишь, поехала и она. Ну, а дома ночью бандиты налетели, всё забрали, а ее ножом в спину: раз из Германии — значит есть чем поживиться. Слава Богу, сегодня телеграмму получил — лучше ей. Нет, хватит с меня Германии! Не доведет она до добра — помня мое слово, Федорушка. Вот твою сестру посадили за работу на русской фабрике при немцах. А придёт время — нас станут сажать за то, что на немецких работали. Не раз ведь было. Уезжаю! Бросаю всё к черту и уезжаю! И тебе, Федя, советую — бросай всё к лешему и давай ко мне на комбинат. Архангельск тоже город. Буду тебя в командировки посылать в Москву, при комбинате квартиру дам — всё чин-чином. А? Никакой Делягин тебя у меня не достанет. А там и за сестру начнем хлопотать.

Рыльская молча смотрела на Федора, словно ждала, что он ответит.

— Да... может быть, вы и правы, Николай Васильевич... Спасибо... Извините — совсем забыл! — так и не ответив, он стал носить тарелки.

— Вам помочь, Федор Михайлович? — Екатерина Павловна встала, чтобы идти с ним на кухню.

Федор поторопился отказаться. Она подумала, что он не хочет оставаться с ней без Марченко, и настроение у нее снова испортилось.

Инга молча нарезала ветчину.

— Тебе лучше уйти, Инга, начинает темнеть.

— Я мешаю? — тихо спросила девушка и тут же сняла фартук.

— Ну, почему мешаешь! Ты, ведь, знаешь... — раздражаясь на нее, на себя и на гостей.

— Хорошо.

— Ауф видерзеен! — громко сказал Федор — руки были заняты тарелками.

— Кто там у вас, Федор Михайлович?

— Уборщица, — как мог безразличнее ответил он.

Рыльской стало снова легко — значит, ошиблась: там тоже был постронный.

За едой Федор рассказал о Союзе. Марченко больше вздыхал, чем разговаривал.

Разговор свернул на охватившую страну эпидемию преступности: демобилизованные солдаты и офицеры не хотели работать — работа не давала даже сносного существования. Разочарование победой раздражало, особенно инвалидов — воровство, грабежи, пьянство стали повсеместными.

Федор рассказал, что в Москве на каждом углу милиционеры, а по ночам разъезжают усиленные патрули конной милиции, банда «Черная Кошка» наводит ужас на все города, — ходят слухи, что в банде участвуют летчики гражданского флота; городские жители с темнотой запираются по квартирам, по вечерам ходить невооруженному опасно, особенно в городах, разбитых войной; в лесах Белоруссии, Балтики, Западной Украины, на Кавказе осталось много партизан, на борьбу с которыми брошено несколько дивизий.

— Нет-нет! Домой! Еду домой! Пусть бандиты, пусть партизаны. На них оружие найдется. А вот с этой Германией попадешь в такое, что никто в мире не поможет; — Марченко встал и, хлопнув ладонью по столу, вышел из комнаты.

Рыльская словно только этого и ждала — быстро взяла свою сумку и торопливо что-то из неё вынула.

— Ответьте мне, Федя... в Карлсхорст... до востребования...

Федор, тоже торопясь, взял письмо и спрятал в карман кителя. Потом также молча взглянул на нее. Екатерина Павловна измученно улыбнулась.

Глава пятнадцатая

«Жизнь моя, единственный, любимый, вот уже три дня, как ты в Берлине. Я не отхожу от телефона и жду, что ты позвонишь и я услышу твой голос. Если выхожу в другую комнату, — оставляю двери открытыми, чтобы не пропустить твоего звонка. Часами лежу на диване рядом с телефоном и всё жду, всё жду, жду...

Но ты не звонишь. Я провожу дни, мысленно разговаривая с тобой. Ночами лежу в темноте и сотый раз переживаю наши редкие встречи и ту ночь, которая никогда не вернется. Если бы ты знал, как я мучилась от стыда за нее.

Ужасно было стыдно, не хотелось жить, но теперь прошло... Ведь ты, наверно, подумал, что «с жиру»? Вот подумала — и опять стыдно. Ну, ничего, главное, что ты не звонишь и, видно, не позвонишь. Я не сержусь и попрежнему жду.

Твое единственное письмо всегда со мной. Выздоровела ли твоя сестра? Мне хочется когда-нибудь встретиться с ней — она, наверно, похожа на тебя.

Только что звонили. У меня перехватило дыхание — вдруг ты! Не переставая надеешься на чудо. А оно, ведь, уже произошло, Федя!, но об этом потом... Это был знакомый мужик, я сказалась больной и вернулась к мыслям о тебе и своему ожиданию. Я никого не хочу видеть, мне никто не нужен, кроме тебя, мой сероглазый. И теперь самое главное, про чудо — я буду тебя иметь! Буду! Удивляешься? Я даже не буду иметь, а уже, понимаешь, уже имею, если не тебя, то часть тебя. Здесь, во мне, с нашей ночи! Я тихо радуюсь и жду. Дня, когда обниму твоего, нашего, Федя, сына.

Не сердись, милый — никто и ничто не помешает теперь мне.

Я всё сказала Аркадию. Он, эгоист, холодный, расчетливый, поразил меня — как мало мы знаем людей, даже близких: долго молчал и два дня не разговаривал со мной, а потом пришел со службы — днем, бледный, похудевший: «я буду ребенка любить, как сына». (Так и сказал — сына, он

чувствует это, ему ужасно теперь больно за то, что у нас не было детей). «Только не встречайся с ним». Но разве я могу обещать не встречаться с тобой, возлюбленный мой. Я всё так же жду твоего звонка, чтобы бежать к тебе, прижаться и выплакать тоску и муку этих дней. Да и о чем теперь говорить — я уйду от него. Я хотела уйти немедленно, но он просит сделать это под предлогом отъезда в Москву, с тем, чтобы никто здесь не знал. Видишь, какой он — и любит, и обо всем помнит. Я уеду в Москву, к маме. Но мне так хочется повидать тебя.

Я знаю, что ты меня не любишь. Ты даже не думаешь обо мне, а если думаешь, то как о случайной женщине. И в этом виновата я сама — так настойчиво искала встреч с тобой. Но всё равно. Если бы не это ожидание счастья, я никогда бы не простила себе! Ты же для меня тот, кого я ждала всю свою жизнь. И я благодарна судьбе, что встретила, пусть мельком, пусть стыдно, но зато получила смысл жизни.

Не думай, что хочу этим подействовать на тебя, что ребенком хочу как-то привязать к себе, обязать. Нет — нет! Я знаю, что ты меня не любишь, и не упрекай себя в этом, милый, ты ни в чем не виноват. Только не думай обо мне плохо. Если не забудешь, вспоминай меня, как человека, полюбившего тебя всем, что у него было.

Я буду жить с мамой, стану работать, буду растить сына. Я знаю, что он — сын и что будет похож на тебя: большой, сильный, теплый; буду учить его, водить гулять, с ним разговаривать, с ним печалиться, с ним радоваться.

Когда-нибудь вы, может быть, встретитесь. Тебе не придется краснеть за него, Федя.

Возможно я уеду с мамой в Архангельск — Николай Васильевич предлагает мне работу у себя. Устала я от Москвы, от этого постоянного напряжения нашей жизни. Ведь я человек и хочу человеческой жизни, с ее

обыкновенными радостями, теплом, волей. Мне кажется, что провинция свободнее от наших порядков, человечнее, и сыну там будет лучше, и ко мне будет ближе.

Я замужем семь лет. Что я видела? Муж вечно занят, работой, карьерой. Знакомые тоже. Если я не нуждалась и не нуждаюсь, как абсолютное большинство наших людей, то всегда одна. С юности хотелось какой-то необыкновенной жизни, всегда жила ожиданием. Замуж вышла в минуту усталости. И вот пришел ты... И опять нет тебя.

Знаешь, чего я ждала в то утро? Мне казалось, что ты возьмешь и увезешь меня от мужа, от обеспеченности, от всего, далеко-далеко.

С тобой я пошла бы и в глушь, и в бедность, на край земли. Но ты меня не взял!...

Я не упрекаю тебя. Я просто тебе рассказываю.

Может быть, когда-нибудь, через много лет, ты поймешь меня.

Когда твой шофер привез письмо, я всё еще ждала чуда, но письмо было холодное, ты уехал к больной сестре, не повидав меня. Мне не было даже больно, хотелось умереть. А через несколько дней я узнала о своей беременности. И сразу всё посветлело, стало покойнее.

И вот я счастлива и благодарю тебя. Видеть тебя хочу, но пусть это тебя не тревожит. Я уеду в начале марта.

Твоя ...»

Письмо лежало между тарелок с остатками еды. Федор смотрел на «твоя», и только где-то внутри его билось — «Боже мой, Боже!...»

Сколько прошло времени, как ушли гости, он не знал.

Пробудил стук снизу — стучала Инга (три дня тому назад немецкий плотник, откуда-то из Штаттмитте, сделал в полу люк).

Федор тяжело встал, спрятал письмо в карман, отодвинул тумбу, отвернул ковер и поднял крышку. Снизу из темноты смотрело смеющееся лицо Инги. Она стояла на стуле, уставленном на столе.

— Ушли? — радостным шопотом спросила она, протягивая руки.

— Да... ушли... но... но меня вызывают в комендатуру... дежурный... что-то случилось... — ему хотелось побыть одному, ему казалось, что надо обязательно что-то додумать.

По напряженному лицу Федора Инга угадала его состояние.

— Я только прощусь с тобой и стану ждать тебя.

Федор опустил на колено, крепко взял руку девушки, другой рукой она ухватила за его запястье.

— Что случилось, милый? — уже в комнате спросила она его.

Федор, будто для того, чтобы закрыть люк, нагнулся:

— Не знаю... что-то неприятное.

— Неприятное для тебя?

— Не думаю, но идти надо.

Девушка заглянула ему в глаза.

— Право, нет... ты не волнуйся... ложись спать, я скоро вернусь.

— Может быть, мне лучше спуститься к себе? Ведь если кто вдруг придет, я спущусь, а ковер и тумба останутся не на месте...

— Да, тебе лучше спуститься.

Девушка наморщила лоб. Федору стало стыдно за свою раздраженность. Он обнял ее и спрятал лицо в волосах, пахнущих теплой постелью.

— Прости меня, Инга... Я тебя очень люблю... — нервничая что-то..

— Ничего, милый. Мне очень хочется ждать тебя здесь — в нашем уголке, но надо быть благоразумными. Всего хорошего, милый. Скорей возвращайся, я не буду спать.

Уходить Федору не хотелось, но Инга слышала снизу. Стрелки на часах соединились на 1. Он оделся, положил в карман пистолет и вышел на лестницу.

Когда проходил мимо двери вниз, вспомнил о Рождестве, о подарке, об ингиной матери... И, словно в ответ, дверь отворилась, и девушка — быстрая и легкая — метнулась к нему, прижалась, шепнула «не забывай меня» и так же бесшумно исчезла за дверью.

Идти к коменданту ночью без дела было нелепо. Федор медленно по-

шел темной улицей по направлению к ресторану «Нева».

Шел и думал о Кате. Остановился под фонарем и прочел: «Я даже не буду иметь, а уже, понимаешь, — уже имею, если не тебя, то часть тебя». Снежинка упала на письмо и закрыла слово «часть». Он чувствовал, что в жизни его случилось что-то очень серьезное. Освещенное фонарем в ночи пространство, в падающих снежинках, казалось нереальностью.

В «Неве» было шумно и накурено. Немецкий оркестр играл «Офицерский вальс». Посетители — офицеры, гражданские из СВАГ*), две или три русские женщины — громко разговаривали и пили. Немцам в советские рестораны вход был запрещен.

Незаметно от знакомых Федор прошел за оркестр и сел у свободного столика, спиной к залу.

Снова и снова перечитывал он письмо, пока его не пробудил чей-то голос:

— Это место свободное, товарищ майор?

Какой-то лейтенант с кроличьими глазами и оттопыренными ушами стоял у стола.

— Пожалуйста, — опомнился Федор, и только тогда заметил перед собой давно принесенную официантом водку и закуску.

Выпил подряд две рюмки и опять стал смотреть в письмо. Подошел

официант принимать заказ у лейтенанта. Вдруг Федор почувствовал, что официант из-за его спины заглядывает в письмо. — «Тут, как тут!» и обернулся, но официант уже смотрел на лейтенанта. «Этот тоже!» — Вид майора, читающего ночью в ресторане письмо, показался странным: агент-официант сообщил, — другой агент — лейтенант — подсел.

— Дайте счет! — Официант пошел в кассу.

— Вы приезжий, товарищ майор? — улыбаясь гнилыми зубами, спросил лопухий лейтенант.

— Да, — зло буркнул Федор.

Официант долго не возвращался. Лейтенант ходил «в уборную».

На улице к Федору подошел патруль — офицер с двумя автоматчиками.

— Ваши документы, товарищ майор.

Стиснув зубы от нарастающего бешенства, Федор достал удостоверение. Офицер осветил книжечку фонариком и стал тщательно разглядывать.

Федор чувствовал, что, начин тот расспрашивать, он накричит.

Но офицер вернул удостоверение и козырнул.

«Проклятая жизнь! Как они не поймут, что так же нельзя жить!». Улицы казались мрачными и нежилыми. Вспомнил о письме. Так ничего и не придумал, и не решил.

Глава шестнадцатая

Фильм кончился. Публика потекла к выходам. Инга, еще взволнованная ужасами фильма, прижималась к руке Федора. У дверей он мягко отстранил ее — предосторожности ради.

Курфюрстендамм горела огнями и казалась не такой разрушенной, как днем. Федор, в пальто и шляпе, задержался у дверей, прикуривая. Инга прошла правее. Карл с машиной ждал за углом. Когда Федор вышел из толпы, перед ним выросла фигура

незнакомого человека. Федор удивленно остановился.

— Ваши документы, — по-русски спросил незнакомец.

Федор внутренне сжался. У человека были темные глаза и курносый нос, шляпа сидела неумело. «Наш!» — сразу определил Федор.

— Вас волен зи?

— Ваши документы, — повторил тот.

— Их ферштее нихт — вас волен зи фон мир?

— Бросьте валять дурака — немцы

*) СВАГ — Советская Военная Администрация в Германии.

не курят папирос «Казбек», — усмехнулся незнакомец.

Федор растерянно посмотрел на руку с папиросой. «Влип! Как идиот!» — и, стараясь быть спокойным и уверенным, сказал:

— Пойдемте к машине.

Агент, наверно, сержант, подумал, что имеет дело с властью имущим.

«Только бы Инга не успела сесть в машину». Автомобиль стоял в тени, но Федор заметил фигуру Инги за деревом. Она, повидимому, всё видела. Один страх сменился другим — не бросилась бы к незнакомому просить, чтоб не обижал ее возлюбленного, чтоб не отнимал его у нее.

Карл, увидев хозяина без Инги, с чужим, сразу догадался. Он включил газ и, когда Федор со словами: «Документы у меня в портфеле — одну минутку» полез на заднее сиденье, включил скорость. Машина прыгнула козлом, на секунду забуксовала по снегу и рванулась вперед. Потом свернули, еще раз, и еще раз, и только на Шарлоттенбургершоссе Федор перевел дух.

— Ну, Карл, спасибо, дружище!

Подъезжая к Бранденбургским воротам, Карл разглядел, что за воротами КП проверял автомобили. Машина была с немецким номером — Карл брал ее у знакомого немца, но могли проверить документы, повернуть назад в этом месте было невозможно. Федор незаметно, за коллонадой, вылез и отошел в сторону. Через полчаса он был дома.

Прибежала в слезах Инга:

— Это я, я виновата! Ты из-за меня ездишь в кино и театры! Я больше никуда не поеду!

Федор успокоил ее и отправил к себе. Его тревожило отсутствие Карла. «Наверно «тот» успел записать номер машины, и Карла задержали».

Готовясь к худшему, стал перебирать бумаги и письма.

Собрав всё, что ему казалось неуместным при возможном обыске, сложил вместе с деньгами и пистолетом, на который не имел разрешения, в чемодан и отнес Инге.

— Если что случится, запомни, Инга: никуда не обращай за помощью.

Карла не ищи — он вернется. — Это береги. Бумаги и пистолет спрячь. Деньги трать, как найдешь нужным.

— Девушка с ужасом смотрела на него. Слезы одна за другой катились по щекам, Федор почему-то вспомнил киножурнал: там так же катились с горки дети на салазках.

— Если... если с тобой что случится — я не хочу жить.

— Я сказал «если», это не значит, что обязательно случится, дорогая моя плакса. Возможно, они узнают, что это был я, за мной станут следить и нам некоторое время нельзя будет встречаться. А теперь — спокойной ночи, я должен быть у себя.

Предчувствие Федора — обычное у советских людей — не обмануло: он уже спал, когда в прихожей позвонили. Федор вышел в пижаме:

— Кто там?

— Откройте, товарищ майор, — Федор узнал голос дежурного офицера, лейтенанта Киселева.

В прихожую за Киселевым вошли двое — капитан и сержант из оперотдела района.

Капитан объявил, что должен сделать обыск. Прошли в столовую. Сержант тут же стал рыться в ящиках. Киселев явно чувствовал себя неловко. Капитан сел за стол и стал снимать допрос:

— Где вы были сегодня в 10 часов вечера?

— Дома.

— Как фамилия вашего шофера?

— Карл Мюллер.

— Где находится ваша автомашина?

— В гараже.

Когда обыск и допрос окончились, на столе лежали документы, пистолет и письма. Капитан встал и, глядя Федору в глаза, значительно произнес:

— Вам придется ехать с нами.

— Как вас понимать — я арестован?

— Нет, но я имею распоряжение.

Повезли не в оперотдел, как думал Федор, а в Центральную Комендатуру на Луизенштрассе.

В маленькой грязной комнате без окон стояла койка с солдатским одея-

лом, стол и табурет. Дверь заперли. «Хорошее — не арестован!». Федор, не раздеваясь, лег на койку и укрылся шинелью.

«Инга стояла у окна, когда уводили... Карл сознался... Если выпшлют в Союз, что будет с Ингой?...» Повернулся на другой бок. «Где же Карл?.. Нет, он не сознается... Надо не сознаваться. Дернул же меня чорт поехать на эту идиотскую картину — будто чувствовал... Нет, сознаваться нельзя...»

Утром принесли завтрак — яичницу и кофе. По завтраку было непохоже, что арестован. Попросил газету — принесли. «Всё одно и то же, как десять лет назад, — как им не надоесть!» — отложил газету и снова лег.

Без пяти десять за ним пришел сержант — писарь.

В комнате, куда его провел сержант, не было никого — хороший письменный стол, ковер, стулья, диван и портрет Сталина на стене.

Минут через пять дверь открылась, и Федор увидел входящего полковника Колчина.

Уполномоченный МГБ при Центральной Комендатуре Берлина был смугл, красив, длинные волосы делали его непохожим на военного.

Федор встал и поздоровался. Колчин кивнул головой и сел за стол. Федор остался стоять. «Сам Колчин — дело плохо».

Колчин достал из стола папку и принялся просматривать. Федор продолжал стоять. Тишину нарушало шуршание бумаги.

Вдруг Колчин поднял голову и пристально, как вчерашний капитан, посмотрел на Федора. Федор взгляд выдержал.

Колчин неожиданно засмеялся, легко и безобидно:

— Вы извините, майор, наши хлопцы, как всегда, перестарались. Садитесь, пожалуйста. Вы, поди, решили, что арестованы?

— Решил, товарищ полковник.

— Чепуха ужасная получилась. Здесь какой-то агент сообщает, что вчера вечером видел вас в кино «Марморауз» и что при требовании доку-

ментов вы уехали от него на немецком автомобиле. Хорош агент! Идиот, поднял шум! Придется вздуть, как следует. Короче, товарищ майор, я, как вы понимаете, не придаю значения этому вздору — я и сам, бывает, в немецкие кино езжу — в другие сектора не рискую по положению, а в нашем езжу. Советским людям надо поглядеть, чем дышит заграница. Что же это был за фильм?

«Ловит или правда считает чепухой?», — но привычка не верить людям из НКВД поборола:

— Я не был и не бываю в других секторах, товарищ полковник. Здесь какое-то недоразумение.

— Ну, как хотите: не были, так не были. Вся неловкость в том, что донесение агента имеется и мне нужно что-то на нем написать, — снова добродушно рассмеялся Колчин. Он хотел уже писать, как вдруг досадливо поморщился и отложил ручку:

— Да, но здесь написано, по вашим словам, что вечером вы были дома, а дома вас не было — к вам ходил дежурный комендатуры?

— Я спал, товарищ полковник, возможно, он не дозвонился, — «Ох, врёт!»

— Это хуже, майор, — формально, по донесению, вас дома не было. А где был ваш шофер?

— Не знаю, товарищ полковник. Я его отпустил часов в шесть вечера.

— Та-а-ак, — глаза Колчина смотрели на Федора уже недружелюбно. — Посмотрим, — он нажал кнопку, и сразу же вошел вчерашний незнакомец.

Колчин не сводил с Федора глаз, но Федор смотрел на вошедшего так, словно видел того впервые.

— Что вы скажете?

— Тот самый, товарищ полковник! — вытянулся агент:

— Что скажете вы, майор?

— Скажу, что ничего не понимаю, товарищ полковник. Кто этот человек?

Колчин сделал знак агенту выйти.

— Вы что, майор, ставите меня в дурацкое положение? Я же вам рус-

ским языком говорю, что смотрю на дело, как на вздор. Агент — официальное лицо — говорит, что видел вас, а вы говорите, что там не были. Вы понимаете, что вы делаете?

— Товарищ полковник, не могу же я взять и наговорить на себя того, чего я не делал! Ваш агент, повидимому, с кем-то меня спутал.

— Нет, я вижу, вы не боевой майор, а баба! Вы сами вынуждаете меня передать дело следователю, а это для вас означает арест. Понятно?

— Как вам угодно, — делая вид, что рассердился, ответил Федор.

— Но пеняйте на себя: если вы там были и отрицаете это, то у вас есть особые причины скрывать посещение английского сектора. Вы понимаете, что значит подобное подозрение?

— Я ничего не могу прибавить к тому, что сказал, товарищ полковник.

— Теперь не «товарищ», а «гражданин», — зло заметил Колчин и опять позвонил.

— Уведите арестованного, — не глядя на Федора, приказал вошедшему солдату.

Через полчаса Федор сидел в настоящей тюремной камере. Решетчатое окно было снаружи снизу закрыто на три четверти козырьком. Погоня, орденскую планку, пояс, подтяжки у него забрали. «Нет, скажи я, что был в кино, то началось бы — а что вы там делали? А почему немецкая машина? А гражданское платье? И подвел бы под трибунал. А так, если Карл не сознался, ничего они не сделают... А если сознается?.. Тогда... в лучшем случае демобилизация и высылка в Союз с «волчьим билетом»... А приказ Соколовского?..» Потом пришли мысли об Инге, безысходные, гнетущие. Сознание цеплялось за Баранова, за дивизию — они были здесь в Германии. А боевое прошлое? А ордена? — становилось светлее. Но вспоминались Делягин, Соня, приказ Соколовского, и снова темнело.

И снова думал об Инге. «Что она, бедняжка, делает сейчас? Только бы в отчаянии не выдала...»

Так, шагая из угла в угол, провел он весь день. В десять часов кто-то за дверью глухо сказал «спать». Долго ворочался. Мешал яркий свет лампы. Уснул только под утро.

На следующий день проснулся с мыслью: «А плевать — будь, что будет! — Ну, был в кино, ну, выплют домой! Плевать!»

Вызвали только на четвертый день. Ночью. Следовательно, старший лейтенант МГБ, черный, нервный, все посмеивался:

— Шофер-то сознался...

— По следам сестрички пошли...

— Бежать задумали...

— С кем из англичан встречались?

— Кто завербовал?..

— Так значит «русский народ сам себе создает эти трудности»?..

В камеру Федора отвели утром. Голова гудела, в ушах стоял крик следователя, и было — как заноза, — случилось страшное и невероятное: его обвиняли в подготовке к побегу на Запад и шпионаже в пользу Англии.

Уже не высылка в СССР, не демобилизация, а лагерь, а то и похуже.

«Могли же они осудить Соню. За эти четыре дня всё собрали — и про Делягина, и про Соню, даже у замминистра — «гостя» Баранова...

Баранов и Марголин, конечно, отказались. Генерал не отказался бы, Вася не отказался бы, но их не спросят...»

Федор несколько раз подходил к окошку и разглядывал решетку — сломать, бежать, спрятаться... И хотя понимал безнадежность этого, воображению отдавался охотно.

«Инга, Инга, зачем мы пошли с тобой в «Марморхауз!»

Чувство беспомощности согнуло, и он упал на табурет.

«За что? Зачем это им? Колчин еще орден заработать хочет? Или приговор над ним послужит иллюстрацией к приказу Соколовского — всех напутают, никто уже не рискнет нарушить приказ! Вот выгода от не-

лепости обвинений, а может быть, и его гибели!

Власть государства станет беспощаднее и крепче в сознании всех, кто останется, кто знает его, Федора, кто услышит или прочтет очередной приказ о приговоре... Мамочка, что они делают!» —

Федор повалился на койку, но сразу же в дверь застучал надзиратель: — Днем спать нельзя.

Федор встал и шатаясь принялся ходить. И вдруг в первый раз вспомнил Катю и «письмо» — «Может быть, это наказание за Катю? За ее муку? А Инга?»

Но Инга словно за эту ночь отошла в прошлое. «Об Инге, слава Богу, кажется, не знают... Что она будет теперь делать?»

Где-то внутри было ясно — Ингу отнимут, и то, что он как-то согласился уже с этим, обернулось — «да люблю ли я ее?» Ему казалось, что любит. Он на самом деле, по-своему, любил ее. Он вырастил в себе, для себя Ингу, вложил в ее образ свое желание любить, свою потребность быть кому-то нужным, кого-то оберегать, о ком-то заботиться. Если это не случилось в отношении Кати, то только потому, что та появилась, как жена другого, сильная, независимая. Может быть, приди катино письмо до того, как Инга была уже создана и стала его заботой и помыслом, он полюбил бы Катю. Он не ясно чувствовал, что полюби он Катю, всё было бы иначе. Но отказаться от Инги было предательством. Это и не дало ему понять, что хотел и не понял в ту ночь, когда Катя отдала письмо.

Полюбить Катю теперь было предательством в отношении Инги, любить же Ингу не значило предавать Катю — такие отношения с ней были с самого начала. В них было — мука, оскорбленность, страдание Катю, но его предательства не было, и Инга была оправданием.

И вот теперь, когда потеря Инги стала неизбежностью, оправдание в

отношении Кати становилось легкомысленным и неубедительным.

На что он надеялся? И Инга несчастна, и Катя, и он сам! И виной один он. «Нет, не я! А ты — чудовище, пожирающее людей, ты, называемое правительством моей родины! Разве не ты сделало Катю несчастной женой! Разве не ты делаешь несчастным меня и это одинокое дитя Ингу! Каждая мысль, каждое человеческое чувство упирается в стену твоих запретов, твоей власти!» — вдруг подумал Федор и ухватился за решетку окна.

— У окна стоять нельзя, — тотчас же раздался голос за дверью.

К обеду — водянистому супу и каше Федор не притронулся. Обессиленный он сидел на табурете, когда за дверью раздался шум. Щелкнул замок, и в камеру вошел Колчин в сопровождении какого-то майора.

Федор встал. Колчин улыбался дружелюбно и, как показалось Федору, растерянно.

— Ну счастлив ваш Бог, товарищ майор.

«Товарищ, а не гражданин Панин! Что-то случилось!»

— Не знаю, кто за вас молился, но я получил приказ освободить вас. Сейчас вам вернут ваши вещи. В вашем распоряжении ванна, парикмахер, столовая. Приведете себя в порядок, поспите часа два — не здесь, конечно, — Колчин брезгливо посмотрел на камерную койку, — и поедете к Заместителю Министра Внутренних Дел генерал-полковнику Серову. Вам назначен прием товарищем заместителем Министра на пять тридцать.

Федор стоял, ничего не понимая. Только сердце торопливо стучало: «свобода», «свобода», свобода».

— А нас извините — такая уж служба. Да и вы сами виноваты — ведь вы были в «Марморхаузе» — теперь это все равно. Вот майор вам поможет. Перед отъездом мы еще увидимся.

Глава семнадцатая

Серов был немного ниже Федора, строен, несмотря на свои пятьдесят лет, имел интеллигентное лицо, седые виски и холеные руки. Сидел в кресле небрежно, закинув ногу — в хорошем сапоге — за ногу. Заместитель Министра Внутренних дел, один из руководителей СМЕРШ'а, генерал-полковник — это заставляло напряженно следить за ним и верить, что всё кончится благополучно — такому незачем гнаться за лишним орденом — он не носил даже орденских планок. Говорил он ровно и чуть-чуть устало.

Глаза были тоже усталые и мягкие, что никак не вязалось со СМЕРШ'ем.

— Вам помог случай, счастливый случай. Вы знаете, что вас ждало — лагерь, а то и смерть в заключении. Нелепость? Нет, логика. Вы нарушили приказ. Резве не прав командир, расстреливающий солдата за самовольную отлучку во время боя — к больной ли жене, к умирающей матери — всё равно! Вы сами отдали бы своего солдата под трибунал, если бы он нарушил ваш приказ командира. Почему же вы считаете нелепостью заключение в лагерь вас, нарушившего приказ? Почему?

— Но ведь это, товарищ генерал-полковник, логика военного времени, ведь боя-то нет.

— Нет, бой идет! Неумолимый, непрекращающийся, бой нового мира с обреченным. И он не прекратится, он не может прекратиться, если мы хотим победить. И нет нам отдыха, и не будет! — на выбритых щеках Седова обозначились складки — от ноздрей к углам рта.

— В другое время — в прошлом или будущем — вы были бы прекрасным членом общества, а теперь вы «слишком много думаете о себе», как писал ваш любимый Блок. Вспомните Вёртера, Чайльда Гарольда, Рудина, Печорина — они были интересными, яркими, но они были «лишними людьми» своего времени,

Федор вспомнил себя перед зеркалом у Марченко — «лишний человек XX-го века».

— Время требует от нас жизни солдата и военной дисциплины. Если до войны мы были вынуждены жить в осажденной крепости, то теперь должны жить в армии за пределами крепости, — Серов остановился, словно приглашая Федора.

— Я воевал, товарищ генерал-полковник, и, кажется, не хуже других. Разве я не исполнил своего долга перед родиной?

— Вы воевали хорошо, но вы мальчик. Неужели вы думаете, что у коммунистов родина и защита родины — цель? Мы с вами русские, нам выпало счастье стать первыми гражданами Союза Советских Социалистических Республик. Наш долг служить Союзу, а не одной республике Союза, служить каждой республике, в том числе и каждой будущей, понимаете — будущей!

Зазвонил телефон. Серов перетнул через ручку кресла и взял трубку.

— Да... хорошо... списки арестованных мне не нужны, но сводки числа арестованных по провинциям пришлите обязательно, — и снова обратился к Федору:

— Вы, конечно, удивлены моей помощью. Дело в том, что я давно и хорошо знаю Екатерину Павловну.

Федор вспомнил, что Катя как-то говорила, что знает Серова.

— Знал и отца ее. Да и случай ваш характерен в общих послевоенных настроениях. Кроме того, я тоже человек и «ничто человеческое мне не чуждо», — он посмотрел на ногти, — вспоминать это случается редко. — Поймите, молодой человек, имея дело с миллионными массами, мы не можем делать исключений. — У нас нет ни времени, ни возможности разбираться в отдельных случаях, — приказ, если отступать от правила, не будет действенен и приведет к развалу армии. Быть бы вам в лагере, где мы заставляем людей работать на общее дело, людей, «слишком много думаю-

щих о себе», но ряд обстоятельств позволил мне обратить внимание на ваш случай, и пусть это будет вам уроком.

Благодарить его было почему-то неловко, и Федор сидел, уже зная, что всё плохое обошлось — Катя его спасла. Думать об этом он сейчас не мог, — Серов продолжал:

— Я не собираюсь вам читать лекцию исторического материализма и классовой борьбы, но я хочу сказать, что за этими сухими категориями скрывается жизнь. Капитализм приспособляется, ловчит. Капитализма, в классическом понимании этого слова, уже и нет, но сущность его остается, и история никогда не простила бы нам беспечности. Возьмите факт неуклонного роста населения — после этой, самой жестокой в истории, войны население всё-таки возросло. Скоро — в историческом понятии — людей на земле будет больше, чем возможностей, если останется капитализм, их прокормить. Это означает голод масс и их недовольство порядком вещей и обладателями жизненных благ. Революционность масс прямо пропорциональна росту населения. Простая логика показывает неизбежность падения капиталистического порядка. Но капитализм может разрешить противоречия, как собирался Гитлер, — уничтожением «унтерменшей», и так во всем.

«Неужели он, на самом деле, верит этому? А техника Запада? А гуманизм Запада? Но разве его об этом спросишь», — подумал про себя Федор.

— Поэтому мы не имеем права успокаиваться, пусть демократы отдыхают, а мы будем продолжать наше дело, наш долг перед историей и всем будущим человечеством.

«Да нужно ли это будущему человечеству? Имеют ли право будущее, не родившиеся еще люди на страдания и гибель живых людей!»

— Загонять их в кризисы, отрывать куски их территории, готовиться день и ночь к решительной схватке с ними. Но они могут догадаться и кинуться на нас — сил у них много, одна атомная бомба чего стоит. Поэтому надо их разъединять, подтачи-

вать их силы изнутри, атомную бомбу сделать или выкрасть, а то просто купить у них, а главное, мы обязаны всегда быть в состоянии мобилизации, в состоянии сжатого кулака. Наша слабость в том, что у них существование свободнее и богаче для человека, и в этом соблазн для нашего уставшего человека — солдата. Поэтому мы не можем общаться с ними, не можем разрешить своим людям жить так, как им хочется, — не можем вам разрешать ходить в их кино, любить их девушек...

«Неужели он знает про Ингу? — похолодел Федор.

— Как бы вы поступили с недисциплинированным солдатом? — вдруг спросил Серов. Федор растерялся:

— У меня... у меня не было недисциплинированных, — и смутился.

Серов быстро и остро поглядел на него, но, заметив смущение Федора, продолжал:

— У вас не было, так были у других командиров. Таких солдат расстреливали или отправляли в штрафбаты. Вы нарушили приказ, но, учитывая ваши заслуги и обстоятельства, мы ограничиваемся жизненным штрафбатыоном — вас демобилизуют. Там, в Советском Союзе, моя власть кончается. За вами везде будет следовать ваше личное дело, где записан и ваш арест, и арест вашей сестры, и всё остальное. Малейшее отклонение от службы, от тяжелого, но благородного долга советского человека-солдата, уже штрафника, будет означать для вас гибель.

И мой вам настойчивый совет — никогда, вы слышите, никогда не нарушайте приказа — «кто не с нами, тот наш враг», а врагов мы уничтожаем беспощадно, даже тех, кто имеет смелость ослушиваться нас, кто имеет хотя бы каплю непокорной нам крови! — лицо Серова изменилось — складки на щеках стали резче, углы рта оплелись, туловище наклонилось вперед, к Федору, побелевшие пальцы сжимали ручки кресла. Опомнясь, он откинулся на спинку, и лицо приняло прежнее выражение.

— Я вам убедительно советую ехать в провинцию, скажем, в... Архангельск, жениться, иметь детей, работать так, как вы воевали. Если вас снова не наградят «Героем Советского Союза», а это с нарушившим однажды приказ почти наверное случается, не ропщите — Серов засмеялся глазами и посмотрел на ногти.

«Они всё знают!» — с ужасом подумал Федор.

— Вы человек интеллигентный и думающий и, конечно, будете всегда как-то объяснять новые приказы и события — объясняйте их всегда одним: так нужно партии! И только так вы не ошибетесь. Критикуйте только то, что появляется и существует вопреки воле партии. Разумируя мои искренние пожелания: подальше от центра — в провинцию, где вас лично будет знать начальство, женитесь и не мудрствуйте лукаво.

Серов встал. Встал и Федор. Все было ясно: ехать в Архангельск, жениться на Кате и «не нарушать приказов».

Серов протянул тонкую руку. Федор молча пожал ее и, уже потом, сообразил, что надо поблагодарить:

— Я никогда не забуду всего, что вы мне сказали и что сделали для меня, товарищ генерал-полковник.

— Не забывайте — это вам поможет, а благодарить меня не за что, поблагодарите лучше Екатерину Павловну. Желаю удачи.

Федор опомнился только у выхода из инженерного городка — постовой спросил пропуск. Горели фонари. Федор медленно пошел вдоль забора. Его догнал автомобиль и остановился у тротуара рядом с ним. Дверца распахнулась, и он узнал Катю. На всю жизнь запомнился ему свет фонаря, ее протянутые к нему руки, бледное, счастливое лицо и странное, новое выражение глаз — робкое и застенчивое. И подошла она как-то неуверенно, и руку подала молча, словно робеющая девочка.

Он поцеловал руку, потом другую и, не выпуская ее, не в силах что-нибудь сказать, пошел рядом. Так, не сказав друг другу ни слова, дошли

до проходной. Было предельно ясно: отныне всё в нем принадлежало ей.

Они поехали ужинать в «Москву». В зале для старшего комсостава было пусто — только за одним столиком сидел незнакомый полковник. Официант, принимая от Кати заказ, сказал: «для вашего мужа разрешите посоветовать бифштекс». Катя ужасно покраснела, так что Федор поторопился сказать:

— Пусть будет бифштекс!

Катя смотрела карточку вин, и было видно, как лихорадочно блестели ее глаза.

Федор стал рассказывать — о «Марморхаузе», о Колчине, о Серове. Об Инге решил не говорить. Ему очень хотелось и о ней рассказать, но ему казалось, что он не имел права делать Кате больно и еще в такой день. Она и так выглядела больной. Инга продолжала жить в нем, но это не мешало ему в его решении о Кате, только было в этом решении что-то, как и в ту ночь у Марченко, — невозможность обидеть ее.

Рассказывая о Серове, Федор вспомнил свое состояние, когда лежал в госпитале и думал о возможной ампутации ноги, — всё в нем тогда протестовало, но он знал, что если бы пришлось ампутировать, то, несмотря на этот протест, он согласится и даст себя резать.

Тогда это было в воображении раненого, а сейчас наяву — он дал согласие на ампутацию. Чего — он еще не знал.

— Будто дал согласие на ампутацию, а чего — не знаю, — сказал он вслух. Катя с испугом посмотрела на него.

— Нет-нет, пойми меня правильно, пойми меня: он сказал, что малейшее отклонение от «тяжелого, но благородного долга советского человека», от «приказов партии» будет означать для меня гибель! И сам назвал это «жизненным штрафбатоном». Безропотно жить, похоронить себя в глуши провинции, собственно, без надежды, ибо я ныне «штрафник», и еще назвал это «счастливым случа-

ем» для меня! И это еще не главное. Страшно то, что они меня, тебя, весь народ используют и дальше будут использовать, как средство для своего «боя». И я... согласился. Понимаешь? Согласился на ампутацию.

Катя оглянулась на полковника за столом.

— Фанатик. «Нам некогда разбираться в отдельных случаях», «мы не можем разрешить нашим людям жить, как им хочется». Ты понимаешь? Люди, видишь ли, «слишком много думают о себе!» По-ихнему нужно отказаться от себя, всем быть такими же фанатиками, а если нет, то иди в лагерь — будь рабом! Ты понимаешь, Катя?

— Федя, успокойся, не надо так громко. Ты устал, тебе нужно отдохнуть.

Федор потер лоб.

— Хорошо, Катя. Да, да, я пойду домой и посплю. Завтра надо оформлять демобилизацию — в «штрафники» оформляться, — криво усмехнулся он.

Катя с нежностью поглядела на него и тихонько погладила по руке.

У автомобиля они простились.

— Завтра я позвоню. Спокойной ночи, Катя, — и устало, словно просил его простить, улыбнулся ей. Автомобиль обгонял его, Катя помахала сквозь стекло. Федор опять виновато улыбнулся и кивнул головой.

Глава восемнадцатая

Эту измученную, усталую улыбку Федора в свете уличного фонаря — последнее, что увидела она. Ей стало грустно от того, что оставила его одного и что надо было ехать домой. Аркадий, конечно, уже вернулся. Теперь он ужинает один и не всегда, как раньше, после ужина уезжает на службу.

— Поезжайте, пожалуйста, медленнее, и не домой, а куда-нибудь: я хочу проехаться, — вдруг сказала она молчаливому шоферу — старому берлинскому шоферу такси.

Вечерний Берлин — черные развалины, редкие фонари, серые пятна снега — плыл по сторонам, но Катя его не видела.

«Для него это ампутация... Ампутация свободы... именно, свободы... Это значит — всю жизнь будет чувствовать себя калекой... Кончится тем, что возненавидит и себя и меня... Неинтересная работа, скука провинции и, конечно, будет пить... Кончится тем, что я превращусь для него в причину неудавшейся жизни... Вечное раздражение неудачника... Что бы я ни делала, а серость и бедность провинциальной жизни его доканает... И я, и любовь моя, и дети будут только раздражать...»

Будет стараться сдерживаться, будет понимать, что несправедлив, и от этого ему будет еще тяжелее... А неизбежные в нашей жизни «чистки», аресты, неизбежное для него теперь положение поднадзорного... Еще вдруг почему-либо Николая Васильевича переведут из Архангельска... Что тогда?

Будет жить воспоминаниями о боевом прошлом... Станет надеяться и ждать новой войны, чтобы забыться в ней, чтобы вырваться из «штрафного батальона»... Чтобы уехать от опостылевшей семьи... Да его теперь и в армию могут не взять — куда-нибудь в тыловое ополчение... Боже мой, Боже, ...как я люблю его! Федя, Федюшка, я так люблю тебя, так люблю! И понимаю и не осуждаю... Что же нам делать, Федя? Я, ведь, на край земли готова идти с тобой... только бы быть с тобой...»

Мысль Кати после внутренне произнесенных слов «на край земли» побежала по воображаемой географической карте Советского Союза, дошла до границы и вдруг увидела, что это еще не «край земли» — за линией границы шли очертания других земель и материков. Так уж устроен человеческий мозг — мысль на мно-

вление остановилась, по советской привычке думать о земле в пределах красной краски. Потом перепрыгнула и побежала.

Катя даже вздрогнула, но все ее сомнения, ее любовь, заполнявшая сейчас её, увидели вдруг выход и бросились в догадку — «бежать! Бежать с Федором, бежать вместе в мир, где нет солдатчины, где не нужно ампутации, где можно взять его за руку и идти, идти, куда глаза глядят!

Где можно любить, спать с ним, бродить по берегу южного моря, слушать чужие песни, петь свои, где можно работать, никому не отдавая в этом отчёта. Где можно «думать о себе» без риска быть загнанным в лагерь». Мысль о побеге с Федором, для него, для своей любви к нему, прожгла и ослепила её, так что она стала задыхаться. И тут же властно встало: «А мама?» И свет померк. Мама останется одна. Маму могут выслать, могут посадить в лагерь за то, что дочь бежала, за то, что дочь полюбила. О муже она не подумала, может быть — потому, что за побег изменившей жены его не могли наказать, да и очень уж крепкое место занимает он на службе и в партии. Но мама! И сердце уже просило маму простить, и знало сердце, что мама простит, за то, что дочь полюбила.

«Есть ли то, что я не отдам тебе, Федя? Нет, нет, нет», — стучало внутри.

— Пожалуйста, назад! — крикнула она шоферу, так, что тот испуганно обернулся. Забывая немецкие слова, она сказала, чтобы ехал на квартиру к Федору

Подходя к дому, первое, что Федор увидел, были темные окна Ингиной комнаты. Мысли об Инге, которые он до сих пор гнал от себя, поднялись, и он почувствовал страх за нее. Невольно ускорив шаги, он быстро вошел в парадное и, шагая через три ступеньки, взбежал по лестнице — дома должна была быть записка. Он так торопился, что несколько раз не попадал ключом в замок

Квартира была убрана и натопле-

на, как в то утро, когда он вернулся от Марченко. Он включил все лампы, дважды обежал комнаты, но записки нигде не было. Не сняв шинели, присел у стола. И в то же мгновение услышал, как кто-то поспешно отпирал входную дверь. Потом дверь в столовую распахнулась, и Инга, бледная, с дрожащим ртом, вбежала в комнату. Молча кинулась она к Федору, судорожно обхватила шею и вся — телом, горячей щекой, полными слез ресницами — прижалась к нему. Она хотела что-то сказать, но только застонала и беззвучно разрыдалась. Федор крепко сжал ее плечи, словно хотел удержать рыдания:

— Не надо, девочка моя, не надо... не надо так...

Инга подняла заплаканное лицо и еще полными слез глазами в рамках слипшихся ресниц стала оглядывать его лицо, словно хотела что-то проверить. И столько горя, столько тревоги и любви было в них, что Федор почувствовал невозможность сказать ей о случившемся.

Она была дома, когда над головой раздались его шаги. Все эти дни она никуда не выходила, боясь пропустить его или известия о нем.

Когда его увезли, на следующий день приходил какой-то русский, он перерыл всю квартиру и допрашивал ее. Она сказала, что ее мать убирала квартиру господина майора, а после ее смерти убирает она — часа два в день, когда господин майор на службе. И еще она сказала, что у нее есть жених, который работает, и что она скоро уедет к нему. Русский гадко шутил с нею и обещал заходить в гости, но, слава Богу, больше не приходил.

Она каждый день убирала квартиру, убирала и плакала. Несколько раз приходила невеста Карла — Карла арестовали в тот же вечер у Бранденбургских ворот. Никто не знал, что с ним случилось, но сегодня он вернулся ужасно избитый. Он ни в чем не сознался, говорил, что возвращался из деревни от бабушки, которой не застал дома (он знал, что в тот день бабушки не было дома). Он лежит в постели, доктор сказал,

что осложнений нет. Просит немедленно дать ему знать, если станет известно о Федоре.

— Но ты снова дома, — Инга не удержалась и заплакала опять, — не буду, не буду... Только скажи, что уже никто тебя у меня не отнимет... Если бы ты знал, как я мучилась, что только не передумала...

«Как мне сказать ей о предстоящей демобилизации и обо всем, что случилось?» — он смотрел на ее лицо, на по-детски доверчивые глаза, на худенькие плечи, — давно ставшие родными, — ему надо было отказываться от них! Образ Кати прошел в сознании, но Инга перебила:

— Ведь тебя не увезут из Германии? Что они делали с тобой — ты так похудел? Ах, это я во всем виновата! — в отчаянии сказала она и опять заплакала.

— Не плачь, Инга. Они меня только спрашивали о Карле... И отпустили. Что будет — не знаю. Может... Может, мне придется уехать, — тихо, не глядя на нее, сказал вдруг Федор.

Он боялся слез, но Инга сразу перестала плакать, и он скорей угадал, чем увидел, как она побледнела, — даже румянец мокрых щек растаял. Она вся обмякла, сгорбилась.

— А как же... а как же я? — едва слышно проговорила она.

Это чуть слышное «а как же я?» переполнило его жалостью, он схватил ее похолодевшие руки, притянул к себе и принялся торопливо гладить по голове, как ребенка.

«Что же делать? Боже мой, что же делать? И всему виной — я!.. Только бы она выбралась из разлуки, только бы встретила хорошего человека!

Но будет ли она счастлива?» И когда представил, что его Инга будет счастлива с кем-то чужим, что этот чужой будет ее обнимать, целовать эти руки, этот рот, глаза, — его так и ударило. Он прижал ее к себе еще крепче, словно кто-то уже отнимал ее у него.

«Кому это нужно — ее гибель здесь, моя там — ведь там меня ждет жизнь раба, как они ни называй ее

— «тяжелый, но благородный долг советского человека»? Кому нужен этот «долг» — мой, Сони, отца Василия, миллионов других, в том числе и этого фанатика? Кто им дал право распоряжаться человеческими жизнями?»

Инга, не отрывая щеки от груди Федора, заговорила быстро и решительно:

— Я напишу вашему Сталину, я буду просить его до тех пор, пока меня не пустят в Россию к тебе... Ты говорил, что если Германия станет советской, то ничто не мешает нам. Я стану коммунисткой и буду делать все, чтобы Германия скорее стала советской. Я и об этом напишу Сталину.

Как ни тяжело было Федору, он невольно улыбнулся:

— Дорогой мой глупыш, ты не знаешь, что говоришь: если ты напишешь о нас, то меня арестуют. Даже добейся ты разрешения въезда в Советский Союз, то они однажды скажут, что ты приехала шпионить, и тебя и меня расстреляют, а детей наших посадят в лагерь.

Инга потерлась щекой о шинель Федора:

— Как же русские могут жить в такой... такой страшной жизни? Зачем же тебе возвращаться туда?

Когда она сказала это, легкий холодок пробежал у него между лопаток.

В нем, как почти в каждом советском человеке, случайно попадающем за границу, мысль о невозвращении жила всегда, но инерция привычек, близкие люди, неизвестность жизни на чужбине, наконец, страх, связанный с этой мыслью, обычно делали её в самом начале пустым мечтанием.

Но сейчас, после ареста, после невозможности, как ему сейчас показалось, терять Ингу, мысль эта поразила его соблазном освобождения. — «А Соня?» Соня была в лагере, помочь ей теперь, когда сам стал «штрафником», он ничем не мог. А Катя? И это сразу совсем заслонило открывшуюся было дверь. После все-

го, что произошло сегодня, после того расстояния в Карлсхорсте, которое они вместе прошли рука об руку, после счастья в Катиных глазах, он уже не принадлежал себе, она одна имела на него право.

Словно в ответ, дверь комнаты медленно отворилась и на пороге появилась Катя.

Как громом пораженная, стояла она и смотрела на Ингу. Инга не захлопнула входную дверь, и Катя вошла без звонка. Испуганная неожиданным появлением женщины в беличьей шубе, в которой не сразу узнала «фрау оберст», Инга только крепче прижалась к Федору. Одна рука его замерла на волосах девушки, другая обнимала плечи.

Было видно, как отливала краска с лица Кати. При электрическом свете оно стало почти серым. Левая рука взялась за косяк. Всё это время Катя не сводила остановившихся глаз с лица Инги. Федор хотел подняться, но Инга вцепилась так, что он снова сел и стал отрывать ее от себя.

Катя на секунду взглянула на него, и страшен был взгляд ее необыкновенно почерневших глаз. Потом рывком повернулась, пошатнулась и кинулась в коридор.

Федор молча грубо оттолкнул от себя Ингу и бросился за Катей. Двумя прыжками догнал он ее на лестнице, забежал вперед на ступеньку ниже и стал ловить руки:

— Катя... не надо... я не решаюсь тебе сказать... выслушай меня... ради...

Она жестом остановила его. Лицо ее было уже спокойно и как-то торжественно красиво:

— Я опоздала, Федя... Я пришла сказать... сказать, что тебе нельзя возвращаться в Союз... тебе там нет места... Я... я хотела бежать... с тобой, но мое место оказалось занятым. Теперь я понимаю все... почему ты не мог полюбить меня...

Федор с ужасом смотрел на нее. Совпадение слов Инги, его мыслей и того, что говорила Катя, так его потрясло, что он даже не сделал по-

пытки задержать ее и только стоял и смотрел, как она уходила и как скрылась за дверью.

Когда он опомнился и с трудом, отяжелевшими вдруг ногами, опираясь на перила, стал подниматься, внизу раздался шум мотора. Инга сидела в том же кресле, и только слезы медленно текли у нее по щекам. Не глядя на нее, Федор прошел к обеденному столу и сел на стул. Тупая боль в висках мешала, и он бессмысленно смотрел на противоположную стену. Прошло несколько минут, как вдруг резко зазвонил входной звонок. Его словно сорвало со стула. Он бросился в коридор, но на лестнице никого не было. Он заглянул вниз, в пролет лестницы, потом вверх — никого. Внизу на улице снова раздался шум отъезжавшего автомобиля. И только тогда он заметил у кнопки звонка торчавшее письмо.

«Желаю вам обоим счастья. Прощай» — написано было торопливо рукой Кати. Засунув под кнопку письмо, она спустилась и позвонила с улицы. Так, с письмом в руке, он вернулся в столовую. Инга уже не плакала и сразу заметила письмо. Федор снова сел за стол, положив письмо перед собой на скатерть. Инга ревниво следила из кресла.

— Она... желает... тебе и мне... счастья, — глядя в то же место стены, каким-то чужим голосом проговорил он.

— Она... желает тебе и мне счастья. Ты понимаешь? Я не стою ее пальца... Мы оба не стоим ее пальца, — всё так же глядя на стену, повторил он.

Инга, стараясь не шуметь, встала и подошла к нему.

— Ты ее любишь, Федя?

— Разве я могу любить её, разве я могу так любить! Я не стою одного её пальца, — ожесточаясь, громче и громче говорил он. — Она знает, что мне нельзя туда возвращаться, для меня я знаю! Она меня любит так, как никто никогда не любил и не будет любить! Мы оба не стоим её пальца! — руки его сжались и потащили скатерть. Письмо упало на пол.

Инга уговорила его лечь. События последних дней так измучили его, что он вдруг как-то стих и дал уложиться себя. Долго лежал с закрытыми глазами, боясь, что расплачется.

Катя потеряна — это было в ее глазах, в жесте ее руки там, на лестнице. Потеряно было всё, оставались

Инга и Соня, — Инга сидела у его ног, Соня была «там». Когда он пытался думать, что ждёт его «там», наплывало что-то черное, тяжелое и начинало нестерпимо болеть в висках.

В эту ночь Федор решил бежать на запад.

Глава девятнадцатая

Из книг он взял только томик Блока — подарок Сони в день окончания института — Федор не расставался с ним всю войну.

Перед тем как положить в чемодан, он взял книжку и решил погадать, как делали с Соней в детстве: что-нибудь загадывали, раскрывали наугад книгу, и первая попавшаяся фраза была ответом на загаданное.

Весь день — в комендатуре, в Комендантском Управлении, в Отделе Кадров, дома — мысль о границе не оставляла его. Могут убить, могут поймать — живьем он не дастся — лучше застрелиться! Могут поймать англичане или американцы и выдать, — какая нелепость — выдавать перебежчиков! И кому? — Большевикам, которые собираются им же свернуть шеи! Пресловутое уважение к закону и соглашениям. Опять «политическая необходимость», — опять политика-убийца.

«Что из этого всего выйдет?» — мысленно спросил он и раскрыл Блока:

«В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любви скромной
Закручинишься ль в тоске?

Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушкой чужой...

«Значит, всё будет хорошо!» — И тут же подумал, что это о Кате. «Что она делает сейчас?» — ему очень хотелось написать ей, но он не знал,

нужно ли писать. не причинит ли ей неприятности его письмо после побега.

Книжку положил сверху белья. Оставались письма: мамины, сонины и одно — катино.

Долго перебирал их, перечитывать боялся — инстинктивно избегал всего, что могло поколебать решение бежать. Брать с собой их он не имел права — могут убить, могут поймать. Первым — решительно, будто бросился в воду, — разорвал письмо Кати. Потом взял последнее письмо Сони, в нем лежала сонина карточка — она смотрела укоризненно, будто осуждала.

«Не могу!» — и поспешно сложив в кучку — сверху порванное надвое письмо Кати, — связал шнурком.

Потом развязал и добавил тетрадь со стихами.

Федор решил их оставить у Карла, с тем, чтобы «после» тот переслал ему.

Вошла Инга — в берете, в солдатских ботинках. Было в ней что-то новое, — будто старше стала и красивее.

— Я готова.

Инга должна была ехать в Нордхаузен поездом с гражданским платьем Федора и частью своих вещей. Там должна нанять комнату, разузнать о возможностях перехода границы и ждать его. Федор с Карлом на автомобиле знакомого немца поедет завтра ночью: если задержат по дороге, скажет, что едет в дивизию прощаться.

— Не беспокойся, милый, — я сделаю всё, как мы договорились. Только не задерживайся — я буду ужасно волноваться. Как только приедете, пошли Карла на почту — я оставлю на его имя письмо с моим адресом.

Три раза позвонил звонок — условный знак Карла.

Он сильно похудел, казалось, сделался меньше ростом.

— Все в порядке, господин майор! — и положил на стол бумажный пакетик.

— Два карата и чистый, — Карл выменял автомобиль Федора на бриллиант, на который Федор думал начать жизнь на Западе, деньги были ненадежны — все ждали денежной реформы.

— Спасибо, Карл. Это куда портативнее.

— Herr Schlosser за тысячу марок дает мне на три-четыре дня свой «Адлер».

— Очень хорошо. Там лежат продукты на дорогу, а это всё можешь взять себе, но только унеси так, чтобы никто не видел. Всё. Действуй.

Карл хотел что-то спросить и замялся.

— Я не знаю, господин майор, но если можно, не дадите ли вы мне пистолет, который в гараже?

— Пистолет?! Зачем он тебе?

— Ах, господин майор, в Германии всё еще может быть... На всякий случай...

— Гм, понимаю. Этот я беру с собой, а из гаража можешь взять, но только смотри...

— Vielen Dank! — господин майор.

— Кушай на здоровье.

Снова зазвонил звонок один раз — чужой. Федор выпрямился. Инга испуганно посмотрела на него и побежала с Карлом в кухню.

Федор всунул бриллиант в книгу на полке, огляделся и пошел открывать, стараясь угадать, кто это мог быть.

За дверью стоял Валька.

— Пришел проститься, товарищ майор.

Сознание Федора так далеко отошло от «этой» стороны, что он не сразу понял.

— А, Валя! Входи. Спасибо, что не забыл. В комендатуре меня, как заразного, обходят.

— Эх, товарищ майор, все люди б.....!

— Так уж и все? А ты, а я?

— Если не все, то почти все. Мы что — мы солдаты, мы понимаем, а вот комендант, замполит — такие суки! Я ведь дежурил, когда вас забирали. Приехал к нам какой-то капитан из оперотдела. Заперлись они у полковника, а я у дверей слушал. Полковник всё говорил: «просмотрели», «просмотрели». А замполит: «Я всегда говорил, что Панин подозрителен — необщителен, стихи пишет». Да что там говорить, товарищ майор! У меня тоже самое: скурвилась моя — американца себе завела!

— Как американца?!

— Да так. За всё хорошее мое. Я теперь не могу часто к ней ездить — опасно, а у американца сигареты, консервы, шоколад, а главное — прятаться не надо. Сообразила, что там и замуж может выйти за него — так прямо мне и сказала. Хотел я ей надавать по морде, а потом подумал — аллах с ней! Обидно, но чем же она виновата за наши порядки! Типичное не то — эти немки! Наша деваха так не сделала бы.

— Что ж ты теперь? — спросил Федор, думая о словах сержанта.

— Буду в отпуск проситься. Поеду домой и женюсь на нашей.

Вскоре Валька заторопился — надо было на дежурство.

— Прощайте, товарищ майор. Пришел бы провожать, да не пустят... Может, когда и встретимся.

— Прощай, Валя, не поминай лихом... Может, и встретимся.

Грустно стало Федору после ухода Волкова. Инга и Карл ушли раньше. Он долго сидел у печки. Думал о Кате, о Соне. Решил написать обоим в Нордхаузене и просить Василия переслать или передать им — по почте могла перехватить цензура.

Глава двадцатая

Дом стоял на окраине, полуразрушенный, окруженный развалинами других домов. Старуха-хозяйка охотно сдала Инге одну комнату.

В окне виднелись руины, а за руинами темнела зубчатая стена леса.

Солнце еще не село. Фигура Федора двигалась в закатном свете, вихря за собой рой светящихся пылинок.

— Как же другие переходят? — повторил он, ни к кому отдельно не обращаясь.

— Переходят, господин майор, но риск... — ответил Карл, сидящий у печки.

— Фрау Шмидт говорит, что дней через пять с той стороны вернется ее знакомый — он переводит с гарантией. — прибавила Инга. Она сидела на кровати против окна, вся в багряще, и не мигая смотрела на солнце.

Федор остановился и поглядел на нее.

По освещенной стене, прямо над головой Инги, стояла тень оконной рамы, похожая на тень большого креста.

— Мы не можем столько ждать! Не можем! — и, еще раз поглядев на крест, зашагал по комнате.

Они жили в Нордхаузене третий день. Карл отказался возвращаться в Берлин до перехода Федора через границу. Ни он, ни Инга, несмотря на все старания, не могли найти проводника. Немцы толпами ходили на ту сторону, но их часто задерживали; после двух-трех дней опроса, обычно, отпускали. Если бы задержали Федора, то акцент выдал бы его, да и документов немецких не было.

Завтра ночью пойдем во что бы то ни стало! Надо...

Его перебил стук во входную дверь. Инга и Карл вскочили. Она хотела подойти к Федору, но тот нерешительно махнул рукой уходить в кухню. Федор достал из-за печки пистолет и положил в карман. Стук повторился. Федор вышел в коридор.

Фрау Шмидт оторвалась от глазка двери:

— Какой-то военный, — и уступила место Федору.

За дверью стоял Василий.

Василий вошел боком и первое, что увидел, это гражданское платье Федора. Забывая поздороваться, шагнул к нему:

— Что случилось, Федя?

— А вот, смотри, — Федор руками показал на себя.

— Ничего не понимаю!

— Пойдем, — Федор пропустил Василия в комнату, закрыл дверь и молча усадил на диван.

— Бегу, Вася.

— Бежишь? Куда?

Федор махнул рукой в сторону окна — солнце уже село, только кровавая полоса зари, разлившись, стояла над лесом.

— Ты что, с ума спятил? Что случилось-то?

— Ах, Вася... — щека Федора дернулась и он, взяв со стола папиросу, стал закуривать.

Федор рассказал обо всем, что с ним случилось после отъезда из Нордхаузена. Василий слушал и время от времени бил кулаком по колену, то ли от огорчения, то ли от возмущения.

— Вот, Вася, какие дела. Не мог не проститься с тобой, хотя, боюсь, что могу подвести. Когда вчера позвонил и сказали, что ты в отъезде, даже испугался, что не увижу.

Василий сидел, свесив большую голову.

— Д-а-а-а, дела, — словно про себя, наконец, произнес он. Потом несколько раз провел ладонью по подбородку.

— А где же эта, твоя дивчина?

Федор позвал Ингу. Она вошла и остановилась на пороге. Тяжелый взгляд Василия так и впился в нее.

— Д-а-а-а, — снова проговорил он, было видно, как мрачнело его лицо.

— Как же вы пойдете через границу? — вдруг спросил он, продолжая в упор разглядывать Ингу.

Та поглядела на Федора, словно прося защитить ее от взгляда Васи-

лия. Федор перевел вопрос Василия и сам ответил:

— Хотели проводника, но не можем найти. Решил завтра итти так, а она боится за меня.

— Мы с Карлом сейчас думаем итти на ту сторону, чтобы разузнать все, завтра к ночи вернемся, — быстро проговорила Инга, глядя всё так же на одного Федора.

— Что она говорит?

Федор перевел. Василий выпятил нижнюю губу и хмыкнул носом:

— Молодец девка... Любит.

Инга словно догадалась, что этот огромный и мрачный офицер похвалил ее:

— Мы идем сейчас. Возможно, встретим попутчиков, которые знают дорогу, — и покраснела.

Федор позвал Карла. Поздоровавшись с Василием, тот подтвердил слова Инги.

— Все будет хорошо, милый, ты не беспокойся. Завтра мы вернемся.

Вышли в коридор, Федор попросил Карла быть осторожнее.

— До свидания, Инга. Слушайся во всем Карла. Не рискуйте. Лучше мы подождем день-два.

Девушка потерлась щекой о его щеку:

— Я так люблю тебя. Не забывай меня, — в полумраке коридора лицо ее казалось усталым и больным.

— Может быть, тебе лучше остаться дома, Карл сходит один?

— Нет, нет, Федя. Я хочу что-нибудь сделать для тебя, для нас.

Федор торопливо поцеловал ее, поправил у висков волосы и снова сказал:

— Правда, Инга, может быть, лучше тебе не ходить?

Девушка молча покачала головой, улыбнулась, потрогала пальцами его брови, щеки, губы и подтолкнула к двери:

— Тебя ждёт твой друг. Не беспокойся, милый, всё будет хорошо.

Василий всё так же сидел на диване и мрачно разглядывал носки своих сапог.

— Ты что, как на похоронах? — стараясь пошутить, сказал, садясь с ним рядом, Федор.

— Конечно, похороны. Единственный друг уходит — разве это не похороны!.. Эх, Федя, Федя...

Василий ушел ночью, пообещав разузнать о проводнике и завтра вечером, чтоб не заметили, придти снова.

Весь следующий день Федор нервничал. Он чувствовал себя таким одиноким и беспомощным, что побег начинал ему казаться неосуществимым и гибельным. Он даже раз поймал себя на мысли: не бросить ли всё и не поехать ли в Советский Союз — еще было не поздно, но тут же застыдился, и инерция принятого решения понесла его дальше: — вечером вернется Инга, и все окажется не таким трудным. Потом ему стали мерещиться за окном подозрительные люди, начинало казаться, что за домом следят. Он то и дело прислушивался и едва заставил себя написать письма Соне и Кате.

Он, по-разному, просил их простить ему. Письма были коротенькими, хотя ему очень хотелось рассказать всё с предельной искренностью, но так он мог подвести Василия, который должен был переслать письма.

Уже стемнело, когда в коридоре послышался стук. Фрау Шмидт вышла из кухни, но что-то долго не отпирала. Федор выглянул в коридор — чей-то женский голос с явно русским акцентом просительно говорил за дверью одно слово: — Битте... битте... битте...

Федор похолодел. Снял предохранитель пистолета и стал за шкафом у окна, выходящего из коридора на задний дворик. Бесшумно открыл оконную задвижку и дал старухе знак открывать.

— Маленькая толстая женская фигура. Федор сразу узнал:

— Наталия Николаевна!

— Вот чертовка, едва впустила, — проговорила жена генерала и, разглядев Федора, протянула к нему руки:

— Федя, сыночек...

У Федора заныло внутри, и он, схватив мягкие руки, прижал их к губам. Уже в комнате Наталия Николаевна сняла большой русский пла-

ток и заплакала быстрыми, дробными слезами:

— Вася мне все рассказал... Он ждет в машине за углом... Сыночек ты мой, за что же они довели тебя до этого ужаса... Проститься пришла. Благословить пришла... Как сына, люблю... Моему не говорила, потом, когда пройдет, скажу... Говорила ему — похлопочи, чтоб Федю в дивизию перевели... — она вытерла концом платка глаза. — Ну, что там теперь говорить... Ты о сестре подумай, напиши ей обо мне, ведь она теперь сиротой остается... Так я вместо дочери возьму... буду помогать в лагерь, а освободится, к себе выйшу... мой согласится... он ведь добрый, Федя... «Молчи, скрывайся и таи»... — вот и молчит.

Федор не выдержал и заплакал тоже.

— Ах, Наталия Николаевна, разве я бежал бы...

— Знаю, Федя, знаю. Поэтому и пришла... Знать, судьба...

Она встала и трижды его перекрестила:

— Помоги тебе Бог, Федя. Не легко тебе будет там... — потом взяла его голову и поцеловала в лоб и опять перекрестила.

— Теперь прощай... Мне долго нельзя... надо о своем молчальнике подумать... Прощай, Федюшка, — мокрое лицо ее сморщилось, и она снова мелко заплакала.

— Соне, сестре напиши о нас... Васе передай... Он сейчас придет... Прощай... страдалец... — жалостливо махнув рукой, повернулась и пошла, вытирая платком слезы.

Василий застал Федора в том же положении, в каком оставила его Наталия Николаевна: он сидел на диване, глядя перед собой пустыми глазами, на щеках были видны следы слез.

— Вот она, русская женщина! Не твоим немкам пара!

Не глядя на Василия, Федор тихо сказал:

— Зачем ты так, Вася?

— А затем, что обидно! Ведь она

пришла отговаривать тебя, а вернулась — плачет и говорит: «Не могу! Верну, а вдруг на муку. Да и немку несчастной сделаю. Не могу, боюсь, грех на душу возьму». Понимаешь? А ты, кого я больше всех любил, так легко нас и родину на немку меняешь!

— Я никого и ничего не меняю, Вася. Я просто не могу быть разменной монетой в руках правителей наших, о которых так правильно говорил твой отец.

— Что правители! Они мне тоже вот! — Василий резко провел ладонью по горлу, — но я народ свой не оставлю! Тебе теперь бежать не миновать, но ты как бежишь? Отказываешься от родины и народа своего! Я всю ночь не спал, весь день не свой ходил: если он, думал, для народа бежал, а то ведь он плюет на народ. Ему бы только вырваться, а там пусть она сгниет, Россия-то! Так?

— Нет, не так, Вася. Зачем ты всё говоришь: народ, народ. Помнишь, как ты раньше говорил, что немецкий народ ответственен за Гитлера, помнишь? Почему же ты не говоришь об ответственности нашего народа за Сталина? Я знаю не хуже твоего, что русский народ теперь в огромном большинстве ненавидит власть большевиков. А народу не было наплевать и на Россию и на свободу в 1917 году? Революцию кто сделал? — дезертиры с фронта! Кто дал победу большевикам в гражданскую войну? — Вспомни восстание Антонова, Белое движение. — Циничный выбор крестьян — ты, ведь, из крестьян — между барином-офицером и комиссаром — большевиком! Конечно, знай он, что получится, не выбрал бы комиссара! Я хочу сказать, что наш народ во многом виноват сам в том, что происходит у нас сегодня. Почему же, скажи, почему же я должен отвечать за это? А? Если я, рискуя смертью, бегу от рабства, то что дает тебе право говорить, что я кого-то предаю?

Я могу понять Колчина, Серова — они завтра назовут меня изменником, врагом народа, но тебя я понять не могу!

Василий выслушал Федора, глядя на него так, будто впервые видел:

— Ты образованнее меня, Федя, ты знаешь больше меня, но я никогда не смогу отказаться от отца и матери, какие бы они ни были, какие бы ошибки они ни делали! Так думаю я, сын русского крестьянина. Народ наш для меня — это отец мой, мать моя, — это калека Рогов, калека Седых, это Соня и Катя, это наш генерал и Наталия Николаевна, а враги народа — это те, кто мучает их, меня и... тебя! И, если бы мне пришлось бежать, то я бежал бы, как наш сержант Егоров месяц тому назад бежал, оставив записку замполиту: «Ну, гад, держись, я еще вернусь!» — вот как я бежал бы! А ты?.. Из-за немки бежишь!

— Нет, не из-за немки, не из-за немки бегу я! Здесь дышать нечем! Понимаешь: нечем дышать!

— Посмотрим, — примиряюще сказал Василий, — я очень хочу, чтоб я не был прав — ведь ты мой друг, Федя, — и положил тяжелую руку на колено Федора.

— Помнишь, Вася, в прошлый раз я говорил тебе, что всё равно, кто победит — коммунизм или демократизм, что человечество в далеком будущем придет к тому, к чему должно прийти? Теперь же я совершенно уверен: победы коммунизм, человечество кончит всеобщим рабством — мы ведь уже рабы! Все рабы! Рабы коммунизма. Сейчас, в эпоху наступления коммунизма, его воюющий раб не чувствует этого — рабство скрыто от нас напряжением наступления, даже, если хочешь, — ощущением побед. А вот потом, после победы, все увидят и ничего не смогут сделать. Сейчас нас держат в напряжении очередных заданий, кампаний, войн, стахановщины и тому подобное, но если коммунизм победит, наступит всеобщее рабство! А если рабство, то и Небытие — за рабством пойдет смерть того, что мы зовем Человеком. Если мне удастся бежать, я не знаю, что буду делать — не вижу еще. Знаю одно — жить здесь не могу, задыхаюсь. Разве...

Раздался сильный стук во входную

дверь. Федор быстро оглянулся и опустил руку в карман. Василий поднялся тоже, лицо его стало жестким и суровым:

— Дай сюда пистолет.

Федор отпрыгнул, затравленно глядя на Василия.

— Отдай, дурак, — усмехнулся тот.

Стук повторился сильнее и настойчивее.

— Если это они, скажем, что приехал проститься со мной, а за пистолет мне ничего не будет.

Федор покорно отдал пистолет. Они услышали голос хозяйки, шум отпираемой двери, и сразу же следом в комнату ввалился Карл. Федор так и замер. Карл был оборван, в грязи и бледен:

— Инга... Инга... — задыхаясь проговорил он, с отчаянием глядя на Федора, — убита!

— Что он сказал? — быстро спросил Василий.

Федор стоял как по команде «смирно», только глаза его странно сощурились и смотрели на Карла. Потом поискали чего-то на стене и остановились над кроватью, где вчера была тень креста. Василий подошел и взял его за плечо:

— Что он сказал?

Щека Федора задержалась.

— Ингу... убили, — шопотом проговорил он, все так же глядя на стену.

Василий ахнул и, обернувшись к Карлу, по-русски спросил:

— Где убили?

Карл понял:

— На границе... Советский автоматчик...

Василий понял «граница». Он осторожно всадил Федора на диван. Углы большого рта обвисли, глаза с беспокойством оглядывали лицо Федора — тот сидел, откинувшись на спинку дивана и бессмысленно смотрел перед собой.

— Ну, а теперь... побежишь? — тоже шопотом спросил Василий.

Федор медленно выпрямился, повернул к нему голову, сощурился и

вдруг вскочил и закричал, злобно и иступлённо:

— Рад?! Доволен?! Так знай же — бегу! Сейчас, немедленно, слышишь, сейчас же!

Было половина четвертого. Моросил дождик. Федор все шел и шел. Он спотыкался в темноте о пни, кочки, проваливался в мокром снегу;

однажды где-то совсем рядом послышалась русская ругань, но он шел, не сворачивая и не прячась, крепко сжимая в руке пистолет, — прямо на запад.

А через три дня Василий с разрешения генерала поехал в Берлин разыскивать Катю, но её не было — Катя уехала в Москву.

Конец первой части.

РЯДОМ С ФРОНТОМ

(Цикл стихотворений)

Рядом с фронтом

Прорыв. И бои за такой-то город...
И каждый рассчитывает, когда —
Учтя расстоянье, местность и скорость —
Советские танки будут сюда.
С полудня уже слышна канонада...
Заходят с боков! Обойдут кругом!
Застрянут! А впрочем смываться надо,
Сказать же короче — бежать бегом.
Подумать, ведь сколько свиней осталось
На радость голодных фронтовиков!
Эх, времени нету — пожрать бы сала
Впервые без карточек и пайков!
Тут двое рабочих — поляков, что ли,
Хозяев-то нету — ушли вчера,
Так эти себе свинью закололи —
Вон, видишь, палят ее у костра.
Эх, жиру-то, жиру — на роту хватит!
Да только с собой небось не возьмут.
На что им! Встречают славянских братьев!
Короче: они остаются тут.
Ишь, крови-то сколько! Почтенный боров.
Эй, пане, смотри, испачкал штаны!
Вот так вот и нас переколют скоро,
В лепешку разделают у стены!
Вчера раздавали склад на пекарне —
Муку-то весь день мешками несли,
Под вечер явились вот эти парни,

Порядочек, стало быгть, навели.
Пришли, напились, перебили стекла,
Буянили, в общем, целую ночь.
Хозяйку еще угрожали кокнуть, —
«Скажи, мол, куда запрятала дочь?»

Наутро в сарае вспыхнуло сено,
В картошку упал снаряд-перелет,
И словно костыль забивали в стену,
За лесом постреливал пулемет.
Дорога курилась белесой пылью...
«...Серёга, ведь я мотоцикл достал!
Должно быгть, вчера солдаты забыли,
Когда тут последний полк отступал».
Сперва заедало. «Ух, чорт! Не смазан!
Мотор-то, видать, без масла засох...»
Потом разошёлся. И прыснув газом,
Машина рванулась вправо, в лесок.
Но там, где, казалось, нету орудий,
Где балкой кончался сажёный лес,
Валежник давя богатырской грудью,
Шел танк мотоциклу наперерез.
Он медленно лез, запыленный, важный,
По желтому, глинистому бугру,
И ветки ненужного камуфляжа
Летели на пыльный, высохший грунт.
«Попали! Теперь не уйдем, хоть лопни,
Теперь всё одно... Расстрел, так расстрел!
Обидно, вот так невзначай и кокнут,
Кажись, что и жить совсем не успел».
Промасленный, потный, в танковом шлеме
Водитель ладонью прикрыл глаза:
«Мотает! По роже видать, не немец,
Ну счастлив, а то бы я показал...
Смываешься, чтоб тебя разразило!
Постой, вот догоним, всем вам каюк!
Куда ты уйдешь? Не хватит бензина...
Эй, братцы, постойте, я подолью!»

После обстрела

Дом выдержал восемь часов обстрела,
Однако почти без всяких потерь:
Пустое окно от ветра скрипело,
В передней осколок врезался в дверь.
Отец захрустел по выбитым стеклам:
«Ну, ты там, подвальный воин, вылазь!»
Я, только что был на горке с биноклем —
Там вся батарея с места снялась.
От нас километрах в пяти, примерно,
Я всё наблюдал у нас из кустов...
Эх, надо забить окошки фанерой.
Серёжа, пойдёшь найди молоток.
Да, кстати, протопим. Ишь настудило!
Возьми там, на кухне пару полён...
Ну что, аппетит, небось, крокодила?
Сейчас поедем, буханка в столе». —
Он резал и мазал хлеб мармеладом,
Жевал и плевался битым стеклом.
«Ну, дом устоял, остальное ладно.
Теперь затопили, будет тепло.
Серёжка, признайся по чести, жутко?»
«Какой там! В кино я хуже видал.
В подвале я думал, далеко рвутся,
Там звука не слышно, только удар.
Вот в прошлом году я видел картину,
«На подступах к Волге» — военный фильм.
Там в дом, понимаешь, бомбу вкатили,
Как дали, ты знаешь, так только пыль!
Овражек там был, понимаешь, рядом
И в нём минометы — шшарах, шшарах!
А тут, понимаешь, рвутся снаряды...
Вот это герои! Вот им так страх!
Потом он к реке пробирался с ротой —
Засесть, понимаешь, думал в кустах,
А белые только из пулемета:
Тра-та-та-та-тах! .. Тра-та-та-та-тах!
Да, папа, ты знаешь, в нашем овраге —
Там, помнишь, где раньше стояла часть,

Там всё снаряжение, гранаты, фляги,
Походные сумки, винтовок — страсть!
Пойми, пригодится... Ящик патронов...
Мы вечером с Петькой — туда!
Там нет никого, да нас и не тронут...
Какая охрана? Всё ерунда!»



На утро в поселке выли моторы,
Тягач буксовал, прицеп волоча,
Горели костры, ругались шоферы —
В поселок вошла немецкая часть.



«Скорее... Серёжа в овраге... рядом...
Нам немец кричал и путь закрывал,
Мы только хотели скосить по саду...
Скорее... он там... убит наповал.»
«В овраге!» — сквозняк — и все двери настежь,
Ступеньки крыльца сосчитаны вниз...
«Пойдем, ты покажешь... Уверен? Насмерть?»
«Вон там, где овраг корнями повис...
Он, немец, был пьян, орал: «Коммунисты!»
Серёжа мне крикнул: «Прибавим шар!»
И мы побежали... А после... выстрел!
Так близко... Теперь вот слышу в ушах.
Бегу и еще прибавляю шагу,
Потом оглянулся — Серёжи нет.
Подумал — вернуться к тому оврагу,
Вернулся, а он лежит... на спине».



Искали. Давили замерзший хворост,
Овраг обходили с разных сторон —
Заметив пятно внизу у забора,
Отец догадался, что это — он.
Три спички сгорели почти без света —
Их ветер мгновенно позадувал.

Четвертой отец зажег сигарету.
«Обстрел — ничего, а тут... наповал!
Так, сразу вот, насмерть... вот дотаскались.
Дурак... говорил я ему вчера...»
Отец отвернулся и сел на камень.
«Серёжа... эх, глупо... и всё игра».
Сразмаху он бросил в снег сигарету.
И ты... ты туда же его... волок!
Тебе бы...» Отец поперхнулся ветром,
Закашлял и наспех вынул платок.



Копали в два лома и в две лопаты.
Курили, чтоб легче было копать.
Поземкой крутился ветер проклятый,
По Цельсию перло под двадцать пять.
Блеснул самолет серебряной птицей —
Всё небо расчистило поутру.
Скорее, чем люди успели скрыться,
Две бомбы шарахнуло в мерзлый грунт.
Но, впрочем, упали обе удачно —
Людей шибануло слегка волной,
Да лопнули стекла в соседней даче,
Стоявшей к обрыву задней стеной.
Отец затаился и сдвинул брови:
«В воронку клади, сюда головой.
Пилот, верно, думал: окопы роют —
Военный объект... рубеж огневой...»

1950

Стоянка

Глухая ночь в покинутой кабине.
Автоколонна стала на ночлег.
Кругом зима в декабрьской мути стынет.
Клубится снег, пушистый белый снег.

Здесь пулеметы долетают глуше.
В двух километрах подожгли село,
И кони, настораживая уши,
Пофыркивая, дышат тяжело.

Колесами истерзана дорога,
На ней повозки, лошади, войска,
И силуэт, беспомощный и строгий,
Застывшего в снегу грузовика.

Мелькает снег, пушистый, яркий, белый,
Во рту воды ни капли, ни следа.
Вторые сутки разбивает тело
Холодная машинная езда.

Мы снег едим горстями из канавы,
От жажды осторожность позабыв.
А в стороне, за лесом, где-то справа
Вдоль по дорогам катится прорыв.

Седой солдат идет с походной кухни,
Побрякивая медным котелком.
Теперь бы чаю, не попить — понюхать,
Рот промочить единственным глотком.

Там, за селом разыгрывались бесы,
Ревели бомбы воем адских склок.
«Нун, тринкен зи, зо гет эс вирклих бессер», —
Сказал солдат, подавши котелок.

1949

Шофер

Он возил брикеты спозаранку,
С полудня мешки с мукой,
Он крутил одной рукой баранку
И курил другой рукой.

С развеселой удалью шофера,
С наглой искоркой в глазах:
«Если не прокуришь светофора,
Кто ж куренье заказал!»

Он ведь этот город неприютный
Знает, словно свой карман,
Он со склада ездит каждым утром
С желтым светом сквозь туман.

Купит водки, получивши деньги,
Полбутылки отопьет,
Полбутылки спрячет под сиденье
И соседу подмигнет.

Он — на фронте: всё одно и то же,
Лишь пилотка набекрень,
На устах проклятье бездорожью
И обстрелам каждый день.

Отступление. Он с автоколонной,
Он сквозь зубы цедит мат,
Под сиденье рядом с самогоном
Хмуρο прячет автомат.

«Слушай, как поедешь полустанком,
Там прицепы заберешь».
«Чепуха! Когда наскочат танки,
Так прицеп не развернешь.

Тут недавно, вот уж две недели,
Я с прицепом чуть не влип:
Самолеты утром налетели —
Не ушел, так разнесли б.

Знаешь, и машину тоже жалко,
А особенно свою.
Я, признаться, сильно испужался —
Думал, вместе нам каюк»...

Ночью в грязь засел он, как в трясину.
Что ж, колонна ведь не ждет,
Он польет свой грузовик бензином
И цыгаркой подожжет.

Так было

В который раз сегодня, как вчера,
Предсказывая будничную гибель,
Сирены обрывали вечера,
На запятой захлопывали книги.

Звенели ночи выбитым стеклом,
Дверные створки обрывались с петель,
И, зазвенев по воздуху крылом,
В больничный корпус пикировщик метил.

В который раз сегодня, как вчера,
Врывается в окна крепкий запах гари,
Блуждали в облаках прожектора,
И воду подавали на пожаре.

Шатался от разрывов потолок,
Зенитки в небо лаяли металлом,
И в погребе, забившись в уголок,
Мы кутались в сырые одеяла.

Потом, вернувшись в выстуженный дом,
Фанерой окна заложив снаружи,
Таскали ведра с выбитым стеклом
И наспех грели слишком поздний ужин.

Октябрь, 1948.

ПИСЬМО

Ты, может, вовсе этого не хочешь,
Но десять раз письмо перелистав,
Я всё равно читаю между строчек
Снежинки, тающие в волосах,
И день, когда сметало ветром шляпы,
Когда моргал напротив светофор,
А мы с тобой пересекали Штахус*)
Автомобилям всем наперекор.
Мы спорили о чем-то до захлеба,
Мы шли и натывались на людей,
Мы были, как помешанные, оба
В холодный и веселый этот день.
И оказалось, можно, дружбы ради,
Все косные законы сокруша,
В конверт заклеить Штахус в снегопаде,
Тебя саму и ветер, рвущий шарф,
И волосы, растрепанные ветром,
Что под платок убрать ты не смогла.
Как это всё не разорвет конверта,
Не разломает ящика стола!
А ты тиха. Тебе синоним скромность:
Ты и подумать не могла о том,
Что сможешь всю квартиру переполнить
Одним в конверте сложенным письмом.

*) Площадь в Мюнхене.

Г. Андреев, Л. Ржевский

НАГРАДА

Пьеса в 4-х картинах

Генерал Скопин Илья Ильич — лет 60, занимает важный пост в администрации советской оккупационной зоны Германии.

Татьяна Фёдоровна, его жена — рыхлая женщина лет 50.

Леночка, их дочь — студентка педагогического института, на каникулах у родителей.

Николай, их сын — капитан-танкист из оккупационных войск в Берлине.

Сергей Лунев, жених Леночки — капитан-лётчик.

Морозов Антон Павлович — майор Госбезопасности, друг генерала.

Вера — его секретарша.

Товарищ Малин — в штатском, лет 50, приезжий уполномоченный Политбюро.

Рыжов Степан — лейтенант Госбезопасности, в подчинении у майора Морозова, чуть заикается.

Мистер Спиллет — англичанин-«прогрессист», из журналистов.

Фёдор, сержант — шофер Скопина.

Лизхен — немка-служанка.

Гости.

Действие происходит в Берлине в наши дни.

Картина I

Терраса виллы генерала Скопина, спускающаяся широкими ступенями в сад. По обе стороны лестницы густые кусты, образующие темные уголки, со скамейками. На террасе столик, на нем лампа с абажуром, плетеные кресла, качалка. В открытую дверь видны: комната, праздничный стол, гости. Из двери падает яркий свет. Шум, смех тосты:

Морозов. За нашего дорогого хозяина, получившего высокую награду!

Голоса. Ура! Папка, за твоё здоровье! Илья Ильич, позвольте чокнуться!

(Кто-то на рояле играет туш).

Рыжов (перекрывая шум). Предлагаю выпить за здоровье нашего вождя и учителя, нашего лучшего друга и отца, великого гения человечества, товарища Сталина!

Голоса. Ур-р-р-а! Ура!

На веранду ввёртывается Фёдор, с бутылкой и свёртком подмышкой, кружком колбасы на руке и со стаканом. Бутылка выскальзывает — он ловко ее подхватывает.

Фёдор. Главное, Лизхен, не теряться! В военной жизни первый закон — приспособиться к местности, выбрать время и вперёд, к победе коммунизма! (Оглядывается) Где же... (Спускается по ступеням). Где же мой кулёнок?

Тихо свистит. Из темноты справа показывается Лизхен, с опаской смотрит на веранду.

Фёдор (обрадованно). С-с-с! Сыпь сюда без промедления. Пируем, Лизхен! Пока они за Сталина глотку дерут, мы за наше здоровье горло промочим.

За кустами направо складывает припасы. Лизхен подходит к нему и опускается на корточки.

Ты чего такая, как мешком накрытая?

Лизхен. Hab' Angst... Увидят...

Фёдор. Не бойсь! (шлепает ее по плечу так, что она садится, взбрыкнув ногами. Фёдор спохватывается, поддерживает ее). Фу, ты, скажи, какие вы, немки!.. Как кисель! Я ведь шутейно...

Лизхен (оправляя платье). Es ist mir nicht leicht... привыкать к твоим шутки. Здесь не хорошо, на земле... nicht bequem... Может — на скамейка?..

Фёдор. Не положено. По солдатскому уставу беквем там, где с глаз долой. (Пересаживается дальше в тень и тащит за собой Лизхен). Ты не бойся, я здесь свой. Промочи-ка... за твоё здоровьечко, Лизхен!

Лизхен. Prosit!

Фёдор. Хочешь — любишь, хочешь — нет, у солдата денег нет! Ну, а выпить-закусить найдётся. Угощайся, Лизхен: конфетки — с генеральского стола! Колбаски бери... Наворачивай и в бумажку заворачивай: домой возьмешь. Любишь меня, Лизхен, сержанта советского? (Тянется к ней и звучно целует). Фу, ты, по всем жилам прошло! Самая, брат, лучшая закуска... Веселей смотри, Лизхен! Живем!

Лизхен (с полным ртом). Д-да... (Вздыхает).

Фёдор. Ты чего психуешь, голубок? А?

Лизхен. Сам знаешь, что... Не настоящее у нас... Я немка...

Фёдор. Ну-к что ж, что немка? Всё у тебя настоящее, всё на своем месте...

Лизхен. Ja, und weiter... Потом — что?

Фёдор. А «потом» уж было, Лизхен. Аль из памяти вон?

Лизхен (смущаясь). Ach, laß doch... Ты знаешь: жениться тебе на немка не можно... Verboten...

Фёдор. Ферботен — значит не положено. Про то начальство знает. А по-нашему: головы зря не ломай. Прожил день — и ладно! Потому, тут всё равно ничего не придумаешь.

Лизхен. Ты знаешь... Ich habe eine Tante in Amerikanischer Zone... Мы...

Фёдор. Опять двадцать пять, за рыбу деньги! Про танту! Отвыкни! Не в Америке живёшь. Не дай Бог прислушает кто — обои загремим. Американская зона! На кой она мне сдаётся! Чего я там не видал? Здесь я человек, как человек, а там что?

Лизхен. Сам говорил: у вас жизни нет. Коммунисты und wie heißt es?... Госопасность? Генерал gib Befehl, und...

Фёдор. А ты не все помни, что я иной раз говорю. Всё помнить, голова закружится, с глузду съедешь. Госбезопасность одно, а наш генерал... Да ты знаешь, что я за своего генерала в огонь и воду? Это ж человек! Он хоть и коммунист, да первеющий человек! Другого такого поискать...

Лизхен. Не могу я разбирать, какой — коммунист, какой — человек...

Фёдор. И не разбирайся — завивка разовьётся. Ты на меня смотри: что я, то и ты... Эх, Лизхен, куклёнок ты мой! (Обнимает ее, пьют).

Пока длится разговор, в комнате продолжают шуметь, видны танцующие пары. На веранду выходит Рыжов, потирает лоб, покачивается.

Фёдор (на ухо Лизхен). Вот она, госопасность-то, на ногах не держится.

Рыжов. Опять пе-пе-ре-брал! Вера!

Оборачивается и словно изумляется, что один.

Не вышла зануда. Танцует с Колькой... (Вздохнув) Да, сколько раз, понимаешь, говорил себе: пей, а не напивайся — нет, не выходит...

Фёдор (вполголоса). Не выходит, точно...

Рыжов (балансируя на ступеньке). Лейтенант Госбезопасности! Глаза и уши! И вот — оп-ять...

Фёдор. Вдрызг! (Собирает свои припасы).

Рыжов. Ну разве так карьеру сделаешь?

Фёдор. Куда к чертям! До смерти в лейтенантах просидишь!

Лизхен зажимает ему рот ладонью. Оба отодвигаются в тень. Рыжов, покачиваясь, спускается с террасы, идёт налево, разваливается на скамейке, дремлет.

Выходит Николай и следом за ним Лунев. Николай рывком вытаскивает из-за стола плетёный стул, садится спиной к Луневу. Лунев вынимает из карманов бутылку, стакан и коробочку с конфетами.

Лунев. Читал я где-то, что в хорошем обществе полагалось, уходя из-за стола, захватывать что-нибудь с собой на память. Вот я и привыкаю к хорошим манерам (Наливает вино в стакан). Пей.

Николай. Отстань!

Лунев (свистит). Фью! Танкисты, оказывается, не в духах. А я думал: замутило тебя от напитков. Поддержать хотел, по-товарищески. Выйдет, думаю, Верочка следом, а мой Николай того... скапутился. Она, ведь, на тебя, как на циферблат, заглядывала, все глаза обломала...

Николай. А иди к черту!

Лунев (насмешливо). Тю, тю... Значит, наоборот, недопил? Ну, что же, а я добавлю. За твоё здоровье! (Пьет).

Николай. Добавляй, добавляй. И за столом тянул, как верблюд... Куда в тебя лезет?

Лунев. У нас, брат, лётчиков, потолок высокий... (Поёт): «Всё выше, всё выше, всё выше»... Набираем и на посадку не идём.

Николай. Ну, и набирай себе потолок, а от меня отлипни. Дай отдышаться.

Лунев. Да от чего отдыхиваться-то, чудак, раз не пьян?

Николай. От тебя, например. От пустозвонства твоего. Балаганит, как рыжий у ковра.

Лунев. У тебя жар? Дай-ка пульс пощупаю... Что ты на людей бросаешься? (Пауза. Продолжает другим тоном). Нет, в самом деле, Николай, что стряслось? Чего ты отсюда выкатился?

Николай (резко оборачиваясь). Не могу я эту рожу видеть! Понимаешь — не могу!

Бьёт кулаком по столу, бутылка и стакан подпрыгивают. От стука просыпается Рыжов, потягивается, вытаскивает папиросы, но, слыша разговор, забывает прикурить и прислушивается.

Лунев. Легче, легче! Сократись! Что он тебе, соли на хвост насыпал?

Николай. Гиена высокопартийная! Полномочная вошь! (Передразнивает) «Согласен, не возражаю», «неверно, не одобряю!»... И что ведь гнусно: все ему в глаза смотрят, на задних лапках перед ним, как собачонки. Хвостом виляют. Вот-вот в заднее место лизнут. Смотреть стыдно!

Лунев. Чего тебя прорвало? Да дьявол с ним, в конце концов, с Малиным. Посидит и уберётся. Стоит из-за него кровь себе портить? Ради праздника...

Николай (опять взрываясь). Праздника? Это ты называешь праздником?

Лунев. Отцу твоему Героя дали. Что ж, это не праздник?

Николай (подчёркнуто). За что дали?

Лунев. Ага, понимаю! Очередной наскок на мудрость генеральной линии. Не время и не место. Закройся!

Николай. Нет, постой... За что дали, я спрашиваю? Что он, бой выиграл? За честь родины кровь пролил? За то его наградили, что усердно задания выполняет, клистир марксизма ленинизма помогает в Европу вставлять. Нужен он ей?

Лунев (оглядываясь). Тише, тише, притормози! Сбавь газу!

Николай (не слушая). Это не подвиг! Подличаем, страшаем, обманываем, штыком хотим людям своё навязать. Нужно оно им? Видал, как они здесь живут? Нужен им этот наш коммунизм, я спрашиваю?

Лунев. Категорически — тише! Или объясняйся в одиночку, Гамлет берлинский.

Делает вид, что уходит.

Николай (понижив голос). Я тебя спрашиваю: по совести оно, наше усердие, или из-под палки? Ведь вот она, гиена-то, сидит, для проверки и наблюдения. Усмотрит гиена, что ты не совсем прохвост, что недостаточно предан — и где ты завтра очутишься? Аракчеевщина! Кнут и пряник! И этакое — поддерживать? Почему поддерживаем? Ты! Я! Почему, ответь?

Лунев. Одно из двух: иди спать или пей и меняй пластинку! (Оглядывается). Влипнем, ведь, дурень!

Николай. Вот-вот: рта открыть боимся. Друг другу лжем. «Ложь — религия рабов и хозяев» — изрек Горький. К чорту таких хозяев! Всю лавочку! Р-раз — и под откос, вверх тормашками!

Лунев: Ха-ха-ха-ха! Гомерический хохот, как пишут в пьесах! Ты что, рычаг нашёл такой, чтобы — под откос?

Николай. Я — рычаг. Ты — рычаг. Два рычага — ячейка! И — чтобы сотни таких ячеек, тысячи... И потом — объединиться и...

Лунев (перебивает). А бдительность? Ее ты ни во что не ставишь? «Глаза и уши»?

Николай. Опричников? — Не страшно! Действовать умно, действовать осторожно...

Лунев. Вот как сейчас, например.

Николай (не слушая). И потом: среди опричников тоже не все законченные подлецы. Возьмём майора Морозова, разве он...

Лунев (перебивая). Или Верочку. Совсем очаровательная опричница...

Николай. Заткнись!.. Рыжов? Ну, это гадина, слов нету. Но таких немного, такие — исключение. Их за километр видно, рыжовых. Когда я на него смотрю, всегда вспоминаю один петровский закон. Будто бы был такой, что «рыжий, кривой и заика не могут свидетельствовать на суде, понеже Бог шельму метит».

Лунев (смеется). Это здорово!

В дверях показываются Вера и Леночка.

Леночка. Вот они где! Вы что, как заговорщики, удрали ото всех?

Лунев. Именно, на вольном воздухе составляем против обеих вас заговор. Готовьтесь к обороне, противотанковой и противовоздушной.

Услышав голос девушек, Рыжов поднимается и уходит в глубину сада.

Леночка. Всегда готовы! Ого! Вы тут с комфортом: вино, французский набор.

Лунев. Набор не французский, а немецкий. В счет репараций. Называется — «пралине», а по-нашему — шоколадные жамки. (Протягивает коробку Вере). Прошу!

Вера. Спасибо. Леночка, рассказжи же им.

Леночка. Да, да! Покуда вы уединялись, мы с Верочкой тоже заговор составили. Собственно, не заговор, а проект. Увеселительный.

Лунев. Я гешпант! Виноват, это по-немецки. По-русски: лопнуть готов от любопытства...

Леночка. Постой, помолчи, язык без костей! — Пикник! Настоящий русский пикник, с самоваром, песнями и горелками. В воскресенье. На вилле Эбнер, у озера. Понимаете? Парк, даже с беседкой, на крутизне, а внизу пляж — восхитительный! Папа согласен, майор тоже...

Лунев. Bravo, девушки! Сталинскую премию вам за изобретательство в области культуры и отдыха. В воскресенье? Постойте, когда у меня дежурство... нет, дежурю я в понедельник... Всё в порядке!

Леночка. Сегодня четверг. Послезавтра все встретимся в кино. Новый фильм: «Секретная миссия». — Там договоримся окончательно. Николай, ты что молчишь?

Николай (хмуро). Я... Я не возражаю.

Леночка. «Не возражаю»... (шопотом) Как Малин! Я думала, ты встретишь с энтузиазмом.

Лунев. Энтузиазм за двоих представляю я. Позвольте выразить восторг и преданность... (Хочет обнять Леночку).

Леночка (отступая). Ни под каким видом! Новое платье! И потом — обниматься ты не умеешь.

Лунев. Тогда предлагаю прогуляться по саду. Для инструктажа.

Леночка. Не могу. Я назначила свидание мистеру Спиллету. Сейчас выйдет.

Лунев. Ах, этот хлыст несчастный!

В дверях показывается мистер Спиллет.

Вот, пожалуйста.

Мистер Спиллет (выговаривая слова старательно, но с акцентом). Товарищ Леношка!

Леночка. Идите сюда, мистер Спиллет. Я стану качаться, а вы рассказывайте что-нибудь. (Садится в качалку на противоположной стороне террасы).

Лунев. Желаю тебе морской болезни. По совокупности удовольствий. А я пойду за стол. Добавлю...

Идёт к двери, захватив с собой коробку с конфетами.

Леночка. Эти, как их... пралине — дай-ка сюда.

Лунев. Никак нет. Пралине уходит со мной.

Леночка. Дай, Сергей, я хочу... И потом, пил ты, кажется, уже достаточно.

Лунев. И коробку не отдам, и напысь до стратосферы. В отместку...

Спиллет (прислушиваясь, с удивлением). Отмес-ка? Это — как?

Лунев (с порога). Это — зуб за зуб. Не знаете? Моё правило. И вам совету:

При каждой неудаче
Давать умеете сдачи,
Иначе вам удачи
Не видать!
Уходит.

Спиллет. Не понял (подсаживаясь). Но я могу вам приносить оттуда конфеты. Другие...

Леночка. Нет, спасибо, мистер Спиллет. И я других не хочу. Эти были в таких чудесных бумажных корзиночках. Такие нарядные.

Спиллет. Как вы сегодня, Леношка.

Леночка. Только без комплиментов, мистер Спиллет. Если собираетесь занимать меня комплиментами, я тотчас уйду. Лучше уж давайте молчать или играть в капустки.

Спиллет. Ка-пус-ки?

Леночка. Ну, в лапки, в хлопки. Садитесь вот так. Руки на колени! Так. Теперь я кладу сверху свои. Вы стараетесь ударить вот этой, например, рукой по моей, по этой, пока я не успею отнять... Неужто не понимаете? А ещё спортсмен!

Спиллет. Я понимаю, Леношка, но...

Леночка. Никаких «но», начинайте... Да не так, смелее (играют).

Вера (стоит, прислонившись к перилам. Николаю). Вы долго можете так интересно молчать?

Николай. Я не против и разговаривать. Если хотите.

Вера. Гм... Начинать, значит, приходится мне. (Пауза). Начинают разговор обычно вопросами. Вы поймете послезавтра смотреть «Секретную миссию»?

Николай. Не знаю. А вы?

Вера. Не знаю тоже.

Николай. К чему же был вопрос?

Вера. Ни к чему. Чтобы начать разговор. (Пауза). Впрочем, если вы мне позвоните послезавтра, часов в шесть, на работу, я решу...

Николай. Есть позвонить! Я не против... (Пауза).

Леночка (Спиллету). С вами невозможно играть, мистер Спиллет! Вы — как варёный...

Спиллет. Но, Леношка, я не могу ударивать, как зверь, такие престельные ру...

Леночка. Опять? Было условлено, чтобы без комплиментов. Вера! Николай! Вы всё молчите? Николай, Вера хотела нарвать у нас пионов. У тебя есть фонарик. Посвети.

Николай (шаря в карманах). Фонарик?

Вера. Нет, пожалуйста, не надо. Я знаю, вы сейчас скажете: «я не против». Скучно слушать. Я одна.

Идёт к ступенькам.

Николай. Да нет же, Вера, я охотно Подождите!

Вера (спускаясь в сад). Продолжайте просиживать кресло!

Николай сбегает за ней по ступенькам и сталкивается с Фёдором.

Фёдор (вполголоса). Товарищ капитан. Разрешите доложить.

Николай. Подожди, Фёдор. Некогда (кричит). Вера!

Бежит в сад. Фёдор уносит бутылку и стакан. Хочет вытереть со стола. Идёт за тряпкой.

Леночка (Спиллету). У нас здесь пионы огромные. Сколько у немцев цветов! Даже немножко досадно: у нас на всю Москву, наверно, с дюжину цветочных магазинов. А здесь они на каждом углу. Два года назад немцам есть было нечего, а цветов полно. Это хорошо, не правда ли? Цветы! Они напоминают, что жизнь всё-таки прекрасна, несмотря ни на что. Очень люблю их...

Спиллет. Да, вы должны любить всё прекрасное, потому, что вы...

Леночка. Мистер Спиллет, что-нибудь другое!

Спиллет. Ах, Леношка! Вы никак не хотите меня выслушивать и... и понимать! А я — знаете? Я дышу в вашем обществе другим дыханием. Совсем другим, чем в своём мире, который я хочу покидать. Это — подлый мир, Леношка, — лицемерия, наживы... Рас... тельный, нет! — растленный...

Лена. Будто уж он так плох?

Спиллет. Поверьте! В нём отсутствуют идеалы, светлые цели. В нём — желудок, эгоизм, пустота. У вас я нашёл других людей: богатых духом... борцов за будущее, за счастье всего человечества. Это другие люди, другой мир... Я, знаете, недавно слышал одна, как это, — пластинка! С новой советской песней. О вашей стране, о вашей родине. О, как это хорошо! (Пытается спеть):

Россия вольная,
Страна прекрасная,
Сове-е-тский кра-ай...

О, это правильно и чудесно!

Лена. Рассказываете вы лучше, чем поёте. Но в общем — уж слишком нас расписываете. Смотрите, не ошибитесь!

Спиллет (горячо). О нет, я не могу ошибаться! Я чувствую это — другая атмосфера. Я... я так увлечён.

Лена. А причём тут я, если вы нашим миром увлечены?

Спиллет. О, Леношка! Вы... вы жемчужина из этого мира. Мои чувства...

Лена. О чувствах говорить запрещено!

Спиллет (вздыхая). Молчу.

Лена (подумав). Впрочем, если хотите, давайте и о чувствах... Только — я сама вас спрошу. Вот, мистер Спиллет, предположим, вы полюбили девушку. Предположим, сильно полюбили. Очень-очень!

Спиллет. О, Леношка!

Лена. Подождите. И вот она, эта девушка, говорит вам: я тоже могу вас полюбить. Может быть! Но — только, если вы будете одну меня любить, а вместе с «моим миром» — не хочу. Выкиньте этот мир из головы, совсем, навсегда выкиньте, — говорит вам воображаемая девушка. Откажитесь от него — тогда у вас будет надежда на взаимность. Надежда только, заметьте! Ну? Как бы вы поступили?

Спиллет. (озабоченно). Это... Это... надо обдумывать. Это нельзя сразу... Вы так поставляете вопрос...

Лена. Нет, обязательно сразу, сразу отвечать!

Спиллет молчит.

Лена. Ну же!

Спиллет. Я...

На террасу выходит Фёдор с тряпкой, вытирает со стола.

Лена. Не можете? Федя! Пойди-ка сюда. Федя, ты меня любишь?

Фёдор (улыбаясь). А как же? Очень даже, Елена Ильинишна!

Лена. Федя, а если я скажу тебе: спрыгни с Бранденбургских ворот без парашюта?

Фёдор (шутливо вытягиваясь). Когда прикажете прыгать, сейчас или завтра?

Лена (смеясь, Спиллету). Слышали? (Фёдору) Спасибо, Федя. А вот мистер Спиллет не знал, как ответить.

Фёдор. Так ясно ж, как день: отсталость капиталистического сознания против нашего. Можно быть свободным?

Из аллеи выходит Вера с цветами; сзади с фонариком Николай. Вера быстро взбегают по ступенькам.

Лена (Вере). Уже нарвали? Быстро! (Берет у Веры цветы). Какие чудесные.

Вера. Мокрые. Сильная роса.

Из-за кустов показывается Рыжов, подходит к ступенькам и почти сталкивается с Николаем. Смотрит на него, потом на Веру.

Рыжов (Вере). Вы что же, ты и Николай... г-гуляли?

Вера. Нет, прорабатывали историю партии, там, в потёмках. Впрочем ты, кажется, невменяем, как всегда.

Рыжов (с деланной непринуждённостью). Да, понимаешь, п-перебрал. Дьявол его знает, к-как оно вышло.

Вера. Точно, как вчера, или как завтра выйдет (Отворачивается).

Рыжов. Нет, з-завтра нет. Будете уверочки. П-последний раз. (К Николаю). А ты вот т-трезвенький. И хмурый чегой-то, будто муху проглотил. (Понизив голос) Верка что ли обидела, пощупать не дала?

Николай. Другого ничего придумать не можешь? Фантазии не хватает?

Поднимается на террасу.

Рыжов (ему вслед). Придумаем и другое. Придумаем!..

На веранду выходят гости, майор Морозов, Скопин. Большинство — в мундирах, с орденами. Среди них — Малин, в чёрном костюме. Он — средоточие кружка.

Татьяна Федоровна (Малину, показывая на сад). Вот и садик у нас тут. Благодать, покой. Посидите, подышите свежим воздухом...

Подвигает Малину плетёное кресло, сама садится у перил, около неё становится Лена. Остальные остаются стоять.

Малин (помолчав, присаживается на столик, его окружают. Он продолжает говорить начатое в комнате). Товарищ Сталин учит: пока существует капиталистическое окружение, мы не можем успокаиваться. Да, мирное сосуществование с капиталистическими странами, как указывает товарищ

Сталин, возможно, но мы, коммунисты, не можем забывать о трудящихся Запада. Наша обязанность — помочь им освободиться от власти капитала. В этой части огромная ответственность лежит на вас: вы — форпост, выдвинутый в самый центр Европы. Проявляйте инициативу, действуйте: вы на передовой линии фронта. С вас больше спросится.

Один из гостей. Нажимаем, товарищ Малин. На все гайки жмём. Пока будто промахов за нами не водилось.

Татьяна Федоровна. Уж и впрямь жмут. Днём работают, домой придут — ночью обратно работают. (Подпирает рукой щёку, облокотясь на перила).

Малин. Прوماхов не может быть только тогда, когда чётко и до конца выполняются директивы центра. Успокаиваться на том, что будто бы в вас не было промахов, нельзя: успокоившийся коммунист — не коммунист. Нужна постоянная мобилизация сил. Нужно уметь выполнять невозможное — только тогда победа будет обеспечена. А родина вашей работы не забудет.

Рыжов. В этом мы сегодня убедились на п-примере товарища генерала...

Малин (покосившись на Рыжова). Пример этот должен вдохновлять вас всех. Преданная и честная работа товарища Скопина не осталась не отмеченной — каждый будет награждён, кто будет предан родине и работать, как требует партия. Работы у вас хватает: вы находитесь в Берлине, рядом с представителями нашего коварнейшего врага, американского империализма и его подголосков, англичан и французов. В этих условиях нужна бдительность, бдительность и ещё раз бдительность. Победит не тот, кто сильнее физически, а кто будет осторожен и напорист одновременно, кто умеет трезво учитывать обстоятельства и обращать их в свою пользу, — тот, у кого окажутся крепче нервы. Бдительность, и с п о л з о

вание условий — вот наше оружие. С ним мы победим и без атомных бомб.

Пауза. Среди молчания вдруг всхрипывает Татьяна Фёдоровна, задремавшая у перил.

Лена. Мапочка! (Шепчет ей что-то на ухо).

Т. Ф. (громким шёпотом). Кто заснул? Тебе померещилось?...

Малин (вынимая часы). Однако, пора по домам. Половина второго, а завтра работа. (Пытается пошутить). Будем брать пример с товарища Сталина, самого точного в работе человека.

Поворачивается, медленно идёт к дверям, за ним, тихо переговариваясь, гурьбой уходят остальные. На веранде остаются Николай и Лунев.

Николай. Видал? Чучело, а в него вставлен граммофон, с одной единственной пластинкой: бдительность, коммунизм, работа! И заметь, какая чушь: служи родине, а подчиняйся партии! С капиталистами можно жить, но они враги и эксплуататоры и их нужно уничтожить. Чортова диалектика!

Лунев (ероша волосы). Да, вслушаться если, то чорт в ступе и сапоги всмятку, так ловко всё спутано, что не разберёшь, что к чему... Но вслушиваться как раз и не следует: понимай главное...

Николай (перебивает). А главное одно: подчиняйся и дави других. Жми изо всех сил, влезай в коммунизм и никаких! А на какого он дьявола, спрашивается?

Лунев (зевая). А ты знаешь вообще, что тебе нужно?

Николай. Жить по-человечески, вот, что мне нужно! Бдительность, хитрость, насилие — так волки живут. Волчий закон, это наше «гениальное учение»!

Лунев. О гениальном потише!

Николай (раздраженно машет рукой). А, всё равно!

На веранду выходят генерал Скопин, майор Морозов, потом Лена.

Морозов. Ну, позволь, старый друг, тебя наедине поздравить! Сборище разошлось, теперь можно и без официальщины. (Обнимает Скопина, целует). Поздравляю, друг, от души. Только не зазнайся: ты теперь персона!

Скопин (растроганно). Спасибо, дорогой, спасибо. Какая я персона! Каким был, таким и останусь: на старости, говорится самое, не переделываются. Я, знаешь, никак не ожидал...

Морозов. Чего ж не ожидал? Заслужил, на все сто. Кто-кто, а ты ещё за свои военные успехи должен был Героя получить. Нечего скромничать: заслужил.

Садятся у стола в кресла, к ним подходит молодежь.

Лунев. А раз заслуженно, по этому случаю надо выпить, так сказать, в узком кругу. Это мы сейчас...

Уходит в комнату, потом возвращается с бутылкой шампанского и с бокалами.

Скопин (Морозову). Ты говоришь: за военные успехи. На войне, я тебе скажу, как-то легче было. Знал, говорится самое, общую цель — и шёл к ней. Сейчас оно сложнее...

Николай. Потому что тогда ясно было: вот враг и его надо свалить. А теперь? Кто твой враг?

Скопин (покосившись на сына). Ты полегче. Враг, не враг, говорится самое, не в этом дело.

Морозов. Я тебя понимаю, Илья Ильич, вполне понимаю. Тогда только в одну сторону надо было смотреть, а теперь по всем оглядываться. Что же сделаешь...

Скопин. А то, что чувствую я: не гожусь больше. На покой пора, Антон Петрович, на покой. Отработался, говорится самое, на седьмой десяток перевалило. Можно было бы, я сейчас бы в отставку подал и куда-нибудь в деревню, рыбку ловить, в огороде копать. Хватит с меня, пусть вон (кивнув на Николая) молодежь в строй вступает.

Лена (подходит к отцу и обнимает). Какой же ты старик? Ты у нас Герой, а не старик.

Морозов (отставляя выпитый бокал). Об отдыхе, Илья Ильич, забудь думать: в могиле отдохнем. Не в то время родились. Слышал, что Малин говорил? До последнего дыхания.

Лена. Не нравится мне ваш товарищ Малин. Какой-то надутый и всё одни важности разводит. (Передразнивает). Бдительность, товарищи! Ду-ду-ду!

Все смеются.

Морозов. Если бы мы могли, Леночка, только тем подчиняться, кто нам нравится! Нравится, не нравится, а выполняй. (Вставая). Ну, я пошёл. Будь здоров, Илья Ильич, ещё раз, от души. (Прощается со всеми; Луневу): Проводишь меня, лётчик!

Выходят вдвоём, Лунев скоро возвращается.

Николай. Нравится, не нравится, а вези тачку, как каторжник...

Скопин (рассердившись). Ты, Николай, говорится самое, брось дудеть! Ты мне праздника не порть!

Лена. И в самом деле, ты всегда, Николаша, раскрипишься не во-время! Тоже, как Малин: ду-ду-ду!

Скопин. А главное, никакого смысла в твоём скрипении нету. Скрипи, а толк какой? Выше годовы не прыгнешь, а дело наше военное: выполняй, что приказано. А думать, по-

чему, отчего — для этого повыше нас люди есть...

Возвращается Лунев, по дороге гасит свет в комнате, на веранде остается только настольная лампа и свет луны. Лунев присаживается около Лены и смотрит на Скопина. Скопин сидит, вытянув ноги, откинув голову на спинку кресла, глаза его полужакрыты.

Скопин. Нет, дети, исполняй честно, что приказывают, работай добросовестно, вот и вся философия. А жизнь сама наладит, выправит, что не так, всё разложит по своим полочкам, когда надо будет. А у тебя совесть покойна: всё сделал, что мог. Мне себя упрекать не в чем, как мог, честно прожил. Жизнь — она длинная чего только в ней не было! А всё старался так, говорится самое, чтобы подлецом не быть. Как это? Жизнь прожить...

Лунев. Не поле перейти...

Скопин. Вот я своё поле и перешёл, дай Бог всякому. Есть, что вспомнить...

Лена (шутливо). Патка сегодня в лиризм ударился, расчувствовался.

Скопин (ворчит шутливо). А что ж, мне и расчувствоваться нельзя? Что я, говорится самое, машина? Эх, ребятки! Дайте старику и поблагодумствовать немного, заслужил, будто. Эх, ребятки, ребятки... (Пауза. Голова старика свешивается на грудь, он дремлет. Лена грозит пальцем, чтобы не мешали ему).

Занавес.

Картина II

Кабинет майора Морозова. Большой письменный стол с телефонами и диктофонной установкой. Двери в глубине сцены и слева. Справа — столик Веры, тоже с телефонными аппаратами. В них то и дело вспыхивают сигнальные лампочки-звонки.

Вера (в трубку). Майор будет через десять-пятнадцать минут. Да, да... Доложу. (В другую трубку). Товарища Малина? Звоните его секретарю. Да, Симонову. Добавочный 32. (Громко) 32! (Берётся за какие-то бумаги. Снова звонок). Звоните добавочный 32. Да, секретарю...

Входит Рыжов с папкой подмышкой.

Рыжов. Где м-майор? (Вера, не отвечая, что-то записывает). Верка, где майор?

Вера (оборачиваясь). Допустим, что — по имени, товарищ лейтенант госбезопасности. Но тогда — Вера! Прошу запомнить.

Рыжов. Но-но, институтские фокусы! Мне, понимаешь, некогда. У меня там двое в-выстаивают. Допрашиваю.

Рыжов (оглядывая ее). Верка! З-занада! Что это ты сегодня такой герцогиней недорезанной? «Отойди — не гляди» — и тому подобное?

Вера. Рыжов, очень прошу: эти словечки побереги для своей любовницы. Я тебе, кажется, не давала повода...

Рыжов (перебивая). Не давала... Н-да! Но, между прочим, один вечерок гульнули мы с тобой красиво! На 1-ое мая, помнишь? Было раз...

Вера. Первый и последний!

Рыжов. Но-но! Первый и последний! Ишь ты, бритва. А красива ты, Верка, чорт тебя распуши. Ладно, не ершишься. Я, понимаешь, в возбуждении...

Вера (смотрит на него). И не слишком пьян. К ордену, что ли, представили?

Рыжов. Не представили, но представляют. Будьте уверочки. Рассчитал! Вот тут (похлопывает по папке), понимаешь, штука одна. Две ночи сидел.

Вера. И — высидел?

Рыжов. Смейся, смейся. Потом ахнешь! Я знаю: по-твоему, Рыжов — пьяница. А Рыжов пьёт, но, понимаешь, бдительности не теряет... Перебрал давеча, а прицела не смазал! Б-бац-бац-бац! Четыре в контрольном! И всё — зафиксировано!

Вера (заинтересованно). Это когда же давеча?

Рыжов. А вот п-позавчера, у Скопиных.

Вера. И что же у тебя «зафиксировано»?

Рыжов. Ага, заело? — Что надо. Что надо, то и зафиксировано. Весь хмель разом — к чортовой бабушке! Вижу: фундамент подвести — такая масштабная штука получается, заглянуть — фуражка соскочит!

Вера. Расскажи-ка подробнее!

Рыжов. Но-но!.. Какая, понимаешь, инстанция. Докладывай ей.

Вера (подходит ближе, берёт его за руку). Расскажи, Рыжов, я хочу...

Рыжов (ухмыляясь). Хочешь, так... Ну, ну, не ершишься... В общем и целом... (делает таинственное лицо; кладёт папку на стол к Морозову и тянется к Вере; полушопотом): З-заговор!

Вера. Головой ручаюсь, что вздор!

Рыжов. Поручись чем другим — и давай об заклад побьёмся. Не хочешь? То-то же... Тут, понимаешь, не вздор, а... в общем увидишь, когда оперативно оформится. Чисто сработано! Как стенограмма!

Хочет обнять Веру, она увёртывается и берёт папку со стола, раскрывает.

Вера. А ну, посмотрю твою стенограмму...

Рыжов. Но-но... нельзя ли без чудес! Давай-ка сюда!

Вера (бегло просматривая бумагу в папке). О!

Рыжов. Не дури, говорю! (Обхватывает ее сзади, пытается вырвать папку).

Вера (прижимая папку к груди). Пустит!

Рыжов. Отдай — отпущу.

Вера. Убери руки!.. Куда ты...!

Рыжов (обнимает её всё предприимчивее, тяжело дышит). С-сама набиваешься... Эх, Верка! Пошли бы сегодня ко мне. Из кино... А? П-пойдешь! Тогда — уж читай, ладно, чорт с тобой...

Вера. П-пусти! (Вырывается, оставив папку в руках Рыжова). Хам!

Рыжов. Но-но!

Входит майор.

Морозов. Что у вас тут? Рыжов?

Рыжов. Экстренное к докладу, товарищ майор. Разрешите?

Морозов. Гм... Экстренное? (Садится. Смотрит на Веру, она уходит). Ну, выкладывай.

Рыжов. Я хотел в п-письменном виде. Д-докладную. (Протягивает донесение).

Морозов. Давай в письменном. Что это у тебя? (Читает. Кончив, поднимает на Рыжова глаза). Если я не ошибаюсь, ты был позавчера пьян, как стелька?

Рыжов. Товарищ майор, я слышал всё, собственными ушами.

Морозов. Что же именно?

Рыжов. Им-менно, что здесь написано. Капитан Скопин прямо говорил: необходимо с-свергнуть режим. П-пустить под откос. (Всё увереннее) Для этого уже создана организация во главе с генералом Скопиным. А капитан Скопин его непосредственный помощник и вербует членов. Капитан Скопин предложил вступить в организацию капитану Луневу и Лунев с-согласился. Ему поручено с-создать ячейку в авиаполку. Видимо, сеть развёртывается уже широко. Организация рассчитывает на поддержку англо-американцев, связь с которыми — через англичанина Спиллета. В общем мне удалось установить принадлежность к организации уже десяти лиц. Я прошу поручить мне довести дело до конца. Генерал Скопин...

Морозов. Генерал Скопин, по указанию лично товарища Сталина, награждён званием Героя... Ты забыл об этом?

Рыжов. Насколько я знаю, товарищ Малин обнаружил крупные недочёты в работе генерала Скопина.

Морозов. Это дело товарища Малина. А ты... А вы, лейтенант, я полагаю, зарвались. Высоко скакнули! Понимаю и вижу насквозь: орден хотите заработать? (Показывает на докладную). Этой вот штукой? Она бельми нитками шита, ваша филькина грамота! Кто ей поверит!

Рыжов. Я п-прошу...

Морозов (перебивая). Вы чем сейчас заняты?

Рыжов. Д-допросом. Два немца по делу НТС. Насчёт листовок...

Морозов. И продолжайте, что вам поручено. Может, больше успеха будете иметь. А это — проверю сам. Можете идти.

Рыжов. Но, товарищ майор...

Входит Малин, подходит к столу.

Малин. Мне нужны сведения по второму отделу. (Как бы машинально берёт со стола донесение Рыжова и читает. В паузе — сигналы и приглушенные звонки за столиком Веры. Просмотрев донесение, кладет его на стол. Морозов бе-

рёт трубку телефона). Нет, лучше сходите сами, посмотрите, чтобы не напутали.

Морозов выходит. Малин садится на его место и снова проглядывает докладную. Затем пристально смотрит на Рыжова:

Это вы — Рыжов?

Рыжов. Так точно, товарищ Малин.

Малин (кивая на бумагу). Что ж, сами слышали?

Рыжов. С-собственными ушами!

Малин. Не понимаю. Генерал Скопин и прочие, о ком пишете, работают в Берлине с конца войны, и до сих пор никому из вас в голову не приходило, чтобы они могли такими делами заниматься. А теперь вдруг — на тебе, что обнаруживается! Ничего себе оперативность! Ничего себе бдительность! А?

Рыжов смотрит растерянно.

И вы, стало быть, утверждаете, что это всё серьезно?

Рыжов. По-моему... По-моему — серьезно!

Малин. А по фактам? (Пауза). Как отнесся к вашему донесению товарищ Морозов?

Рыжов. Он... Товарищ Малин, майор Морозов в очень хороших отношениях с генералом Скопиным.

Малин. Гм... Вы хотите сказать, что майор Морозов этой вашей докладной не даст ходу?

Рыжов неуверенно молчит.

Малин. Не притормаживайте, отвечайте прямо.

Рыжов. Майор с генералом старые друзья.

Малин. Повторяетесь! (Пауза). Ну, вот что: рассуждения ваши мне не интересны. Факты — другое дело. Продолжайте разработку, но — на фактах. Чтобы все было увязано, согласовано, обосновано и — без швов. Понятно? У вас копия донесения есть? Пройдете сейчас к Симонову, моему секретарю. Отдайте копию ему. О

дальнейшем будете докладывать тоже ему непосредственно. Но помните: чистота и темпы, темпы! Понятно?

Рыжов. Так точно, товарищ Малин, будет выполнено. Разрешите идти?

Малин. Идите. (Рыжов уходит. Малин берёт трубку телефона). Симонов? Это я. Ты один? Ладно. Я послал к тебе человека. Возьми у него донесение, ознакомься, ориентируйся и займись. Что? Да, и им тоже. Что? Нет, звёзд с неба не хватает, но может быть полезен. Увидишь сам. Обдумай. Может быть, это как раз выход из той ситуации, о которой мы говорили. Да, да, в смысле замены. Может, в этом направлении и провернём дело. В общем, повторяю, увидишь сам. Что? Если нужно, перед этим не остановимся. Помозгуй хорошенько, и если найдёшь стоящим — двигай! Заказал ты разговор по прямому, с Москвой? Что? В понедельник не выйдет? Тогда во вторник. Конечно, если можно, с хозяином. Да, да. Всё. Пока!

Входит Морозов.

Морозов. Сведения, которые приказывали...

Малин. Хорошо. В порядке. (Пауза). Что у вас за работник Рыжов?

Морозов. Не лучше и не хуже других. Посредственный. Недостаточно выдержан в смысле алкоголя.

Малин (показывая на донесение). Но с инициативой?

Морозов. К сожалению, в области фантазии.

Малин. Способность к фантазии у среднего работника — уже не плохо. Тем более, если фантазия похожа на реальность... (Снова проглядывает донесение). Каково ваше мнение по этому делу?

Морозов. Выдуманно от начала до конца. Вряд ли есть и четверть слова правды. Генерала Скопина и его семью я знаю лично очень хорошо.

Малин. Знаете? И вы полагаете, что это «знаю» истощает полностью обстоятельства?

Морозов. Полагаю — да.

Малин. Очень жаль. Настоящий коммунист, тем более работник госбезопасности, не вправе мыслить такими категориями. «Я знаю подозреваемого и потому мне кажется, что подозрение неосновательно». Я, например, тоже знаю Скопина, но я знаю и другое: знаю силу растленного влияния капиталистического окружения, знаю наши задачи — суровые задачи партийной бдительности, государственной целесообразности. И в свете этих задач всякие обывательские масштабы — самоуспокоение, дружеские отношения — следует спрятать в карман.

Морозов. Дружбу партийная этика не отвергает.

Малин. Да, поскольку дружба не вступает в противоречие с другими, более высокими категориями. . . Я вижу, вы не торопитесь меня понять. Это совпадает с прочими моими наблюдениями. Должен вам сказать, что в вашем стиле работы здесь я уже отметил некоторые, так сказать, нежелательные. . . ну, что ли, рефлексy. В чём дело? В войну вы работали иначе.

Морозов. Я не знаю, что вы имеете в виду. Но в войну были другие условия. Была боевая обстановка. Меня перебросили на эту работу недавно и я уже подавал рапорт, чтобы меня опять откомандировали в политотдел армии.

Малин. Коммунист работает там, куда его посылает партия. Военные условия! Они продолжаются. Они будут продолжаться, пока мы не победим во всём мире. Боевая обстановка! Если на фронте вам доносила разведка, что противник минирует поле вашей возможной атаки — вы проверяли донесение, пусть даже оно казалось вам фантастическим. Здесь — тоже фронт, и тоже не место эмоциям. Фантазия! Фантазия и реальность могут в иных случаях взаимно проникать друг в друга. Если это не-

обходимо для достижения цели. Если это целе-со-об-разно! Трезвость, жесткость в оценке и использовании средств. Сознание большевистского долга, а не рефлексy! Да! Плохо, если вы мыслите по-другому. Возьмите себя в руки. Почувствуйте себя снова на войне.

Морозов. Стараюсь. Но это не легко: не воевать, а чувствовать себя, как на войне.

Малин. Не видите врага? Но какой же вы после этого. . .

Стук в дверь. Входит Вера.

Вера. Товарищ майор, англичанин Спиллет просит принять.

Малин (отвечая на вопросительный взгляд Морозова). Пусть войдёт. И вовремя и не во-время.

Входит Спиллет

Спиллет. О, это отлично, и товарищ Малин! Здравствуйте! Если так, возможно мне, товарищ Морозов, жаловаться на вас? (К Малину) Вы имеете такого строгого начальника безопасности, что я никак не могу получить визу в Москву! Хлопотал уже месяц — и ничего не выходит!

Малин. Ужасно! А вы собираетесь в Москву? Садитесь, прошу вас.

Спиллет. Обязательно в Москву! Куда может в наше время устремляться прогрессивный человек, когда не в Москву. Все дороги ведут в Москву.

Малин. Все дороги ведут к коммунизму, сказал товарищ Молотов.

Спиллет. А Москва — Мекка коммунизма. Поэтому я и собираюсь. А товарищ Морозов никак не хочет меня пускать!

Малин. Наша Госбезопасность — самое бюрократическое учреждение. С ним только свяжись. В каждом подозревают шпиона.

Спиллет. Это я могу понимать. Но в чём можно запозревать меня, если я — с открытым сердцем и навсегда?

Малин. И что же вы намереваетесь делать в Москве?

Спиллет. Работать над строительством новой жизни...

Малин. Гм... Но, знаете, вы принесли бы больше пользы для новой жизни, если бы поехали, скажем, к себе в Англию, или в Америку. Там о нас много клеветают, — вы могли бы работать по разоблачению. А? А в Москву потом съездите, с какой-нибудь организацией, это вам ничего не будет стоить.

Спиллет. О, вернуться на Запад? Нет, не могу! Я там задыхаюсь. Нет! Мне нужно чистый воздух, высокое небо... И... и я сегодня дал письмо, в прессу, о том, что я разрывал с западным миром совсем. Хотите смотреть? (Достает из кармана газету и протягивает Малину. Малин просмотрел, возвратил).

Малин. Ну, что ж с вами поделаться, если вы такой несговорчивый. Придётся дать товарищу Спиллету визу, а? Как вы полагаете, товарищ Морозов?

Морозов. Если вы разрешаете...

Малин. Ничего кроме не остаётся. Распорядитесь.

Спиллет. О, я вам благодарен! Не буду ещё мешать! (Прощается с обоими и бежит к двери, помахивая газетой; шутливо кричит): Да здравствует товарищ Сталин!

Малин. Восторженный свистун! Визы не давать, разумеется. (Собирает принесённые Морозовым бумаги, встаёт). А вам советую серьёзно подумать, годитесь ли вы быть коммунистом. С такими гм... рефлексам, как у вас, вы не подходите даже для руководства колхозом.

Малин уходит. Морозов медленно обходит вокруг стола, садится на стул и опускает голову на руки. Входит Вера, занимает своё место, задумывается. Сигналы в телефонных аппаратах.

Вера (не сразу беря трубку). Товарища Малина? Он ушёл. Добавочный 32. (Пауза).

Морозов (поднимая голову). Вера!

Вера. Я вас слушаю, товарищ майор.

Морозов. Н-да... Передала ты телефонограмму 055? Впрочем — к дьяволу телефонограмму!... (Встаёт). Вера! Какие у вас... какие у тебя отношения с Рыжовым?

Вера. Товарищ майор!

Морозов. Не обижайся, Вера. Я полагаю, ты чувствуешь: спрашиваю не как начальник, а как старший товарищ. Так, в некоторых соображениях, для проверки кое-каких наблюдений. Значит, ответь, если можешь.

Вера. Отношения самые обыкновенные. Служебное знакомство. Кроме этого — ничего... с обеих сторон.

Морозов. Ну, с его-то стороны есть и кроме. Не обобщай. А вот с твоей?

Вера. Я уже сказала.

Морозов. Это точно?

Вера. Совершенно точно, товарищ майор.

Морозов. Ну, и в порядке. Спасибо. Я и сам так полагал. После праздника у Скопиных. В общем — точка! Значит телефонограмму отправил?

Вера. Отправила, товарищ майор.

Морозов. В порядке.

Снова садится за стол; барабанив пальцами, напевает отрывочно:

Россия вольная,
Страна прекрасная,
Та-рам-та-та...

Вера (за своими аппаратами). Добавочный 32? Да, это к товарищу Малину. Коммутатор... Слушаю, 0-2. Слушаю. (Резко меняя выражение, негромко): Ах, это вы? Да... Спасибо. Что? Нет, я, конечно, помню, но, видите ли, Николай Ильич... Нет, не заезжайте! Нет! Потому что я задержусь, может быть... Нет, я буду непременно. И я... Алло, алло! (Вешает трубку, поднимается возбуждённо, снова садится).

Морозов (продолжая выстукивать пальцами о стол):

Советский край,
Та-рам-та-та-та...

Вера (подходит к Морозову, неуверенно). Товарищ майор... разрешите мне тоже один вопрос. Не по службе. Тоже — частного характера.

Морозов. Ну, слушаю.

Вера (всё также нерешительно). Товарищ майор... Генерал Скопин... он ваш близкий друг, товарищ майор. Вы ведь... Вы сообщите ему о том, что случилось? Предупредите?

Морозов (смотрит на нее несколько растерянно, затем чуть приподнимается на стуле): Товарищ сержант Госбезопасности! Продолжайте заниматься вашими непосредственными обязанностями!

Вера. Слушаюсь, товарищ майор. (Идёт к своему столу. Пауза. Вспыхивают сигнальные лампочки). Да, 0-2. Майора Морозова? (Оборачивается) Това...

Морозов (с места). Его нет, вышел.

Вера (в трубку). Товарищ Морозов вышел. Товарища Малина? Звоните добавочный 32. (Пауза).

Морозов. Вера! (Вера не оборачивается). Вера, подойди-ка сюда! (Вера подходит). Не обижайся, Вера, что оборвал... Чортова завируха. Такой переплёт... Ты откуда вообще — в курсе?

Вера. Намекнул Рыжов. И я... видала эту его докладную.

Морозов. Ну — и?

Вера (горячо). Вздор! Клевета!

Морозов. Вздор! Клевета! А ты понимаешь ли, чем эта клевета оборачивается? Если попадет к моменту, если не бросят в мусорный ящик? Рыжова направили к Симонову, я видел. Понимаешь, что это значит? Я полагаю, ты понимаешь, ты умница... (Достаёт папиросу, отстукивает её, закуривает, тон его становится простым, домашним). Так ты и меня пойми. Предупредить, говоришь? Предупредить друга, что, может, прикажут мне на днях угробить его вместе со всем его семейством. Заметь: Морозов — член партии, майор Государственной безопасности не имеет права на дружбу. Что из того, что он в друге уверен, знает его, как самого себя? Он дол-

жен руководствоваться более высокими соображениями — соображениями высшей целесообразности. Да! А не... эмоциями. А если майор Государственной безопасности поддастся... рефлексам — ему придется испытать технику этой самой безопасности на собственной шкуре. Да чорт! Не в этом дело! Предупредить! Оглушить людей, сна лишить и покоя. А дальше что? Дело теперь не на этом столе решаться станет. Меня фактически отвели... (Встаёт, доходит до угла комнаты, садится снова). Дьявол его знает! Может, и приглушат. Не найдут достаточно «высшей целесообразности». А если — нет? Как узнать? Как помочь? Сие, как говорится, от меня не зависит. (Затягивается несколько раз крыду, тушит папиросу). Ну, что скажешь?

Вера. Очень сложно, товарищ майор. Я понимаю.

Морозов. То-то вот, понимаю. А понимаешь, так не горячись. Не суди сналёта. (На верином столике — телефонные сигналы). У тебя телефон там...

Вера (обдумывая что-то, волнуясь). Товарищ майор, я не знаю, но... я...

Морозов. Давай, давай, выкладывай.

Вера. Я попытаюсь... Это мне очень, очень трудно, но попытаюсь быть в курсе... В курсе того, что предпримут там (живком показывает на внутренние комнаты). Словом, если удастся, тогда я... Тогда мы будем иметь информацию.

Морозов (очень серьёзно). Думаешь?

Вера. Я попробую.

Морозов (смотрит на неё внимательно, встаёт со стула). Дай руку, Вера. Славная ты. Привязался я к тебе, как к дочери. Верю. Потому и разговариваю не ко времени и не по месту. Н-да... Трудно бывает человеку в этом мундире, Вера! Н-да... В общем — у тебя звонят там.

Вера (идёт к телефонам, берёт трубку, не сядя) 0-2. Товарища Малина? Добавочный 32. Да, звоните добавочный 32.

Морозов (с места). Вера! Он что сейчас — на допросе, Рыжов? В каком номере?

Вера. В четвёртом.

Морозов. Вызову. Не образумить, так выяснить кое-что. Ты выйди-ка на минутку. В каком, говоришь? В четвёртом?

Вера (останавливаясь у двери). Был там.

Морозов нажимает кнопку диктофона. Оттуда доносятся сначала отрывочные фразы; затем неожиданно вырывается отчаянный, нечеловеческий крик страдания. Крик пронизывает, заполняет собой сцену, зал: О-о-а-а-а-а!

Вера (прижимая руки к груди). Бьёт!!

Занавес.

Картина III

Парк в загородной вилле над озером. Солнечная полянка среди деревьев. Справа, у ската, беседка. Крутизна позволяет видеть лишь дальнюю перспективу озера, скрывая пляж. На полянке — большой самовар, корзины с продовольствием и вином, два складных стула. В беседке поблескивает скатертью и приборами накрытый стол. Фёдор раздувает самовар. Татьяна Федоровна сидит в тени на складном стуле.

Татьяна Фёдоровна (смотря на часы) Не горит, Федя?

Фёдор. Что ж, без трубы-то, разве ж потянет. Я Елене Ильиничне доказывал. Нет, говорит, хочу, чтоб самовар. Обязательно.

Т. Ф. А сама убежала. Вот бы её и заставить раздувать. (Встаёт, подходит к самовару, пробует рукой). Чуть тёплый. . .

Фёдор. А с чего ему горячень? Дую, дую — и звуку нет. Хоть бы пискнул. Как вроде тебе корова: не мычит, не телится.

Т. Ф. Кричали: «пикник, пикник» — и все разошлись. Куда генерал-то пошёл, в какую сторону? Ты не приметил, Федя?

Фёдор (показывает рукой). За парк они с майором подались. В лес, надо полагать.

Т. Ф. Чудно как-то. Всё готово, накрыто. . .

Фёдор. Вот капитан Лунев идут. С оркестром.

За сценой слышна музыка. На полянке появляется Лунев с маленьким цветным радиоприемником в руках, похожим на дамскую сумочку. Сумочка наигрывает какой-то развесёлый марш.

Лунев. Татьяне Фёдоровне привет! Здорово, Фёдор! Вот-те на! Летел, как пикировал: думал, опоздаю, всё выпьют, а тут. . . Перенесли время, что ли?

Т. Ф. Ничего не перенесли, а разошлись, кто куда. Будней, видишь ты, мало им. На пикник приехали — и тут о делах разговор!

Лунев. А Лена?

Т. Ф. Плавает там, с девчонками. Что ж ей, одной-то. . .

Лунев. Ну, а Николай? Вера?

Т. Ф. Николай со вчерашнего, как из кино пришёл, словно не в себе. Сказал — опоздает. . . Да заглуши ты свою шарманку-то. Говорить ведь нельзя.

Лунев (приглушив аппарат). Подарок Леночке. Специально — для танцев на чистом воздухе.

Т. Ф. Ну вот и танцуй один, хоть в присядку. Либо — с Фёдором.

Лунев. А высокие-то начальники? Пожалуют?

Т. Ф. Товарищ Малин вчера звонил, что занят. (К Фёдору). Говоришь, в лес пошли? Пойду, пошукаю. (Оборачиваясь) Вино-то надо бы в тень поставить — согреется.

Фёдор. Есть, поставить в тень.

Лунев. Хорошо бы — в воду.

Т. Ф. Вот и распорядись, это по твоей части. (Уходит).

Лунев (ерошит волосы). Чепуха какая-то получается. (Берётся за корзину). Здесь, что ли, водка? А ведёрко у тебя есть, Фёдор?

Фёдор. Захватил, товарищ капитан.

Лунев (вытаскивает из корзинки бутылку). Мотай за водой, плавать пустим. (Разглядывает этикетку): Д-жин! Этой марки давненько не видывал. Вспомним! Стакан, Фёдор! (Фёдор по-

дает стакан, Лунев наливает, пьёт). Неплохо! Давай-ка ещё посудину, плесну тебе (Фёдор проворно вынимает из кармана манерку). Ого! У тебя приспособление объёмное.

Фёдор. Точно три глотка (Пьёт). Покорно благодарю, товарищ капитан. Побёт! (Погромыхая ведром) Заодно шишек прихвачу.

Лунев. Шишек?

Фёдор. Для самовара. Не горит без трубы, лахудра!..

Лунев берет со стола в беседке какую-то закуску на тарелочке, садится на ступеньках, ставит рядом бутылку, повыше — радио. Пьёт и закусывает.

Из-за кустов за его спиной показывается Лена, в купальном костюме, с камышиной в руках. Осматривается, увидев Лунева, подкрадывается и щекочет его камышиной у воротника.

Лунев (вскакивая). Лена! (бросается к ней, чтобы обнять).

Лена. Нет, нет, без объятий, пожалуйста! (Отбегает за беседку).

Лунев. Опять — без объятий? На этот раз мяться ведь нечему?

Лена. Вот именно, поэтому. Хорош! Его ждут, а он здесь закусывает!

Лунев. Заправиться решил. Голодный! — как пёс! А ты что подкрадываешься? Я аж вздрогнул.

Лена. Гимнастика и водные процедуры, товарищ капитан. От нервности. Понимаешь: я боялась, что мистер Спиллет здесь. Он обещал сегодня за мной заехать. С лошастью. Верхами чтоб — на пикник. А я не дождалась его. Надула. (Прислушивается). Где это музыка?

Лунев. А вот подруливай ко мне, покажу.

Лена. Только — уговор: руки по команде смирно. (Выходит из-за беседки). Ну?

Лунев. Садись сюда, рядом, на ступеньку. (Лена садится, он пускает радио громче).

Лена. Ах, нет! (Рассматривает приёмник). Какой симпатичный! Малосенький. И без антенны, безо всего? Нет, какая прелесть!

Лунев (довольно). Нравится тебе? (Поднимается, берёт аппарат) Позвольте, Елена Ильинична, преподнести вам... свадебный подарок! (Шутливо расшаркивается, передаёт ей радио).

Лена. Нет, в самом деле, это — мне? (Порывисто обнимает и целует Лунева, затем отталкивает его и снова садится). Какой ты милый... (Шутливо): Но, между прочим, товарищ капитан, чью это свадьбу имеете вы в виду?

Лунев. Лётчика Сергея Лунева и студентки педагогического имени Ленина института Елены Скопиной! (Пауза) В самом деле, отвечай, несчастная, когда мы поженимся? Долго ещё мне в монахах ходить?

Лена. Ничего себе монах! А ты знаешь, между прочим: женихом ты гораздо интереснее. Смотри: выбрит, подтянут, прямо — хоть в «Огонёк»... А женишься — и будешь дома ходить распустёшкой. Гляди тогда на тебя, зевающего. По мне — оставайся ещё лет десять женихом.

Лунев (комически разводя руками). Вот оно как! О женщины! — сказал Шекспир. И он был прав!

Лена. Шекспир, по-моему, как-то иначе сказал.

Лунев (другим тоном). Нет, Леноч, верно, без шуток: до каких пор? А?

Лена (гладит его по голове). Серёженька! Ведь говорено-переговорено. Ты же знаешь... Через неделю в Москву. Не бросать же институт, надо же кончить. Ещё 8, ну — 10 месяцев. Мы и не заметим, как зима пройдёт.

Лунев. 10 месяцев! В какое время живём, ты сообрази! Тут не то, что через десять месяцев — через десять дней такое может завариться... Да и что ещё получится, когда институт кончишь. Махнут тебя на три года к чорту на кулички, только тебя и видели...

Лена. Откручусь как-нибудь. Папа поможет. И потом: ты знаешь, я хотела в консерваторию держать. 10 месяцев — и тогда...

Лунев. 10 месяцев! Эх, Лена! Не знаешь ты нашей жизни. Казарма, собрания, политучёба. Придумывают, чем день заткнуть... Или режешь где-нибудь на две тысячи метров — и так тебе вдруг одиноко делается, муторно. Полёты, задания, а что — для себя? Иной раз думаешь: как бы я с этими заданиями собственного-то счастья не пролетал! Один раз живём! Верное слово! Женились бы теперь, — ну, тогда дело другое. И в казарме, и в воздухе. Горючего не хватило — трын трава! Нет бензину — на соплях веду машину!

Лена. Сергей!

Лунев. Ей Богу! Тогда и застопорит — не пропадёшь. Есть ориентир! Знаешь: в Москве живет у тебя жёнушка. Собственная, твоя...

Лена. Жажда собственности! Явное влияние Запада. Перечитайте, товарищи капитан, наново «Вопросы ленинизма».

Лунев. Причём тут «Вопросы ленинизма»? Один раз живём!

Лена. Вот именно потому, что один раз живём, и надо устроить свою жизнь попрочнее, поуютнее, не поцыгански... Семейную жизнь, я хочу сказать. Знаешь, мы этой весной, после экзаменов, очень много о счастье дискутировали. Я и другие еще студентки, из института... И говорили, между прочим, что очень уж у нас сейчас на проблему личного счастья нагрузка большая. Общественные интересы, комсомольский долг и прочее... Для моего собственного, понимаешь? — личного хотенья, для того, что по сердцу, — ничего не остаётся. То есть оно остаётся, но этого никто не хочет признавать... Вот и проблема семьи. Разве она не заслуживает, чтобы её самое по себе учили? Понимаешь? А если я против этой теории, будто и семейное счастье надо преломлять через... ну, там обществен-

ный долг и тому подобное, как это у нас принято говорить. Скажем, муж в Берлине, жена во Владивостоке, оба выполняют долг и оба счастливы. Эта теория...

Лунев (перебивая) Пстой! (вынимает из кармана записную книжку, читает) «Суша, мой друг, любая теория, но вечно зелено древо жизни», — сказал Гейне.

Лена (весело). Сереженька! Да какой ты у меня «вумный» стал! Гейне цитирует!

Лунев. В календаре нашёл. (Мрачно). С тоски не только за календарь схватиться...

На полянку входит Фёдор с ведром.

Лена. А, Федя! Это ты что, для самовара?

Фёдор. Никак нет. Вино холодит.

Лена. Да? Ты знаешь, Сергей, я бы вышла чего-нибудь лёгкого. Очень во рту высохло. (Переводит радио на новую волну — оно играет что-то грустное. Лунев достает бутылку, стакан). Ты, Федя, поглядывай за оградой. Если мистер Спиллет верхом подъедет, нас предупреди.

Фёдор. Есть предупредить насчёт Скелета.

Лена (смеясь). Слышишь, Сергей, как Фёдор его называет.

Лунев. Правильно называет. Чтой-то он к тебе больно липнет, этот сын Альбиона. Вызову вот на дуэль и прихлопну кирпичом.

Лена. Ах, что ты! Ведь он — вроде блаженного...

Лунев. Блажного, ты хочешь сказать?

Лена. Нет, нет. Мне его иногда так жалко! Чувствую, что он человек честный, порядочный, идеалист. И ничего-то, бедный, не понимает. Не дурак, а вот, просто, не понимает. Неужто все там у них такие?

Лунев (даёт ей стакан с вином). Не понимает — значит дурак. Шарик за бобики в мозгу заходят. На, пей!

Лена. Ой, много!.. Отпей половину. Вот теперь в самый раз (Пьёт). Нет, он не дурак, а только... легковойный очень... Вкусно!

Лунев. Ещё?

Лена. Хорошо. И опять пополам (пьют поочередно).

«Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не потлядим в окне.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовью одною...»

— Очень люблю Ахматову!

Лунев. Нечего сказать — комсомолка!

Лена. А почему, если комсомолка, так и не любить Ахматову? У неё всё — такое доходчивое, от сердца. Почему надо любить обязательно всё трескучее, на ходулях, что пишут у нас? Надоели ходули!

Лунев. Надоели, Ленок. Выпьём за настоящее. Без ходуль! (Пьют. Отставив стакан и бутылку): Точка! А теперь объясни ты мне, что тут происходит? Лопнул, что ли, пикник? Николай где?

Лена. Я сама не в курсе. И предлагаю пойти ещё поплавать. Пока все заявятся. Кстати, когда я прыгала с вышки, я видела как будто Николая на пляже. Очень-то я не уверена, там пестро, не разберешь.

Лунев. На пляже? Постой, мы сейчас проверим. Отсюда, если в бинокль — как на ладони! Бинокль у меня специально для этого назначения. (Вбегает в беседку и рассматривает в бинокль берег. Лена подходит к этому же борту беседки снаружи). Где ты его видела? Где кабинки или ближе сюда?

Лена. Где пристань и кустики. Там.

Лунев. Момент! Почтенное немецкое семейство. Праздничный шпацир. Папа уже в трусиках, мама вылазит из комбинации, дитё тащит в воду за хвост собачонку. У мамыши, доложу тебе, архитектура!

Лена. Сергей!

Лунев. Представь себе, Ленок: две перины, одна на одну. Уверен, что у этой Фрау и фамилия двойная. Помню, я в доме отдыха познакомился с одной заслуженной артисткой. Петровой-Званцевой звали. Тоже такая же вот была... Евразия. Бывало, в воду войдёт, а обратно никак не выберется. Петрова вылезет, а Званцева застрянет...

Лена. Серёжка!

Лунев. Эка телес-то, ступить некуда. Тут и не разглядишь. (Кричит). Есть, есть! Вот он, Николай! На песочке!

Лена. Один?

Лунев. Постой... Нет, не один! Какая-то зебра с ним, зеленая в полоску. Кто ж это? Лица не вижу... Постой... (Кричит) Вера! Вера! Пони-маешь обстановку?

Лена. Не обознался?

Лунев. Какое там! Она самая! Похоже — любовное объяснение у них. Не то — спорят. Для любовного вроде жестикуляция не та... Хотя... Ай да Николай, Гамлет берлинский. Чай Гарольд!

Лена. Чайльд, Сергей.

Лунев. Ну — Чайльд... Гляди: чего-то за голову схватился. Обеими руками!

Лена (тянет за ремень бинокля). Хватит, Серёжка! Пошли к ним — и потребуем к ответу, За отрыв от масс... Федя, если спросит кто — мы, четверо, на пляже. Передай.

Фёдор. Есть передать.

Лена. Не знаю, мне как-то даже обидно. Договорились о пикнике, а тут всё какие-то разговоры парами. Папа с майором тоже, я видела, разговорились о делах. Для меня жизнь ещё слишком хороша, чтобы её и на пикнике делами портить!

Фёдор (глядит из-под руки в сторону виллы). Скелет подъехал, Елена Ильинична!

Лена. Сматываемся!

Лунев (уходя). «Жизнь хороша и жить хорошо» — сказал Маяковский — и застрелился!

Скрываются вместе с Леной. Фёдор кладёт в самовар шишки, дует в поддувало. На поляну широкими шагами выходит Спиллет, на нём краги, в руках стэк.

Спиллет (оглянувшись). Добрый день! А где же ор...организован пикник?

Фёдор. Тут вот и организуем... Самовар только что-то не раздувается, паскуда.

Спиллет. Са-мо-вар? Это самовар! (Осматривает самовар со всех сторон). Интересно! Не разду... дувается?

Фёдор. Никак. Тяги нет.

Спиллет. Это что — тяга?

Фёдор. Труба. Без трубы разжигать — колхоз «напрасный труд» получается.

Спиллет. Как интересно! Труба. Как велика?

Фёдор. Хоть бы в одно колено. Вот как эти ваши кобурки (показывает на краги).

Спиллет. Да? (Минутку соображает, потом садится и расстёгивает одну из краг. Повертев в руках, ставит на камфорку, из краги начинает идти дым. Довольным тоном): Интересно! Да?

Фёдор. Точно. Жаль, что Елены Ильинишны нету. Поглядеть.

Спиллет (спохватываясь). Да, скажите, где же все? Где мисс Леношка?

Фёдор. На пляже.купаются. Вот там, под горой.

Спиллет. Да? Так я... (вскакивает). Я вас прошу немного присматривать за конями. Я их там у ворот оставлял. Я сейчас... (Быстро уходит).

Фёдор (сняв с самовара крагу, вслед ему). Голенище-то захватите, граждан Скелет! (Идёт за англичанином).

Входят генерал Скопин и Морозов.

Морозов. Никого? (Вытаскивает папиросу, отстукивает о портсигар. Скопин подвигает ближе к себе складной стул, тяжело садится. Пауза).

Морозов (закуривая). Н-да. Оно и лучше.

Скопин. Что — лучше?

Морозов. Что никого нет. Для веселья мы с тобой сейчас мало оборудованы. (Пауза). И я, пожалуй, пойду. Передавай привет Татьяне Фёдоровне.

Скопин. Постой. Передохну — провожу тебя. (Бьёт себя кулаком по колену). Чорт! Нет, ты представляешь, что я сейчас чувствую? Я боюсь остаться один. Я боюсь... (Пауза). Может, поедем ко мне? Пережуём ещё раз... Вдвоём будто лучше...

Морозов. Как сказать! Возможно, лучше сейчас как раз — в одиночку. Безопаснее.

Скопин (поворачиваясь к нему со стулом). Послушай. Неужели ты думаешь: эта подлая брехня может в самом деле, говорится самое, ущемить и тебя? Тоже?

Морозов молчит. Из-за беседки показывается Фёдор.

Морозов. Фёдор!

Фёдор. Я вас слушаю, товарищ майор.

Морозов. Коньяку. Две стопки.

Фёдор (приносит бутылку, бокалы, наливает и подаёт). Закуси?

Морозов. Не требуется. (Пьёт). Слушай, там две подседланные лошади. Привязаны чорт-те знает как. Ступай, приведи в порядок. И вообще — присмотри...

Фёдор. Есть, товарищ майор. Понятно! (Уходит).

Морозов (после паузы). Брехня!.. Ты всё не хочешь усвоить, что оценки не нами, брат, определяются. Положат эту писанину под сукно — ну, значит, в самом деле брехня, и толковать нечего. А дадут ей ход, в высших интересах, разумеется, — так из-за

этой брехни от нас с тобой рожки да ножки останутся. Тоже, конечно, из вышших соображений.

Скопин. Да каких соображений? Каких?

Морозов. Це-ле-со-об-разности! Всё очень просто: мы с тобой засиделись в Берлине. Есть у нас и промахи на работе. Нас целесообразно сменить. Но, может быть, ещё целесообразнее нас не сменить, а арестовать, обвинить позффектнее и судить. Тоже по-эффектнее, чтобы другим не повадно было ослаблять возжи так, как мы с тобой их поослабили. Чтобы в других накачать побольше рвенья, ярости, понимаешь? Чтобы жали злей. Очень просто.

Скопин. Это ты называешь просто. Это чудовищно!

Морозов. Зависит от точки зрения. Почему — чудовищно? Способ не новый. Таким способом отправляли на тот свет тысячи. Повиднее нас. Забыл? И мы хлопали на собраниях и требовали приговоров, суровых и беспощадных. Тогда это касалось других. В этом вот и суть. Мы слишком привыкли делить всех на «мы» и «другие». А на самом деле вопрос только в очередности. Теперь пришла наша очередь. Вот и всё.

Скопин. И ты рассуждаешь об этом спокойно?

Морозов. Эмоции, рефлексy, говорит товарищ Малин, упряднены. Надо быть трезвым. Трезво то, что целесообразно. Победа коммунизма — высший интерес. Во имя этого интереса, допустим, целесообразно нас с тобой расстрелять, а сына твоего и дочь отправить в концлагерь. Ты коммунист, — значит, должен признать необходимость и этой операции. Точка. Всё.

Скопин (с отчаянием). Да выйди, наконец, говорится самое, из этого транса! Это же цинизм! Как — всё? Как — «признать»? Надо защищаться! Действовать!

Морозов (усмехнувшись). Ты чу-дак. Защищаться? Действовать? Целесообразность — это стена. Способ защиты один: разбить об неё голову.

Скопин. Ерунда! Разоблачить клевету, требовать расследования, послать телеграмму, наконец. . .

Морозов (перебивает, продолжая усмехаться). Кому? Ты, брат, не в капиталистической Америке. Наше ведомство апелляции на свои приговора не допускает. Я повторяю: помочь можно было бы, если бы Малин не знал о донесении. А теперь. . . За решением постараются следить, я тебе говорил. Значит, если получим информацию во-время — есть один выход.

Скопин. Именно?

Морозов. Драпать. В то самое капиталистическое окружение, которое мы собирались штурмовать.

Скопин. Бежать? (Задумывается). Не пойдёт. Это, брат, не то.

Морозов Другого не придумаешь. Собраться всем и — ходу! Всем, кому грозит «меч революционного правосудия». Там, в документике, даже этот твой Фёдор значится.

Скопин. Бежать? Как преступнику? Это — после 35 лет беспорочной службы? Не для меня. Я, дорогой, говорится самое, солдат.

Морозов. Опять эмоции и рефлексy! Они ж — у твоего Николая. Семейное у вас. Прав Малин: негодные мы коммунисты. Нехватает трезвости, ощущения целесообразности. Сталинской закваски нет.

Скопин. Опять, говорится самое, целесообразность? Причём она тут?

Морозов (понижая голос, выразительно). При том, что спасение собственной шкуры для подлинного коммуниста, сталинца, и есть высшая целесообразность.

Скопин. Цинизм!

Морозов. Возможно. (Смотрит в сторону виллы). Идёт твой Фёдор. Ну, я трогаюсь.

Скопин (поднимаясь). Пройду с тобой до машины. (Уходят).

Входит Фёдор, смотрит им вслед, потом уносит бутылку, стаканы. Подходит к самовару, осторожно приподнимает крышку: самовар вскипел.

Из-за беседки появляется Николай. Он запыхался, говорит возбуждённо.

Николай. Фёдор, где отец? Был он здесь?

Фёдор. Пошли с майором к воротам, к машине.

Николай. Давно?

Фёдор. Только вот, с минуту. Захватите ещё. (Вслед уходящему Николаю): Товарищ капитан, разрешите...

Николай (оборачиваясь). Ну?

Фёдор. Как прикажете с самоваром? Вскипел вот, а сейчас обратно глохнуть начнёт.

Николай. А, чорт, не до самовара! Пусть глохнет! (Уходит).

Фёдор. Понятно, товарищ капитан!

Занавес.

Картина IV

Большая комната в доме Скопина — та, в которой происходило празднество в первой картине. Справа, ближе к авансцене, рояль. Слева — маленький бильярд. Посредине задника — большой, чёрной ретушью, портрет Сталина. Дверь направо — в кабинет генерала, двери слева — в переднюю и другие комнаты. Вечер.

На рояле — грудка белья, коробочки, свертки, маленький радиоаппарат-чемоданчик. Лизхен укладывает вещи в раскрытый на стуле чемодан. Два других чемодана, уже упакованные, стоят рядом. Работая, Лизхен напевает себе под нос фальшиво:

Лизхен.

Wenn ich komm' wenn ich komm'
Wenn ich wieder wieder komm'
Kehr' ich ein, mein Schatz, bei dir . . .

Фёдор (входя, полушопотом). Ну, чего распелась не ко времени? Это что, нести можно?

Лизхен. Schon fertig! (Показывает на пальцах): Два!

Фёдор. Копаешься ты, как муха в назъме. Не по-нашему. Давай помогу. (Хочет взять с рояля стопку белья).

Лизхен. Um Gottes willen! (Отталкивает его). С такими руки! Weg!

Фёдор (разглядывая руки). Верно, не того. . . Машину заправлял.

Лизхен (показывая на чемодан). Nun — los! Давай, давай!

Фёдор. Ишь ты: собрались к ихним, так она уж командовать принялась. Так и все они, бабы.

Лизхен. Was?

Фёдор. Ничего. в порядке! (Берёт два чемодана). А этот тогда сама поднесёшь! (Уходит).

Лизхен (продолжая укладывать).

Wenn ich komm' wenn ich komm'
Wenn ich wieder wieder komm' . . .

Из комнаты генерала выходит Татьяна Фёдоровна. Облокачивается на рояль, смотрит на Лизхен: потом выпрямляется, смахивает ребром ладони слезу.

Татьяна Фёдоровна. Пуловер леночкин серый не забудь, Лизхен. Пуховый пуловер. . . знаешь? (Уходит в спальню).

Лизхен. Jawohl, Gnädige Frau.

Кончает укладывать, направляется с чемоданом к двери, навстречу ей Николай и Лунев.

Николай. Лизхен, отец у себя?

Лизхен (кивает утвердительно, показывая на дверь кабинета).

Николай. Один?

Лизхен. Один. Gnädige Frau — в спальня.

Николай. Да, ещё, Лизхен. Лена там в саду, с англичанином. Скажите, чтобы домой шла. . .

Лизхен. Яволь. Jawohl. (Уходит).

Лунев (кладёт под бильярд большой разбухший портфель. Ерошит волосы). Неужели ей ничего до сих пор не рассказали, Лене? Почему?

Николай. Толковал уже, почему. Ситуация выяснилась два часа назад. До этого не к чему было ей трепать нервы. Хватит и так. . . (Закуривает, затягивается глубоко несколько раз кряду, смотрит на часы).

Лунев. Ситуация! Машинально укладывает на бильярде пирамиду). Ситуация. . . (Прицеливается, щелкает кием. Несколько шариков вылетают за борт, с треском падают).

Николай (вздрагнув). Брось!

Лунев (подбирая шарики). Ситуация! До сих пор с мыслями не соберусь! Жили, как жили, и вдруг — щёлк! Вклеил тебя какой-то гад ползучий в донос — и всё... Пошёл в штопор! За борт, как эти вот шарики... Чорт возьми! Неужто мы с тобой верно — в бега, Николка? В изменники, враги народа?

Николай. А, не пори чушь! Враги народа в Кремле сидят. (На цыпочках подходит к двери в кабинет, прислушивается. Лунев с кием в руке следит за ним. Николай возвращается).

Лунев. Ну, что?

Николай. Шуршит бумагами... (Верёт у Лунева кий, целит в какой-то шар, затем выпрямляется, опуская кий). За него — боюсь! Такие, ведь, не гнутся. Такие, как он, кремнёвые. Не устоят, так ломаются. Сразу. За него больней всего...

Лунев. С нами не хочет? Ни в какую?

Николай (махнув рукой). Не сдвинешь!

Входит Лена и Спиллет. Англичанин раскланивается.

Лена. Серёжа, добрый вечер! Николаша, ты звал? Вот, мистер Спиллет, я сейчас докажу вам, что вы фальшивите.

Николай. Отец хотел тебя видеть, Лена.

Лена. Сейчас! (Спиллету). Слушайте, я спою вам этот припев.

(Садится за рояль, поёт, аккомпанируя себе):

Светит солнышко на небе красное,
Шумят леса, цветут поля.
Россия вольная,
Страна прекрасная,
Советский край,
Моя земля!

(Повторяет две последние строчки. Николай ломает кий о колено. На него оборачиваются).

Лена. Ты что, Николаша?

Лунев (вполголоса). Не психуй!

Скопин (приоткрыв дверь кабинета). Дочка, зайди ко мне на минутку.

Лена. Иду!

Спиллет (вслед ей). Так я сейчас побегу не на очень долго, мисс Леношка! И возвращусь с проигрышем.

Лена. Хорошо! Хорошо! Пока (Входит в кабинет).

Спиллет (идёт к двери, на пороге оборачивается и раскланивается). Пока!

Николай (смотрит ему вслед, бросает обломки кия в угол). Смотался наконец!

Лунев. Должен быть у вас ещё один кий. А, вот, на рояле. Давай партийку, последнюю!

Николай. Ты — в уме?

Лунев. А что? Это, брат, как перед воздушной атакой. Успокаивает. Покуда сигнала ждём... (Устанавливает пирамиду).

Голос Т. Ф. Лизхен! Лизхен!

Т. Ф. (входит с вязаной кофточкой и ещё какими-то вещами в каждой руке). Пуловер-то так и забыла, немчур! (Увидев Лунева). Серёжа! Пришел?

Лунев (показывая на портфель). Собрался со всем барахлом. Готов к вылету.

Т. Ф. Вот, ведь, как обернулось, Серёжа... (Вертит в руках кофточку). Как она этому пуловерчику радовалась. «На лекции, говорит, буду надевать, в институт... Тепленький!...» Вот тебе и институт! Куда теперь, как, вместо института-то?... Где она, Лена?

Лунев. У Ильи Ильича.

Т. Ф. Пойду к ним... (Направляясь в кабинет, оборачивается). Что же будет... с вами? С нами? Со стариком моим? (Снова идёт).

Лунев (вслед). Образуется, может, Татьяна Фёдоровна. Как-нибудь.

Николай (подождав, когда уйдёт мать). Успокаиваешь? Нет, брат, теперь уж не образуется. Довольно! Це-

люю неделю утешались иллюзиями. Теперь, брат, предупредят, — хорошо, а зазеваемся, или с информацией сорвётся — прихлопнут нас...

Целится, разбивает кием пирамиду, передаёт кий Луневу. Играют оба механически, не следя за ударами.

Лунев. Ты когда ждёшь звонок?

Николай. В девять. Приблизительно.

Лунев (после паузы). Я ее сегодня видел. Два раза.

Николай. Веру?

Лунев. С Рыжовым. Последний раз — уже под вечер. В машине. Ехали куда-то к Александерпляцу.

Николай молчит, выплевывая шар.

Лунев. Что это у нее? Тактика только?

Николай. Не знаю. Интересуюсь делом по существу.

Лунев. Я, признаться, считал, что это Морозов информирует.

Николай. Морозов, как Понтий Пилат, умыл руки. Сам дрожит. Очень вероятно, что тоже драпанёт.

Лунев. Вряд ли. У него семья в Москве.

Николай. Другую найдёт...

За дверью кабинета слышен женский плач, голос генерала, потом всё смолкает.

Лунев (ероша волосы). Чорт побери! Ломается жизнь! Кому это надо? Знаешь: когда ты меня давеча обо всей этой чертовщине проинформировал, шибануло меня крепко и, сказать, страшновато сделалось. Не виноват, — а страшно. А теперь — зло взяло. Дьявол с ними! На Запад — так на Запад, раз такое дело! Никого я здесь не оставляю. Лена, ты — со мной. И чудно: никаких, знаешь, ущемлений не ощущается. Вот, что присягал родине, ридной власти...

Николай. Потому и не ощущается, что присягал ты не родине. (Смотрит на часы, потом на дверь). Что они долго так?

Лунев (сыграв шар). Не пропадём! Не пропадём и на Западе! (Помолчав). Есть у меня, сказать по совести, вроде как отталкивание какое-то... От тесноты, от переустроенности здешней. Посмотри ихние города: крыша на крышу лезет. Американцам ловко бомбить было: куда ни кинь — не мимо. И природа: насажено всё, подчищено. Не настоящее. Простору нету. Я ведь — с Нону. Бывало, рыбалишь под вечер — простор-то какой! Дальний берег перед тобой тихий лежит. Как дымком курится весь, пятится, исчезает. Смотришь — и пропал. И — одна гладь. И тишина. И, знаешь, песня откуда-то приплывает. Вечером песня по-над водой далеко летит. В общем — распознлся я! Запад, так Запад! Индустрия! Окопаемся на каком-нибудь заводике, по технической части... Выждать, что будет.

Николай. Надо ещё отсюда выскочить. А выждать, между прочим, может быть, и не придётся. За тихий берег твой драться надо! Выждать нечего!

Лунев. Постой! (Вытаскивает записную книжку). Что-то у меня записано в этом роде. (Читает):

«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой».

Из Гёте. В календаре отыскал.

Николай (смотрит на часы). Да что они там? (Идёт через комнату, навстречу ему из кабинета Скопина выходят Татьяна Фёдоровна и Лена. Обе с заплаканными лицами).

Лена. Николай! Серёжа! Как же вы... Почему мне ничего... ни слова. Что я, маленькая? Или думаете, мне легче так, вдруг, как камнем по голове? Серёжа, значит — вместе? Мама, ведь мне уложиться надо!..

Т. Ф. Всё уложено, Лена, всё сделано. Это вот только... (смотрит на пуловер, который всё ещё у нее в руках). Лизхен! Лизхен!

Лунев (подходит к Лене, обнимает её). Вместе, Ленок, вместе! Не пропадём!

Лизхен (с порога). Gnädige Frau wünscht?

Т. Ф. Пуловвер вот... И это. В чемодан.

Лизхен (очень оживлённо, почти радостно). Jawohl!

Т. Ф. (провожая её глазами). Господи, а эта — как именинница. Кому горе, а кому...

Николай. У неё родные в американской зоне. О чём ей горевать?

Лена. Что же это за ужас такой! Вдруг! Сразу! Николай, папа говорит, что всё ещё может разъясниться. Что он будет писать... Или, может, он только смягчает, чтоб... Не знаю! Не могу, не могу представить себе!

Фёдор (в дверях). Товарищ капитан, разрешите доложить: машина заправлена, всё погружено.

Николай. Хорошо, Фёдор. Выведи к воротам и — ждаты! Только не на виду!

Фёдор закрывает дверь.

Лена. Николай, ну — как ты? Ты не думаешь, что всё это... преувеличено? Папа говорит: уезжать необходимо, но что не исключено — теоретически, понимаешь? — что мы вернёмся назад... Если окажется, что — ошибка.

Николай (мрачно). Теоретически — не исключено.

Лена. А практически?

Николай. А практически... Видишь ли, Лена, по существу наше дело уже решено. И, значит, — всё. Сейчас ждём последней информации, и если даже её не будет...

Лена. Да, вот если не будет...

В кабинете генерала телефонный звонок, все замолкают.

Скопин (приоткрыв дверь). Николай!

Лунев. Вот она и последняя информация.

Т. Ф. Господи! (Пауза).

Лена (вполголоса). Сергей, это она звонит?

Лунев. Вера.

Лена. Какая она...

Лунев. Золото! Да ты успокойся, Леноч... Руки, как лёд... Сейчас всё определится.

Т. Ф. (у двери, прислушивается). Тс-с-с! (Машет на них рукой. Молчание. Из кабинета выходит Скопин с сыном, короткая пауза).

Скопин. Ну, ребятки... собирать! Приказ об... о следствии по этому доносу подписан. Надо делать оргвыводы. Мешкать нечего. Фёдор!

Фёдор (в дверях). Я вас слушаю!

Скопин. Всё у тебя в порядке? Проверь, как на смотр. На вот пропуск. Поедешь, как я тебе говорил. Не петляй. Николай! (Достаёт бумажник). Возьми, здесь деньги. Не густо, говорится самое, не предвидел... Темпы, друзья! Всем всё проверить. Не забыли ли чего. Документы просмотреть, лишнее уничтожить. Три минуты на сборы.

Движение. Исчезает и снова появляется в дверях Фёдор. Бежит в спальню Лизхен и возвращается с какой-то плетёной сумкой для покупок. Николай вынимает из кобуры револьвер, кладёт в карман, кобуру кидает в переднюю. Лунев шарит по карманам, вытаскивает и рвет какие-то бумаги. Растерянню суетится Татьяна Фёдоровна.

РЕПЛИКИ:

Лунев (Николаю). Оружие там сдавать придётся?

Николай. Увидим!

Лизхен. Федя, nimm die Tasche auch!

Т. Ф. Еды-то никакой не приготовили... надо взять. Лизхен!

Лизхен. Schon in Ordnung, gnädige Frau!

Лена. Папа, милый, как же это? Почему? Папа, ты должен — с нами. Мама и ты.

Скопин. Не дискутабельно! Лена. Всё решено и подписано. Ну, одевайтесь, ребятки. Фёдор, плащи и прочее! Тогда будем прощаться. (Фёдор приносит из передней одежду, фуражки. Скопин помогает Лене надеть пальто).

Т. Ф. (поправляя на Николае плащ). Сынок мой!

Лена. Уезжать одним и не знать... и переживать, как вы, что с вами сделают! Ужас, ведь!

Скопин. О нас не заботься, дочка. Что нам... что мне сделают? Тридцать пять лет в армии! Меня в Кремле знают. Ну, снимут, ну, отправят обоих на родину, в глушь куда-нибудь... И потом, говорится самое, мы своё прожили. А вам — жить. Здесь сорвалось, не устроилась жизнь — там, может, сумеете устроить. А мы с матерью знать будем, что ребята наши, говорится самое, в безопасности и... вроде как вместе с вами будем... и... в общем — прощаемся по порядку! Сергей! (Обнимает Лунева). Смотри, береги Лену... Николай!

Т. Ф. Присесть надо, перед отъездом, Илья Ильич!

Скопин. Некогда, мать. Ладно, садись все. Фёдор! — на порог прямо! Три секунды (садятся).

Т. Ф. (на коленях у стула Николая). Сыно-ок мой!

Скопин. Ну вот, говорится самое, и нарушаешь первая...

Стук в дверь. Все вздрагивают.

Скопин (после паузы). Да!

На пороге Вера. Видно, что она торопилась. Говорит запыхавшись.

Лена. Вера! Ты?

Вера. Я вам из автомата звонила. Боялась, что уже не захвачу, боялась, что и не готовы ещё. Не знаю, чего больше! Очень надо спешить.

Скопин. Кончаем вот... Фёдор, давай руку. Спасибо за службу, за верность, друг! Лизхен, желаю счастья. Леночка, обниму ещё раз...

Т. Ф. Сережёнка, Леночку не... (плачет).

Скопин (обнимая Николая). Вот и — на посадку. Я за порог не пойду. Дальние провода... говорится самое... Ты бы тоже здесь попрощалась, мать.

Т. Ф. Нет, я провожу... Колюшка, Лена... (все, кроме генерала и Веры, выходят).

Голос Лены из передней: Прощай, папа!

Вера (задержавшись на пороге). Илья Ильич, а со мной не хотите проститься?

Скопин. С вами? Вас благодарить надо. Как — уж не знаю. А проститься... Встретимся ещё...

Вера. Не встретимся. Я еду. Тоже.

Скопин (смотрит на Веру пристально, с изумлением, потом берёт её голову в ладони, целует в лоб). Спасибо вам. И спасибо, спасибо...

Вера уходит. Скопин, повернувшись к рампе лицом, долго стоит, глядя в одну точку. Крепкая его фигура на глазах зрителя теряет напряжённость и становится словно меньше. Он делает несколько шагов и опускается на стул подле рояля, Гудок отъезжающего автомобиля. Неслышно появляется Татьяна Фёдоровна. Оглядевшись садится, плачет беззвучно.

Т. Ф. Радио леночкино так и осталось на рояле. Забыли (пауза). Верато... Вместе поехала. Утешение мне... Николай сразу с лица просветлел. Господи, дай им счастья, Господи! (Крестится. Пауза). В дороге бы не стряслось чего. Ведь бывает. (Генерал молчит). Не задержали бы... (Пауза). Илья Ильич? Молчишь всё?

Скопин. А ты, Татьянушка, разговаривать хочешь? Ну, что ж, давай говорить. Говорить нам с тобой... (голос у него охрип) говорить нам с тобой вообще осталось немного...

Т. Ф. (приподнимаясь) Илья Ильич, неужели... неужели ж тебя, заслуженного?

Скопин. Да, вот и заслуженно-го... Тридцать пять лет! Тридцать пять лет служил родине! Вот уж именно, говорится самое, кровь отдавал. Четыре войны. Двенадцать ранений... Выдвигали. Награждали! Радовался... Право себе на почётную старость заслужить думал. Вот он пришёл, почёт... Щенок шелудивый брехнул на тебя, плюнул на твою седую голову и — всё оплевал! И позволили! Те, что в герои возводили, звёзды навешивали, — позволили! Звёзды (Нащупывает на груди звезду «Героя», срывает, бросает в угол). К чёрту! Всё, всё — к чёрту! (Задыхаясь, рвёт на себе крючки ворота).

Т. Ф. Илья Ильич! Дружок мой... Да не мучай ты себя так!

Скопин (передохнув). Пусть — клевета. Бывает. Но кому-то она, выходит, нужна? Кому? Зачем? А мои тридцать пять лет беспорочной службы не нужны стали? «Целесообразность» — говорит Морозов. (Кричит): Врёшь! Родине я нужен! Родина меня на целесообразность не променяла бы! Родине бесчестить меня не требуется. Кому же — требуется? Кому я служил тридцать пять лет, Татьяна?

Т. Ф. Да успокойся же ты, Господа ради. Как — кому служил?

Скопин. Ко-му? (Пауза). Вот он, проклятый вопрос, когда вывернулся. Вот когда суд подошёл. Страшный суд — как у вас в божественных книжках обозначено.

Т. Ф. Опомнись, Илья Ильич! Про какой ты — суд? Может, ещё и не сделают над тобой суда. А будет — так то суд людской, несправедный. А душа-то спасётся. Совесть-то чистая...

Скопин. Вот-вот, в самую точку. Совесть! Не за страх, а за совесть. (Кричит): Неправда! За страх работали! За страх, за лютый! Совесть в пятточок сплющили. В книжицу красную упрятали её, совесть...

Т. Ф. Уж ты ли не на совесть работал, Илья Ильич? Тебе ли говорить?

Скопин. Ты думаешь? А я вот расскажу тебе... С неделю назад принесли мне приказ, на подпись. Солдатик один из отпуска воротился, от семьи. И сболтнул с товарищами: мол, свою дома опознать не мог. Заездили работой. Ребёнок больной, кормить нечем, завернуть не во что. В землянке живут, грязь, вонь. Плакал, говорят, как рассказывал. В рыд. Так его — в штрафной батальон, без права возвращения в часть. Понимаешь, что значит? И я подписал. А на другой день Героя мне дали. Так сошлось. А солдатик — фьюить! Пропал солдатик. Сколько их, таких, знаешь? А?

Т. Ф. Что же тебе делать было? Не подписываться?

Скопин. Что делать было? Я тогда тоже не задумывался, что делать. Подписал — и всё. Целесообразность! Тогда не меня она била — других. Вопрос очередности. Теперь — на меня кто-нибудь приказ подпишет. Тогда не задумываясь. Моя очередь...

В дверь стучат. Пауза. Скопин поднимается, механически застёгивает ворот кителя.

Скопин (твёрдо). Татьяна, ступай в кабинет. Я позову.

Т. Ф. Нет, Илья Ильич, нет! Не подчинюсь, как хочешь... Если что, если тут... я с тобой!

Скопин подходит к двери, открывает. Появляется Спиллет с большим букетом в руках. Видимо, заметив на лицах хозяев необычное, заговаривает не сразу.

Скопин. Это вы?

Спиллет. Добрый вечер! А можно... мисс Леношка? Где она?

Скопин. Её нет дома. (Помолчав). И мы... Извините, дорогой, не приглашаю остаться. Лучше всего вам сейчас — к себе, до хаты, говорится самое. Потом, ежели придётся, объясню вам свою невежливость.

Спиллет. Ничего, не беспокойтесь. Я уже понимал. Вероятно — важное совещание? Там как раз прибыла охрана.

Скопин. Охрана?

Спиллет. В машинах. Совсем скоро за мной. Я ходил через сад, там военные оцепивают.

Пауза. Вскинувшись на стуле, Татьяна Фёдоровна с ужасом смотрит на дверь.

Скопин (секунду неподвижен, потом выпрямляется). Татьяна! Я на минуту — к себе. (Спиллету, с порога). Слушайте! Исчезайте немедленно! (Уходит).

Т. Ф. (метнулась за ним, вернулась. Тщётно пытается поправить сбившийся с плеч платок: у неё прыгают руки). Вот оно! Господи!

Спиллет в совершенной растерянности подходит к роялю, кладёт на него букет, накрывая маленький радиоприёмник. Приподнимает букет, оставляет приёмник в сторону и снова кладёт цветы на рояль. Отходит в другой угол комнаты, смотрит на Татьяну Фёдоровну. В приёмнике начинают звучать московские радиопозывные:

Хо-ро-ша стра-на мо-я род-на-я...

Спиллет. Вы тревожны? «Исчезайте!» Как это понимать? Я... (Видит под ногами брошенную генералом золотую звезду, поднимает машинально, вертит в пальцах, снова смотрит на Татьяну Фёдоровну, не отрываясь).

Т. Ф. (сдерживая крик). Приехали, голубчик! За нами приехали! Забирать!..

Спиллет (потрясённо). За-би-рать?

Т. Ф. Что же ты, слепой? Не видишь? (Энергично). Ступай! Тебе-то чего... с нами... Тебя, может, выпустят...

Спиллет (с каждым движением — тревожнее. Ищет, куда положить орден). Выпустят? Для меня не есть... оснований... Или... или вина...

Т. Ф. Да разве ж они виноватых хватают! Господи!

В приёмнике на рояле — советская песня. Волна сбивается, мелодия чуть слышна:

Где найдёшь страну таку-ую ,
Краше родины моей?..

Спиллет. Тогда... пусть, как вы говорите... Я пойду... (Направляется к выходу. Грохочущий стук в дверь. Вздвигнув, оба остаются неподвижными. На пороге кабинета показывается и тоже застывает глядя на дверь, Скопин).

Рампа меркнет. В полумраке сцены только на портрет Сталина падает пятно света, и кажется, что жёсткие выписанные чёрной ретушью черты лица оживают в недоброй усмешке. В приёмнике на окрепшей, нарастающей волне:

Светит солнышко на небе красное,
Шумят леса, цветут поля.
Россия вольная,
Страна прекрасная,
Советский край!
Моя-а земля!..

В дверь ломаются.

Занавес

ОКЕАНСКИЕ СТИХИ

Прощальная

До края наливая,
Мы чарку пьём до дна.
Прощай, моя родная,
Родная сторона.

Плывем на пароходах
За синий океан,
Найдём, быть может, отдых
В одной из дальних стран.

Но сердцем по-иному
Не жить нам вдалеке —
Эх, воротиться б к дому
С винтовкою в руке!

Кричит на море чайка,
Её печален зов.
Налита нами чарка
До самых до краев.

И, не роняя звука,
Мы пьём её до дна. . .
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!

* * *

По палубе пустой
Брожу я на рассвете,
Беседует со мной
Восточный легкий ветер.

Меня то по спине
Потреплет он любовно,
То что-то шепчет мне
И ободряет словно.

На родине моей
Отысканные где-то,
Он от моих друзей
Принес слова приветя.

Но из друзей моих
Лишь он на пароходе:
Единственный из них,
Который на свободе.

Дельфины

За стеною тумана,
Где темно и пустынно,
Посреди океана
Проплывают дельфины.

Ох, морские паяцы,
Они скачут, как белки,
И нельзя не смеяться,
Видя эти проделки.

Но, не правда ли, странно:
Они лезут из кожи
В океанских туманах —
Для чего, для кого же?

Ой, дельфины, дельфины,
Ой вы, чёрные спины,
Вы плывите, дельфины,
К берегам Украины!

Украины, Кавказа,
Где, при солнечном свете,
Увидавши вас, сразу
К морю выбегут дети.

Ой вы, дива морские,
Вы устройте потеху:
Пусть детишки в России
Не разучатся смеху!

* * *

Словно ласточкин хвост, за кормою
Разделяется надвое след
И бежит, колыхает волною,
В те места, где меня уже нет.

Так везде на путях моих странствий
Продолжением прожитых лет
Оживает и бродит в пространстве
Многokrатно дробящийся след.

Пролетают ветра над полями
И метут невесомую пыль.
Под бурьяном, в загаженной яме
Это кости лежат не мои ль?

А бухгалтер, который в колхозе,
Пол-литровкой разбавив печаль,
Пишет скверные вирши о розе,
Соловьях и любви — не я ль?

Педагог, обречённый лукавить,
Обучает детей предавать —
Это трижды, четырежды я ведь
Возникаю в тумане опять!

А вон там, в полутёмном подвале,
Две секунды, летящие вскачь,
Измеряю шагами не я ли,
Не за мной ли шагает палач?

Но движением точным и скорым
Чья метнётся рука, как змея?
Пулей тот меня скосит, которым
Буду тоже ведь, тоже ведь я!

Небывало, нелепо, неожиданно
Небоскрёб в отдаленьи возник,
И глядит на него с океана
Мой неправдоподобный двойник.

Земляки

Хороший выдался денёк,
И небо голубое...
Давай присядем на пенёк,
Поговорим с тобою.

Поговорим с тобой, земляк,
Давно ли ты оттуда?
Что в нашем городе и как,
Что хорошо, что худо?

Как город справился с войной,
На что он стал похожим?
Как обстоят дела с едой
И с выпивкою тоже?

Цела ли опера, вокзал,
Стоит ли крытый рынок?...
Когда-то ночь там проторчал
За парюю ботинок.

Что наши парки? Как река?
Как площадь за забором —
Достроен, что ли, дом ЦК
Над снесенным собором?

На нашей улице жила
Одна девчонка — помнишь?
Голубоглазая была...
Да нет, не там, где дом наш,

А там, где рос большой платан
За первым поворотом,
Напротив жил еще пацан,
Работавший сексотом!

Случайно, может, или как,
Слыхал, что стало с нею?
Ну, не томи, давай, земляк,
Рассказывай скорее!

1943 год

Смеется тощий итальянец,
Базар гогочет вместе с ним:
Ботинки продал он и ранец
И вопрошает путь на Рим.

При этом ловко кроет матом
«Тедеску», «порко Сталинград»,
А рядом дядько Гриць со сватом
И воз с картошкой стоят.

Из неуклюжей клетки чижик
Свистит о плене и тоске,
И букинист десяток книжек
Раскладывает на мешке.

И рыжий парень в полушубке
Отмеривает чашкой соль,
И женщина у перекупки
Кольцо меняет на фасоль.

Стоять с картошкой наскучив,
Подходит к букинисту сват
И томик с надписью «Ф. Тютчев»
Он выбирает наугад.

И, приподняв усы живые,
С трудом читает то впервые,
Что кто-то подчеркнул до дыр:
«Сча-стлив, кто по-се-тил сей мир
В его минуты ро-ко-вые. . .»

* * *

Подходит к берегу волна
И, вздыбясь на бегу,
С тяжелым грохотом она
Сгибается в дугу.

Смотри внимательно: нигде
Её отныне нет.
Ни на песке, ни на воде
Её не виден след.

Ни на воде, ни на песке,
Но в полусогнутой строке
Сверкает солью пыль.
Волна стоит в стихе — ну, что ж,
Запоминай скорее, иль
Забудь и уничтожь.

* * *

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Батюшков.

Еще до наступления морозов
В полях хватали сборщиц колосков,
И по ночам гудели паровозы
На север уходящих поездов.

Но помню утро. Вогнутое небо,
Узор деревьев, труп невдалеке
И на трехпалой вздувшейся руке
Колючий иней — первый — вместе хлеба.

Брось! Замолчи. Стихи твои пусты.
Отсутствует в них трепет изначальный.
Когда б ты мог: «О память сердца, ты
Сильней рассудка памяти печальной».

Нет, и не так. Ведь можно жизнь прожить
И не забыть ни крошечной детали,
Но, вспоминая, в сердце не открыть
Ни ненависти, ни печали.

О нет! О нет! Пошли мне всё забыть:
Гудки, деревья, руку эту, иней,
Но только полной мерой сохранить
Святую дрожь, доступную мне ныне!

* * *

Если всё-таки ты уцелел —
Значит, в Киеве встретимся снова.
Разом скажем: «А ты еще цел?»
И ответим: «Ну, что ж тут такого?»

Будет осень шуршать под ногой,
Нашу встречу собой знаменуя.
Если встретимся на Прорезной,
То зайдем, как бывало, в пивную.

И присев в уголке за столом,
Мы повторим опять из бывшего:
Грамм по двести с тобой разопьем,
Почитаем стихи Гумилева,

И твои почитаем, о том,
Как зигзагами звёзды летели,
И как с мамой под вечер вдвоем
Вы вносили складные постели. . .

. . . Хорошо тем, кто верит в покой!
Ну, а если дорогой такой
Возвращаться под старую кровлю:
Вдоль по улице, по мостовой,
До тротуаров наполненной кровью?

О МНОГОМ...

(из книги «Кресты и перекрёстки»)

— Вы думаете, легко убить женщину? Как бы не так! «Слабое создание», «слабое существо», «слабый пол»! Хорошо, нечего сказать, слабый! Живучи, как кошки!

Работал я тогда в одном из столичных строительных трестов. Приходит раз в управление наш инженер по технике безопасности Николай Сергеевич — бледный, трясущийся, лица на нем нет.

— Ну, — говорит, — влип! За пятнадцать лет работы моей — первый смертный случай! Помрет, обязательно помрет!

— Да кто помрет-то? — спросили мы его.

— А на стройке, на пятом участке, упала одна баба — подсобница-каменщица, — с лесов ахнулась, с пятого этажа. И ведь упала-то как: прямо на арматуру! Стройплощадка узенькая, ни развернуться, ни повернуться нельзя: и клетки кирпича, и арматурный двор, и балки двух тавровые, и лесоматериалы — всё в куче... И лешишки-то дрянь... Ох, дела!

— Н-да, — говорим, — оно, действительно, положение твоё, прямо сказать, дерьмо... Хуже и не придумаешь...

За следующие две недели полный и краснощекий Николай Сергеевич буквально сошел на нет: не человек, а высосанный глист какой-то — белый, подергивающийся, худой, с безумным блуждающим взглядом, с поседевшей и прорежившейся шевелурой...

И вдруг, замечаем, начинает ощущаться в нем какое-то оживление. Нет-нет и улыбнется. Нет-нет — и румянец пятнами выступит на щеках.

— Как дела, Николай Сергеич?

— Ничего, — отвечает, — поправляется моя бабонька-то. Четыре шва на черепушке, но уже сросся. Скоро опять на стройку пойдет...

— Ну, а с судом как?

— Обладилось дело, выйдем из положения...

— Да как же выйдете-то? Ведь все-таки чуть-чуть баба не угрохалась?

— Да она-то и заминает дело... Я на ней, стерве, жениться обещал.

Ловок был, бестия, что и говорить! Так и избежал тюрьмы или лагеря — шестью месяцами «принудки» с вычетом 25% зарплаты только и оплатился...

Прихожу я как-то на другой строительный участок. А вел работы на нем Пров Серапионьч Кашалотов (и придумает же наш русский народ фамилии!), весь в оспинах здоровеннейший мужчина — прораб из старых казенных десятников.

— А Скорпионьча нема на стройке, — говорит мне его помощник, техник Борисенко: — как есть болеют и по-своему болезнь свою пользуют...

— Это значит — опять запой.

Серапионьч, или, как звали его рабочие, «Скорпионьч», был чрезвычайно колоритной фигурой. Коммунист «ленинского набора» (с 1924 года), он был типичным кулаком-подрядчиком.

Сам из плотников - костромичей, почти неграмотный, он был великим практиком, и за свои пятьдесят-пятьдесят пять лет (а на стройке он и вырос) построил не один десяток заводов, храмов, клубов, жилых домов. Все лучшие архитекторы, крупные инженеры и расчетчики обращались к Кашалотову, когда надо было — после всех расчетов и изысканий — взглянуть глазом практика на их проекты, особенно купольных перекрытий — храмов, концертных зал, театров.

Скорпионыч брал чертежи пятернями — толстыми, густо заросшими рыжими жесткими волосами, с короткими курбатыми пальцами и кривым большим пальцем. Он никогда не рассматривал их один. Рядом с ним всегда находился его многолетний помощник — десятник из плотников, неграмотный худенький старик Алтынов. Был он, при этом, не только односельчанином, но и свояком Скорпионыча.

— Пойдет, Алтыныч? Не подкачает?

— Энта хвермочка чтой-то не таё, Пров Серапионыч...

— Пересмотреть надоть, мы с Алтынычем что-то не верим расчетам вашим...

И пересматривали. И обращались к Скорпионычу и Катонин, и Шуко, и Оль, и Дмитриев, и все академики, профессеры — заслуженные и незаслуженные...

По временам на Кашалотова нападал запой. Начинался он всегда весьма своеобразно. Здоровенный и крепкий, как дуб, не подверженный никаким простудам, инфекциям, эпидемиям, — Пров Серапионыч был мнителен до чрезвычайности. И всё лечился. А основным элементом его снадобий был всегда чистый спирт или денатурат.

Лечебные настойки делались на дождевых червях, ржавых гвоздях, муравьях, кузнечиках и сосновых опилках.

Когда строился на Литейном — угол Шпалерной — колоссальный дом ГПУ-НКВД, — его, этот дом, «одева-

ли» в мраморные плиты. Плиты эти добывались непосредственно на кладбищах — путем разорения так называемых «безхозных» могил.

Перед тем как их пустить на облицовку, с могильных плит стачивали надписи, и на стройке было великое множество мраморных опилок.

На стройке этой работал и Скорпионыч.

— Рахит у мене, — сипел, как продрогший контрфагот, Кашалотов, — пользую его настойкой с гробниц. Мрамер добротный, старорежимный... Больше с плиты княжны Трубецкой..

Сейчас Скорпионыч лечился настойкой на мухоморах.

А жена его, тщедушная и махонькая старушонка — ей было не более пятидесяти лет, но можно было дать и все семьдесят, — избивалась им в это время жестоко и чем попало.

И так — лет тридцать-тридцать пять подряд. Муж бил ее бутылками, ногами, топтал, выбрасывал из окна на мостовую (их квартира была на втором этаже); он ломал ей руки, рвал волосы.

Но живуча женская натура!

И когда Скорпионыч был трезв (а такие недели выдавались нередко), роли резко переменялись.

Громадный, могучий, рябой — он боялся тогда, как огня, своей хлипкой половины.

И часто соседи наблюдали через замочную скважину, как жена, с кряхтеньем забравшись на стул, кричала Скорпионычу:

— А ну, подь сюды, подь-ка, чортушка партийный! А ну, иди, иди-ко сюды, Ирод!

И муж покорно шёл в своей Евдокии Семеновне и давал ей запускать костлявые грабли в свои жесткие волосы или глухо ворчал, когда получал от нее затрепину.

— Опять вчерась настойку выдумывал? Опять чем-то заболеть задумал, погибели на тебя, дьявола, нет?!

А раз как-то, лет восемь спустя, идя я с работы на управленческий лагпункт. А итти-то мне было километра четыре — через лес, по-над

берегом Ухты. Было уже часа три ночи.

Ночь была лунная, начинались заморозки. Я засиделся над составлением генеральной сметы на строительство Ухтинской Турбоэлектростанции. Домалывал я тогда последний год своего пятилетнего срока заключения, и в инженерном мире лагеря, среди заключенных, был, как говорят, «шишкой не шишкой, а не маленьким бугорком».

Удалось мне достать в «вольнонаёмном» буфете управления лагеря довольно много пирожков, бутербродов с маслом и колбасой и пирожных, и я нес их Ане...

Вы ухмыляетесь? Роман, мол, любовь под сенью лагерей НКВД?...

Я разочарую вас, господа: у нас бывали и романы, но были и чисто дружеские, чисто человеческие отношения с женщинами.

Аня сидела по «ЧСИР». Знаете ли вы, что такое «ЧСИР»?

Я тоже не знал этого. И узнал только за несколько месяцев до описываемых мною дней.

...Хмурый, дождливый июньский день 1940 года. Приполярье. Управленческий лагпункт Ухто-Ижемского лагеря НКВД, как я уже говорил вам, примерно в четырех километрах от столицы лагеря — северного городка Чибью (Ухты).

Серый, осклизлый частокол, окружающий бараки, колючая проволока, вышки с часowymi.

Вокруг — чахлый зырянский лес. Моросит.

Нас выгнали во двор для ежевечерне производящейся поверки. Усталые, после официально десятичасового, а фактически — 12-14-часового рабочего дня, дважды проделавшие — в большинстве под конвоем — четырехкилометровую прогулку на работу и с работы, — заключённые вяло и медленно строятся в колонны.

Вышла комендатура и начальники трудколонн — все из числа уголовников и «бытовиков» (т. е. растратчиков, взяточников, казнокрадов).

Смотрим — в колонне женщин, что строится у лагерного клуба, — новые лица.

Значит, прибыло пополнение. В числе прибывших несколько красивых, стройных. Но какие все исхудалые, и какой у всех изнуренный вид!

Несмотря на все лагерные «рогатки» — запреты общения с женским баракком, несмотря на слежку со стороны комендатуры и лагерной охраны, — всё же скоро состоялось знакомство с «новенькими».

Все они прибыли к нам из Томского политизолятора. Две из них, помоложе, — с формулировкой «ЧСИР», третья — красивая женщина лет сорока — с двумя формулировками: ЧСИР и КРТД.

Ну, что такое «КРТД», все мы отлично знали: «контрреволюционная троцкистская деятельность». Но что же такое «ЧСИР»?

Ответ не замедлил: «член семьи изменника родины».

Несколько позднее, на других лагпунктах, я встретил ещё многих женщин, заключённых Коллегией НКВД в лагерь с этой формулировкой.

Женам арестованных, главным образом партийцев, механически дается пяти- или восьмилетний срок заключения в лагерях или политических изоляторах, как «членам семьи изменников родины» — ЧСИР.

Казалось бы, не нужно ни следствия, ни предварительного заключения. Ведь формулировка осуждения не требует установления хотя какой-либо виновности репрессированной: член, мол, семьи — и всё тут. Но я не встретил почти ни одной из женщин, получивших сроки заключения с этой формулировкой обвинения и не испытавшей при этом мучений, пыток, избиений и насилий...

Аня — инженер-химик, тридцати трех лет, по происхождению — из крестьянок. В Крестах, ленинградской тюрьме, ее зверски избивали шесть следователей.

Видите ли, если доверить следствие одному следователю, то он может уклониться от рукоприкладства и пыток: не все ведь садисты. А вели-

кий и непревзойдённый, космический и всемирно-исторический изволил сказать: с контрреволюцией в белых перчатках бороться неспособно... — и вакханалия пыток была, тем самым, узаконена и сделана морально и юридически обязательной. И, если один-на-один следователь нередко шипел подследственному: кричи как можно громче! (как было с моим другом Н.А.П.), — то, во избежание подобного саботажа негласных постановлений партии и правительства, на подследственного напускают от пяти до восьми следователей: во-первых, люди при этом звереют (психология толпы, хотя бы и маленькой), а, во-вторых, друг друга бояться и уж бьют добросовестно... А бьют, по-преимуществу, сапогами по половым органам, отчего истязатели звереют окончательно.

Били по чему попало и Аню. Били до тех пор, пока она полумёртвой не падала на пол, где еще получала несколько ударов сапогом по ребрам. Затем ее раздевали донага и бросали в холодный, сырой подвал. Как уж там могли жить крысы — один Бог ведает. Но они жили там, и нельзя было ни на минуту заснуть — изголодавшиеся крысы набрасывались на заключённых.

Однажды, после «допроса» с избиванием и ругательствами, следователь сообщил Ане:

— Сознавайся, шкура, что сама троцкистской была! А не то худо тебе будет... Мужа твоего вчера спали налево...

Муж Ани — старший инженер на одном из крупнейших заводов Ленинграда — был коммунистом с 1918 года. Подпольщик в тылу у белых, начальник партизанского отряда на Деникинской Кубани, он ни на линию не уклонялся от «генеральной линии партии». Принадлежал он к тем недалёким, но крепким и, по-своему, честным партийцам, которые, чтобы заглушить сомнения, заглушить голос совести, находят оправдание для всего: то — социальная целесообразность; то — диалектика; то — старое:

«цель оправдывает средства», подчас не совсем аппетитные.

Была коммунистской и Аня: так хотелось верить, что вся эта кровь льётся не напрасно, что за втра страны и народа — величественно и радостно. А потом большевики дали и ей и её мужу возможность окончить ВУЗ, стать инженерами...

И когда Ане сообщили о расстреле мужа — она не выдержала. Вытерпевшая недели пыток и измывательств, она теперь уже не имела больше сил жить.

В тюрьмах НКВД у вас отбирают всё: пояса, шнурки, цепочки, даже срезают пуговицы: у вас хотят отнять всякую возможность самому покончить с собой. Но Аня связала петлю из чулок и повесилась, зацепив импровизированную веревку за решотку окна.

Из петли её, впрочем, сразу же вынули (в «глазок» вашей камеры то и дело заглядывает «попка» — коридорный охранник) и отняли и чулки.

Та же история была и у Гали, вдобавок изнасилованной следователями. Молодая двадцатидвухлетняя женщина, также жена коммуниста — горного инженера, помещалась и просидела около года в тюремной психиатрической больнице.

По выходе из «психарни» Галю, помещённую в общую камеру тюрьмы, случайно узнала, что муж её, обвинявшийся в измене родине, каким-то чудом себя реабилитировал, и, хотя и с выбитым на следствии глазом, но освобожден и даже в партии восстановлен.

— Ну, теперь меня вот-вот освободят! — подумала Галю: — ведь сижу я только за мужа!

Но время шло, а Галю и не думали освобождать.

Галю написала, наконец, ходатайство, объясняя все обстоятельства своего дела. Но на все посылавшиеся ею из тюрьмы и лагерей ходатайства следовал один и тот же лаконический ответ: «Оснований для пересмотра дела нет»...

И она осталась в лагере без права переписки и без посылок из дому, как, впрочем, и все ЧСИР...

А когда посылки и переписка — уже в конце 1940 года — были им разрешены, Галя всё равно не получила ничего ни от мужа, ни от матери. Никакого ответа на письма. Никакой весточки.

Несколько месяцев спустя, освободившись из лагеря, я заехал, по поручению Гали, к ее матери в Киров. Меня долго не хотели принимать. Наконец, вышла в переднюю еще молодая, но сильно поседевшая женщина:

— Попросите Галочку ничего не писать мне... О, разве я могу забыть её?!.. Но неужели она сама не понимает, что я — член партии, и у меня есть еще одна дочь и сынишка... И оба в комсомоле... Да, конечно, это ужасно. Но что может сделать она? О себе она не думает: её жизнь кончилась. Но партийная карьера её мужа, но судьба других её детей... Галин муж женился на другой. Что поделяешь? Такова жизнь.

— А никто не видел, как вы пришли ко мне? И как это вы! Да еще в лагерьном бушлате!...

Я поспешил уйти.

...Томский политизолятор, переполненный женами крупнейших партийных деятелей, наркомов, управляющих главками и трестами, директоров крупнейших заводов... Ни переписки, ни посылок, ни книг, ни газет. Грязь и теснота невероятные: щели-камеры с узенькими проходами и тремя ярусами деревянных грубо сколоченных нар. Клопы, вши, буквально хрустящие под ногами, отсутствие прогулок, бурый будан из «хряпы» — зеленых наружных листов капусты, триста граммов липкого хлеба в день..

В изолятор приехали на ревизию один из заместителей наркома внутренних дел и его жена — работник санитарной части НКВД.

Заключённые, почти сплошь бывшие коммунистки, обратились к нему, розовому, откормленному, вседозволенному:

— Мы не просим у вас ничего... Дайте только нам право хотя бы один

раз обменяться с домом письмами и узнать о судьбе наших детей...

— Нельзя.

— Но ведь мы, гражданин начальник, живем в условиях, которые не выдержала бы и мужицкая собака... Мы все умрем, и умрем быстро, и умираем мы самой гнусной и позорной смертью: нас съедают вши. У нас почти не бывает бани... Нас морят голодом... Дайте нам хотя бы работу, самую тяжелую, но требующую выхода за наши клопные стены..

— Кто вам сказал, что мы хотим иного? Мы посадили вас сюда не для того, чтобы «перевоспитывать». «Горбатого могила исправит». Так и отправляйтесь как можно скорее в могилу, — усмехнулась жена замнаркома.

...А через три-четыре месяца сам этот заместитель наркома был расстрелян или посажен лет на десять в качестве «троцкиста» (троцкиста), а его жена попала в качестве КРД и ЧСИР в тот же политический изолятор — Томский...

Это и была наша третья новенькая — сорокалетняя красивая женщина с металлическими, ничего не выражающими глазами.

Да, много, много может вынести это так несправедливо называемое «слабое существо»!

Но я давно уже уклонился от моего основного рассказа. Ведь это так всегда бывает: начнешь рассказывать одно, а на другое, как есть, свернешь всегда...

Итак, если вы не помните, то я напомню вам: я шел часа в три ночи из управления лагеря, где засиделся за срочной работой, на свой лагпункт, и идти мне надо было километра четыре через лесок, по пустынным в этот час берегам Ухты. Нес я из буфета вольнонаемных сотрудников управления контрабандой добытые там бутерброды, пирожки, пирожные. Большая их часть предназначалась Ане, все еще не оправившейся от двух лет пребывания в Томском политизоляторе. Сейчас Аня болела, и ей необходимо было питаться, питаться и питаться

ся. Это учел повар лагпункта, сорока-пятилетний грабитель-рецидивист, работавший и «по мокрому» (т. е. и с убийствами). Он давно уже предлагал Ане сало и сахар, не настаивая даже на исключительном праве обладания ею: — мне и доли достаточно, мол...

Немало женщин, доведенных тюрьмой и лагерем до отчаяния, шли на подобные сделки даже просто за лишнюю «пайку» хлеба. Но Аня не сдалась. И теперь обед ей выдавался в мизерной порции, суп наливался водянистый, каша давалась синяя — подгоревшие оскрёбыши со дна котла. Нужно было поддержать бабёнку, стойко отстаивающую свою женскую честь.

Иду я потихоньку домой. Хорошо побыть хотя бы часок одному! Самое изводящее в лагере — это необходимость все время быть на людях, невозможность ни минуты побыть одному.

Я — по занимаемому в лагере положению — пользовался индивидуальным пропуском для бесконвойного передвижения по лагерю в окружности на несколько десятков километров. Это давало мне возможность изредка уединиться, уйти в себя, уйти от людей.

Так вот: иду я по линии узкоколейки нашего песочно-гравийного карьера, и вдруг слышу шагах в двадцати от себя отчаянные крики. Оглядываюсь вокруг — и вижу, что на дне карьера лежит лагерная «воспитательница» культурно-воспитательного отдела — воровка Настька, а на ней сидит наш комендант Ахтям Сатыбалов и методически погружает в нее свой длинный финский нож. Настя вопит, и смертельная мука в ее криках.

Вот и посудите: что мне было делать? Поддаться непосредственному произвольному чувству и броситься на спасение Настьки? Но я безоружен и слаб, а Ахтям — коренастый узбек ил туркмен, отбывающий уже второй срок за убийство, — и силен, и вооружён. Он прирежет и меня, — и тогда погибнет и Аня: ее некому будет поддерживать...

...И я пошел дальше на лагпункт, стараясь не слышать все более замирающие крики Настьки... Крики перешли, наконец, в какое-то не то квохтанье, не то бульканье, и совсем затихли...

Вы скажете, конечно, дудки! Какая там «поддержка» какой-то там Ани! Просто-напросто струсил человек, а перед самим собою оправдывается: Аню, мол, поддержать будет некому, коли меня прирежут... Лукав ум человеческий, и еще лукавее сердце и совесть: всегда найдут оправдание малодушию своему и подлости своей.

Ну, скажу вам напрямик, чтобы вас успокоить: я вовсе не был так уж равнодушен к Ане: она нравилась мне. Но я не хотел и не мог ухаживать за нею: это было бы психологически неприемлемо для меня: после изолятора и истории с поваром это было бы чем-то вроде вымогательства...

Теперь, небось, поверили? Ох, до чего разуверились мы все в способности человека сделать, незаинтересованно, бескорыстно сделать хотя бы маленькое доброе дело! А уверяю вас, люди много лучше, чем они сами думают. Хотя, впрочем, и много хуже при этом.

На утро, передавая Ане (тайком, разумеется) продуктовое подкрепление, я узнал и подробности вчерашнего происшествия.

Ахтям давно уже предупреждал Настьку, свою лагерную подругу, что не потерпит ее постоянных измен. Но за подушку (обычная в лагере, среди уголовных, цена «ночи любви») или за полкилограмма конфет Настьку можно было сманить любому. И вчера Ахтям расправился с нею, как уже раньше, еще на воле, расправился со своей изменившей ему женой.

Двадцать три глубоких ножевых раны. И, главным образом, в грудь. Раны, нанесенные опытным мастером, убийцей-профессионалом, — до своего первого заключения занимавшим, правда, пост прокурора в одной из среднеазиатских советских республик.

И все-таки Настька через месяц опять изменяла своему новому «фартцеру»-любовнику направо и налево...

А Ахтям получил дополнительно два года лагеря за убийство...

Двадцать три ножевых раны... Это какое-то роковое число!

Это же количество ран было нанесено и Марусе Штейнберг, молоденькой заключённой по «ПШ» (подозрению в шпионаже), бывшей студентке Московской Консерватории. Маруся играла на альте в оперном оркестре нашего лагерного театра. Театра для «чекистского и вольнонаемного состава». Хорошенькая, веселая, одесситка по рождению и темпераменту, она пригласилась Мишке Чуме, бандиту, работавшему слесарем на ремонтно-механическом заводе в Чибью.

Чума — статный парень лет двадцати-двадцати двух, белокурый, с густой шевелюрой в тугих мелких завитках, с широко расставленными небольшими наглыми серыми глазами и невысоким лбом. Ходил он всегда в «правилке» — плюшевой жилетке, хороших шевьотовых синих брюках — низким напуском на лаковые мягкие сапожки. Так носят брюки все «блатные», все уголовники, и эта мода так и называется: «я не 58-я» (т. е. сию не по 58-ой статье, не за политические провинности).

Чума не был лишен известного благородства: не шел на мелкие кражи, помогал политическим расправляться с доносчиками — «стукачами».

Как-то в одном из бараков управленческого лагпункта воры играли в «колотушки» (карты). Один из мелких воришек — «ширмач» Колька Чайка — проигрался дотла. Ему уже никто не верил больше. А отыграться Чайке страх как хотелось. Но не хотелось и стать «заигранным»: проиграть себя полностью или частично.

Когда вор-игрок выходит из веры, когда он проигрался до последних штанов, он начинает играть на чужие вещи: на вещи не-уголовников — «фраеров». Проигрывает ваш пиджак, ваши сапоги, вашу рубашку. Он обязан их незамедлительно украсть и от-

дать выигравшему. Но случается, что мера «кредита» и здесь уже превышена и исчерпана. Тогда начинается страшная игра на самого себя: в виде залога вор проигрывает свои пальцы (и рубит их тут же, на глазах у всей игорной компании); проигрывает себя целиком, наконец.

«Заигранный» — проигранный в карты, вернее, сам себя в карты проигравший, — полный раб выигравшего. Он, если это выгодно выигравшему, меняется с ним именем и сроком: если у выигравшего осталось сидеть, скажем, пять лет до освобождения, а у проигравшего несколько месяцев. Он откликается на поверках на фамилию счастливого игрока, а выигравший на имя проигравшего. И проигравший досиживает срок выигравшего, освобождающегося и получающего документы неудачливого игрока...

За уголовниками учетно-распределительные отделы (УРО) лагерей почти не следят: они товар не «штучный», а массовый, — их принимают и сдают почти что счётом, и такая подмена легко осуществима. Тем более, что техническими работниками в аппаратах УРО являются те же уголовники и бытовики...

Чайка знал, как понравилась Чуме Маруся.

— Играю на Марусю, — крикнул он.

— А что, если не приведешь ко мне? Что тогда? Ежели она, стерва, откажется?

— Прирежу, Мишка. Б... буду, век свободы не видать! — прирежу.

Марусю предупредили. Она береглась, как могла. Её перевели на другой лагпункт, в сорока километрах от Чибью.

Но через месяц Чайка всё-таки прирезал ее...

Вы спросите, где же тут романтика? Подождите немного!

А это было в суровом полярном лагере НКВД. На Амдерме. Тридцатые годы. Эпоха относительного «либерализма» в отношении к лагерникам. Разрешались даже «в виде особой по-

ощригательной меры» сожительства — лагерные браки заключённых, регистрировавшиеся в самом страшном отделе лагерей («оперчекистском»).

Она — изящная, хорошенькая, легкомысленная чертёжница конструкторского бюро. В прошлом — провинциальная эстрадная певица. Она и теперь не без успеха пела на сцене лагерного клуба цыганские романсы и интимные песенки.

Он — осуждённый за «вредительство» инженер-строитель. Хороший специалист, он был человеком, всецело поглощённым своим делом. Вне расчетов конструкций для него, казалось, не существовало ничего. Он был сух, суров, подтянут и сдержан. Душа его была застёгнута на все пуговицы, как и его всегда аккуратно подштопанный пиджачок. Он мог часами обдумывать способы наиболее рационального расположения деловых записей (а не деловых он бы и не делал никогда) в своей записной книжке. И всё своё свободное от лагерной работы время — а его было очень немного — отдавал технической литературе или изучению туго дававшихся ему иностранных языков. Тщетно было бы заговорить с ним на какую-либо общую тему. Он даже не презирал эти разговоры — он просто не понимал: ну как может уважающий себя мужчина интересоваться подобной чепухой? и решал незамысловато и определенно: блажь. Приземистый, ширококостный татарин из Казани или Симбирска, он не имел ни друзей, ни приятелей среди лагерников. Другими заключёнными он интересовался исключительно со стороны их деловых качеств. Долгое время никто не мог приписать ему и ни одной женщины. И так как в каждом скопище людском, а тем более принудительном, это последнее обстоятельство раздражает своей необычностью, — ему постарались приписать целую серию противостественных пороков и извращений: что вы хотите? — татарин... У них на востоке... — И глаза говоривших покрывались маслом — в предвкушении целой серии «восточных» анекдотов «для курающихся».

Высоко ценимый в лагере, он был заместителем начальника проектного отдела и фактическим председателем в квалификационной комиссии.

Квалификационная комиссия — одно из самых важных учреждений в лагере. Если вы можете как-то просуществовать, попав на инженерную, административную или бухгалтерскую работу, на работу артистическую, врачебную или канцелярскую, то направление вас на общие физические работы вы должны расценивать, как почти верную смерть — от истощения, перенапряжения всех ваших сил, от нечеловеческих условий жизни и работы.

Чуть ли не ежемесячно в лагерь прибывают новые и новые этапы заключённых. Всех прибывших нужно проверить, определить их квалификацию, направить на работу. На вас смотрят сотни, тысячи умоляющих глаз: — спаси! Люди лгут, приписывая себе небывалые специальности — лишь бы попасть в аппарат и избежать общих работ и, тем самым, смерти. Но спасти можно максимум нескольких человек. Аппарат и так раздут и забит до отказа работниками, да и строго лимитирован: 10% от общего числа заключённых.

У непривычного человека разрывается сердце, когда он видит, как пожилой профессор-юрист прикидывается специалистом по металлическим конструкциям. Что ж из того, что завтра обман обнаружится и профессора с позором изгонят из производственно-технического отдела? А, может, это будет только послезавтра? А, может, и обойдётся как-либо?.. Кто может знать?

В квалификационной комиссии татарин был неумолим. Так, должно быть, его предки осматривали и ощупывали рабов на волжских холопных рынках. Он был идеальным для целей лагеря руководителем квалификационной комиссии, рассматривавшим измученных, изнуренных тюрьмой и этапом людей только в качестве винтиков, более или менее необходимых производственному механизму

лагеря. Никакой поблажки, никакой пощады, никакого сожаления.

Но её, эту каскадную певичку, он сам — неожиданно для всех — выхватил из этапа.

Может ли она чертить? —

О, да, конечно, может!

Если бы её спросили, может ли она быть конструктором боевых самолетов, она тоже ответила бы: да! Ведь попасть на общие работы куда-либо в лагерный совхоз, вместе с захваченными на улицах проститутками, вместе с воровками и притондержательницами... О, нет, она не вынесла бы этой жизни! — она умеет чертить.

...Уже около года, как он делал за неё — во внеурочное время — все чертежи, так как чертёжницей она оказалась никакой, да притом была ленива и неаккуратна.

Он отдавал ей своё денежное «премвознаграждение» (так называется та до смешного жалкая оплата труда, которой пытаются — наряду с наказаниями — стимулировать труд заключённых). Он отдавал ей все свои посылки из дому, лучшую часть своего инженерного пайка.

Он не докучал ей, требуя её любви. Может быть, она бы больше его ценила и уважала, если бы он просто взял её, а то: какой же это мужчина? Но он всё так же любовно и бережно относился к ней. Он примирился даже, когда она отдалась другому — его подчинённому, инженеру конструкторского бюро. Связь с этим последним была закреплена регистрацией в третьем отделе лагеря. Он не только простил ей эту связь; он не только не мстил своему сопернику, но даже стал особенно предупредителен к нему.

Что же? ведь он в прошлом просто татарин, некрасивый, неотесанный. За что же она могла бы полюбить его? За те маленькие одолжения, которые он делал ей? Фи, какая гадость! Разве это не было бы подлейшей куплей с его стороны? А ему эти маленькие подарки ей, эта маленькая помощь ей доставляют столько радости! А она? она так скрашивает его серую жизнь одним фактом существования своего.

Он не мыслил в этих выражениях. Он, вообще, мало размышлял о себе. Да и не привык к этому. Но он так чувствовал. И он попрежнему все свои деньги, лучшие вещи и посылки отдавал ей.

Но на хорошенькую исполнительницу цыганских романсов обратил свое высокое внимание сам начальник грозного внутрилагерного ГПУ — оперчекистского третьего отдела.

Как-то на концерте в клубе он задумчиво сказал своему соседу:

— А бабёц подходящий... Совсем ладная бабёнка...

Вскоре же лагерный муж нашей героини был отправлен на остров Вайгач, также входивший в систему лагеря, а наша Амдерминская Карменситала стала временной подружкой все-сильного чекиста.

Новое свое положение приняла она бездумно и даже радостно: безоблачная сытая жизнь в лагере и, очевидно, досрочное освобождение «за особо ударную работу»... И пусть шипят бабы: «Ударница... Чем только ударяет-то она?» — всякая из них с радостью, небось, уцепилась бы за такой шанс...

Но татарин долго не мог поверить случившемуся.

Нет, не может быть! Ведь она — она была для него всем: она осветила его жизнь, осмыслила её, она была для него «творимой легендой»...

И так скоро — на другой же день после отъезда — забыть своего мужа?

Мать Гамлета, по словам его сына, (в его уме вдруг всплыли далекие школьные обрывки воспоминаний) «еще и башмаков не износила», как забыла мужа и сошлась с его убийцей.

Но ведь башмаки-то, да еще в средние века, носились годами...

А тут...

Татарин пришел в чертёжную сам не свой.

— Ты живешь с ним? — он назвал фамилию чекиста.

— А тебе-то что? — рассмеялась она. — Ты ведь всё равно будешь так же любить меня, ожидая, не перепадут ли тебе объедки со стола чужой

любви... Только теперь, брат, тю-тю! — Третий отдел... понимаешь?... Да, впрочем, разве ты мужчина? Слунтйй противный!... Вот и руки у тебя, как мокрые тряпки...

— Да, но ты ведь любила своего мужа... И как страдал твой муж, когда его отправляли на Вайгач!

— Не твое дело. Убирайся! Как ты отвратителен мне!...

Он, не помня себя, дважды всадил в неё перочинный нож.

И он не был убийцей. Нет!

Она первая убила себя для него, в его душе. И что значили эти ножевые удары?

Да и реально, к слову сказать, он не прирезал её. Нет, убить женщину не так легко, я вам говорю!

Она умерла через две недели от отравления: желудочные соки перестали выделяться: результат нервного шока.

Что -то в этом роде объяснял мне несколько лет спустя лечивший её врач Макар Павлович Толстых. Но, может быть, я и путаю.

А татарин, сразу же после убийства, пришел в оперативную часть, сухо и толково рассказал обо всем случившемся, отнюдь не впадая в лиризм, а лишь описав всю внешнюю сторону убийства. Мотивов последнего он, конечно, также не указывал.

Ему присудили еще пять или восемь лет — дополнительных к его сроку, — но что значили для него эти

годы? Ведь он сам убил себя, её убивая. Смысл жизни своей убил.

Сдержанный, суровый, молчаливый, он никому не рассказывал своей истории. Да и едва ли рассказать бы смог, если бы даже хотел: не привык он в душе своей копаться.

И она, эта его история, и отвоплотилась у меня так сухо именно потому, что внутренняя сторона её могла только чувствоваться: мы видели только скорлупу событий. Ну, а, как говорится, «чужая душа потемки»...

А, может, так и лучше? Может, лучше не есть пуда соли с ближними своими? А то съешь с ними пуд-то этот, да и захочется, чтобы ближние эти сделались во-о-он какими дальними!

— Ну, вздумали чем застрашать и ужаснуть! Эх, подумаешь, невидаль: насилия следователей, пытки, истязания... Это после-то Хиросимы, кацетов, зверского уничтожения миллионов евреев, поляков, русских военнопленных! Нет, батенька, нас теперь ужасами не проймешь!

— Так в этом-то ведь главный ужас и заключается, что ужасаться мы перестали чему бы то ни было...

— Ну, где же композиция в вашем рассказе? Да и не определишь: рассказ ли это, очерк или фельетон, мемуары? Ералаш какой-то!

— Да и не определяйте жанра этой вещи, господин доцент литературоведения! Ведь и жизнь-то порядочный ералаш!

Грибная баллада

1.

На барометре переменнo,
Будильник вытpeщaл пять.
Надо встaть непременно,
Трудно, но надо встaть.

Времени проспaнный лишeк
По полю нaверстaв,
Обогнaть бaвaрских мальчишек
На моих нa грибных мeстax.

Все сны они мне измaячили —
Тропки в хрусткую тишь!
Этo — как нa свидaние нaзнaчeнное,
Так же вoт спeшишь.

— Гриб!
Он уж гдe-то под ёлкoй,
Незaмeтно, как крoт,
Нaст пробурoвив колкий,
Выглядывaет и ждeт. . .

Ножик, корзинкa... трoгaю!
Пoгoворим дoрoгoю.

2.

Бр-р, как свежо! За облаком
Низкое солнце не в счет.
По телеграфным проволокам
Щебет течет и щёлк.

Это — на юг маршруты
Обсуживают стрижи.
Желтый, ветром поддутый,
Лист впереди бежит...

— Осень!

Скажу по совести:
Здесьних ландшафтов фас,
Как бессюжетные повести,
Не увлекает вас...

Край чешуйчатых кровель!
Но осень в этом краю
Очень похожа в профиль
На северную, мою.

Ну, теперь мокрым лугом — и
Вот и опушка с буками!

3.

Сколько же пади! Звону-то!
Росной дрожащей блесны,
И паутинкою тронуты
Колкие лапки сосны,

А над лесной над дорожкой
Сизая, хрупкая ясь
Первой солнечной крошкой
Там и здесь занялась.

Эти листвяные замети,
Шорохи, звоны, грусть.
В них встревоженной памятью,
Как в родное, смотрюсь.

Уж не родные ли дали
Жалобу милых губ
В эту вот прель вшептали,
В этот звенящий хруп?..

Лирику впрочем побоку —
Не прозевать бы тропку!

4.

Ух, стало солнце размаривать!
Корзинка тянет — беда!
Умеют грибы разговаривать?
Я думаю — да.

Этот вот, как ведь никнул
Шляпкою в хвойный шлак!
Наверное, он мне крикнул,
А то бы мимо прошла.

Или вот тот, смуглым саженцем
В мшистые врос зелены, —
Он подмигнул мне, кажется:
— Вот, мол, он — я!

Плечи и грудь на выкате,
Нежностью красок — севр...
Экий красавец выкатил!
Чей, скажите, шедевр?

Как бесконечна тайна,
Того, Кем все это изваяно!

5.

Мухомор партизанит в ельнике,
Силу взял...
Из-за тебя, бездельника,
Исцарапалась вся.

Самая, брат, пора пинку, —
Кайся, на помощь зови!
Впрочем, за то, что ты — в крапинку,
Не сплошь красный — живи!

Такие же вот, только карие,
Мухомористые на взгляд,
Хозяева давеча жарили —
Вкусные, говорят...

За кружевными сосёнками
Что-то желтеет вразброс —
Пенек замшелый опёнками,
Как бородой, оброс.

Что же, как говорится:
Нож есть, пожалуйста бриться!

6.

Страшен ты, братец, очень,
«Чортов гриб»,
Рыж, как рысь.
Не выйдет, не обморочишь, —
Брысь!!

Хвойная просека-улица,
Влажная, топкая хрусть.
Кто это там маскируется?
Неужто — груздь?

Ну, полезай в лукошко,
Соскучился в немцах, чай?
Дай-ка подрежу ножиком:
Может, ты — молочай?

Ножик — он не обманет.
Верно, груздь: сух и крут.
У нас бы тебя — в сметане,
Здесь — не берут...

Разный, брат, вкус человеку дан.
Вишь ты: и класть тебя некуда!

7.

Привал. Пригорок пригрело —
Чуть теплым струит парком.
В кучу грузди и белые
Ссыпаны кувырком.

Теперь — уложить попригляднее,
Повыскоблив добела,
Завидней чтоб и наряднее
Корзина моя была...

Какая полянка! Розовый
Вереск и влажный мох,
Ветер в косах берёзовых
Вздувает переполох,

Солнцем вся запорошена,
Хрупкой веснушкой листа...
Какая полянка хорошая!
Словно бы — наши места.

У нас по лесным по выделам
Такие полянки видела...

8.

И кажется: там, за лесом,
Истаяли ребра гор,
Под голубым навесом —
Бескрайный вылег простор,

И, режа луга дугою,
В обрывах, в кустах ивняка,
В лиловую даль уходит
Сверкающая река.

Ветер россыпью росной
Играет, травы креня,
В воздухе только — сосны
Да жаворонки звенят...

Было всё это? Так ли?
— Срок пробежал велик —
Сосны смолкою плакали
(Не провожали ли?),

И на чешуйчатом цоколе
Белки пушистые цокали...

9.

Лирическому бы ладу
Вовек не услышать «стоп».
Да скажут: хотела балладу,
А вышло — так, ни про что.

А может быть, всё-таки вышло?
— Про то, как — та и не та —
Знакомым приветом дышит
Чужая нам красота.

Про то, как с разлукой в паре,
Которую не избыть,
Чудесно в лесах Баварии
Смоленские брать грибы,

Распутывать хрусткие тропы,
По балкам — искать ключи,
Родные угадывать шопоты
И слушать, как сердце стучит,

Как брагой вскипает, бродит в нём
Горячее слово —
Родина!

1950 г.

Владислав Ходасевич

РУССКИЙ ПОЭТ

1886-1939

Пора признать — помимо всяких элементов политики и политической полемики сегодняшнего дня, — что поэзия русская кончилась (будем надеяться — на время), и случилось это в те годы, когда в эмиграции умерли последние русские поэты, сформировавшиеся до революции 1917 года, а в СССР были сломлены последние попытки свободного творчества. Один или два поэта, еще живых в условиях западной жизни, дающей им свободу и неизвестность, возможность творчества и полное отсутствие аудитории, не есть русская поэзия, как не есть русское драматическое искусство те пять-шесть актеров, которые рассеяны в изгнании. В СССР же даже самые ярые поклонники хорового пения и частушек не признают поэзией распеваемые по всей стране военные и любовные куплеты. В эпоху второй мировой войны случились факты большой важности: смерть Ходасевича и Цветаевой лишили русскую литературу двух ее наиболее значительных «свободных» представителей, а директивы, данные советским правительством Пастернаку, и насильственное «перерождение» Ахматовой удушили литературу у себя на родине. Кто остался там? Авторы красноармейских песен и романсов для фильмов. Кто остался здесь? Из молодежи, выросшей в эмиграции, несколько человек ушло в иностранную литературу; из молодежи, прибывшей во время войны, есть

несколько «надежд», но о них говорить еще рано.

Итак, мы — живущие, живые, — поставлены перед фактом исключительным в истории литературы: завершением полным и несомненным некоего периода, длившегося около 200 лет и давшего бессмертные памятники русского духа. Несмотря на имена Гоголя и Достоевского, русская поэзия была, в ее целом, спиритуальнее, драматичнее, насыщеннее и сложнее русской прозы и оказалась менее живучей, чем эта последняя. Но гибель ее, в том мире, откуда постепенно уходят великие ценности прошлого, прошла почти незамеченной. Причин для этого много: нежелание додумать до конца трагедию, зрителями которой мы являемся; некоторый бессознательный оптимизм, заложенный в человеке, позволяющий ему говорить в минуты уже совершившейся катастрофы: «Может быть, всё не так еще страшно, как кажется»; насыщенное грозными явлениями время, в котором мы живем, ведущее нас от утраты к утрате. Как бы там ни было, один из последних поэтов, живших среди нас, Владислав Ходасевич, своим творчеством завершил великий период русской поэзии. Этот период начался с «Оды на взятие Хотина» Ломоносова (1739 г.) и пережил, в гармоническом соответствии со всей западной поэзией, свое развитие и свой расцвет.

Владислав Ходасевич, наполовину польского происхождения, родился в Москве в 1886 году и будучи молодым студентом и начинающим поэтом был вовлечен в литературную жизнь Москвы, в которой главенствовал в те времена Валерий Брюсов. Это был богатый талантами, шумный, горячий период русской жизни, где символисты (поэты и прозаики), художники, театральные деятели, музыканты после нескольких десятилетий культурного застоя творили культуру на глазах у окружающих их людей. Андрей Белый, Брюсов — в поэзии, как Станиславский, как Александр Бенуа, как Рахманинов — в своей области, участвовали в том сдвиге, который тогда начался в России и который имел свое соответствие и в областях экономической, социальной, философской, технической. Между 1905 и 1917 годом Ходасевич успел вырасти, вкусы его окрепли, творческие идеи созрели. В период падения России он вступил сложившимся человеком.

В истории русской поэзии, помимо школьных определений «романтизма», «классицизма», «символизма» и пр., ясно можно различить две основные линии, которые в течение двух столетий шли параллельно (переплетаясь один единственный раз в Пушкине) и дали ей тот исключительный по богатству облик, которым она отличается. Одна из них как бы рождена мудростью, другая — певучестью.

Не будем забывать, что в поэзии, как и вообще в искусстве, форма и содержание слиты неразрывно, что в истинном произведении искусства форма и есть его содержание, и потому не будем удивлены потивопоставлением мудрости — певучести, то есть противопоставлением свойства содержания — свойству формы. Мудрость — исходный пункт тех поэтов, которые шли от мысли в своем вдохновении, в то время как певучесть — исходная точка других, шедших от звука и мелодии. Державин и Батюшков были поэтами первой группы. Их поэзия мудра, она мысленна, в то время как поэзия Жуковского — певуча и чувственна. В гении Пушкина оба эти качества скрестились, хотя, быть может, первому из них было дано всё же некоторое преобладание. Лермонтов, Фет, Бальмонт, Блок, Цветаева — казалось бы, ничем друг с другом (или почти ничем) не

связанные, довели до наших дней певучую линию русской поэзии. Боратынский, Тютчев, Анненский, Ходасевич продолжали нить, брошенную им их предшественниками: поэзия их более «глубока», чем «красива», более разумна, чем вдохновенна, более сурова, чем музыкальна. Эту глубину, эту мысленность, эту остроту Ходасевич довел до предела: он часто прозаичен, он иногда сух, он остер, насыщен, и творить для него не столько значило петь, сколько размышлять. Поэтические приемы XIX века, которые он любил, по-своему обновляя, воскрешать, сочетались в его поэзии с современной остротой поэтического восприятия и смелостью образов.

Очень рано его потянуло к скупости внешних эффектов, к скромности средств, к приглушенности звука, к прозаизмам, к интонациям не «эстрадным», но «камерным», — обстановка внешней жизни в России того времени (после 1917 года) подсказала ему в этом смысле его поэтический путь: кругом стоял громкий крик, пестрый хаос «зрелища», даваемого футуристами. Пять лет, в течение которых были написаны, быть может, лучшие его вещи, он прожил в Советской России в бедности, лишениях, угнетенный происходящим вокруг него, теряя сверстников и современников, подавленный грубостью и нищетой нового быта. Не было в этой внешней жизни ничего, что бы гармонировало с его мрачной, чистой, строгой и глубокой поэзией. Но за этим бытом сквозило для него непрестанно то бытие, которое, неузнанное и не разгаданное для большинства, так волнует и преследует поэтов. Этот мир отделен был для Ходасевича от иного только тонкой перегородкой, через которую он столько видел и столько слышал. «Дар тайнослышанья» не был ему, однако, легок. Как сказано в его замечательном стихотворении «Ласточки»:

Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплещешь земные очи, —
Не станешь духом!

Но страданий он не боялся, и всякая буря была для него бурей «излюбленной», где не бывает места сомнениям, жалости, ничтожным минутам. В стихотворении «Автомобиль» он говорит нам о страшных «пробелах души» —

Как бы от пролитых кислот,
где выжжено все милое, нежное, светлое.

Он порой почти грубо, резкими диссонансами напоминает нам о «биении иного бытия» и о возможности избранным, стойким и бесстрашным, а главное — напряженно жаждущим, перешагнуть туда.

В феврале 1921 года в Петербургском Доме литераторов был устроен один из последних свободных литературных вечеров. Он был посвящен Пушкину. Это был тот именно вечер, на котором выступил Александр Блок со своей знаменитой (и столь пророческой) речью о поэзии и черни, той черни, которая собирается задушить поэзию. В этот же вечер выступавший Ходасевич пошел еще дальше в своих словах: он сказал, что наступит время, когда «в надвинувшемся мраке нам предстоит аукаться» — за неимением возможности свободно выражать свои мысли, а потому необходимо предварительно условиться, каким словом давать о себе знать, что избрать «паролем» для поэтов, которых вот-вот приведут к молчанию. «Условимся аукаться именем Пушкина, сказал тогда Ходасевич, чтобы найти друг друга в той страшной пустыне, в которой мы скоро окажемся».

Было бы ложно счесть эти слова за выскомерие. Ходасевич уже тогда имел ясное представление о том конце, который ожидает русскую поэзию. Объединяло ли его с поэтами его поколения сознание единого тяготеющего над ними рока? Нет, может быть, в то время этого еще не было. Он был, конечно, более озабочен личной своей поэтической судьбой и личной своей гибелью, чем судьбой своего поколения. Об этой судьбе и об этой гибели он продолжал писать в своих стихах. В них редко попадают так называемые «гражданские» мотивы — преобладает тема возможного и невозможного собственного спасения. Если, по слову Тютчева, его душа «не могла выстрадать счастья», то она могла «выстрадать себя». Среди «мелких правд» она искала большую Правду и не раз, как когда-то Блоку, ему хотелось найти наконец ту нить, за которую хорошо было бы дернуть раз и навсегда, чтобы в одно мгновение изменить весь мировой порядок, чтобы что-то наконец прорвалось, и открылось бы настоящее, то подлинное, ради которого только и стоит жить и творить.

Не стихийный акт, но индивидуальный

процесс занимал его мысли: как вырваться в пересозданное, как из своего здешнего «напряженного и сурового» мира выйти в иной? — в этом была вся его задача. И разрешению этой задачи помогало ему вдохновение, о котором он так отчетливо сказал в последних строках своей «Баллады»:

И нет штукатурного неба,
И солнца в шестнадцать овечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

Нельзя в пятидесяти строках сказать о глубокой сущности большого поэта, о тайных путях его поэзии. Нельзя ввести одной или двумя фразами читателя в мир Ходасевича, в мир жизни, соседствующий с миром смерти, в область его душевных и духовных преобразений. Три его сборника составили один небольшой том, выпущенный в Париже в 1927 году. Из этих трех сборников первый, вышедший в 1918 г., наиболее философичен, второй (1922 г.) наиболее совершенен и третий (1927 г.) наиболее трагичен. В первом из них, «Путем зерна», он пытается осмыслить ход времени. Особенно характерно в этом смысле стихотворение, которым открывается эта замечательная книга:

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и деды по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно.
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает
ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот
год,

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

Эти стихи в конце 1917 года прозвучали в России надеждой, она и была в Ходасевиче, пока он еще оставался у себя на родине. В 1922 году он эмигрировал — по собственной воле. Позже он узнал, что был в списке тех, кого выслали через три месяца после его отъезда. Он три года скитался по Европе — был в Германии, в Че-

хии, Италии, Англии, — наконец, он обосновался в Париже.

«Тяжелая лира», второй его сборник, вызвала следующее высказывание Андрея Белого:

«Как в содержании Ходасевич преемственно поднимает задания лучших традиций огромной поэзии нашей, так и в форме своей поднимается он к «стае славных» поэтов. И радостно: в наши дни родился очень крупный поэт. А рождение такое — есть редкость». В своей цельности, в своей силе, в своей терпкости и горечи книга эта — одно из исключительных явлений современной русской поэзии.

Тема ее — возвращение «домой» из земного ада, не то вольное возвращение, о котором говорили романтики, но возвращение невольное, неизбежное, роковое; тема ее — конец быта, конец временного видимого, смерть людей и вещей, после которой уцелеет только слабое дуновение духа — могучего в своей слабости вечного в своем мятущемся страдании и познании.

Ни жить, ни петь почти не стоит:

В непрочной грубости живем.

Портной тачает, плотник строит, —

Швы расползутся, рухнет дом.

Через несколько лет после выхода третьего сборника, «Европейская ночь», Ходасевичу суждено было умолкнуть. В последние 10 лет он написал всего около 15-ти стихотворений. Европейскую ночь он увидел ранее других и увидев ужаснулся ей и замолчал.

Но молчание это коснулось только его поэзии. В это именно десятилетие он выдвинулся в Париже, в русской печати, как литературный критик, из недели в неделю писавший в газете «Возрождение» свои критические статьи. Это не были рецензии на выходящие книги (за границей или в СССР), где главное — оценка содержания. Это было всегда глубоко продуманное и обоснованное высказывание по поводу данного произведения, затрагивающее попутно многие вопросы современности, как чисто литературные, так и философские, исторические и политические. Поэтому-то за эти годы многие из его статей нисколько не устарели, как обычно стареют писания профессиональных литературных критиков, наоборот — они приобрели подчас особый смысл в свете происшедших событий.

Особенно любил Ходасевич в своих темах в те годы возвращаться к вопросу общей судьбы русских поэтов и писателей в связи с российской действительностью, любил говорить о назначении и целях литературы, о подвиге поэта, об ответственности пишущего, о трудном пути писателя, сознательно этот путь избравшего. О значении этого «поприща» есть несколько упоминаний и в его стихах, но особенно ярко были эти мысли выражены в таких статьях, как «Кровавая пища» — которые сейчас, 20 лет спустя, кажутся столь же актуальными, если не более, чем раньше. Вокруг Ходасевича был круг поэтической молодежи, отчасти подражавшей ему, окружавшей его уважением и любовью и прислушивавшейся к каждой его оценке.

Одновременно с этой газетной, отчасти вынужденной, деятельностью он занимался, как впрочем всю свою жизнь, Пушкиным. В России Пушкин (как Гете в Германии) был особой наукой, так сказать, особым факультетом. Сейчас и это кончилось, конечно, со смертью последних пушкинистов (не только ликвидированы были пушкинисты дореволюционной формации, но и замечательное поколение молодых пушкинистов 30-х годов). В этой области, надо сказать правду, Ходасевич не сделал того, что собирался сделать — от всех его работ осталась всего одна книга «О Пушкине» и с десятка историко-литературных статей, разбросанных по различным журналам. Биография Пушкина, которую он мечтал написать едва ли не всю свою жизнь, осталась им не написанной.

Но зато он оставил по себе другую биографию — поэта Державина, которая дает всё, что только можно знать о личности, жизни и творчестве этого поэтического предка самого Ходасевича. 18-ый век, Екатерина II, восхождение скромного чиновника на верхи государственной лестницы, превращение провинциального молодого человека в великого русского поэта, до сих пор живого для нас, — рассказаны Ходасевичем в этой книге с простотой, живостью и тонким пониманием людей и эпохи. Есть в ней страницы, в которых Ходасевич выказал себя большим мастером русской прозы.

За несколько месяцев до его смерти в 1939 году выпили собранные им в одно це-

лое воспоминания о современниках, «Некрополь». Отличие этих мемуаров от многих других — в их ясности, точности и их правдивости. Ничто не расцвечено в них, не приукрашено завитком фантазии, — современники Ходасевича (отчасти — старшие современники) Блок, Горький, Брюсов, Сологуб и др. являются перед нами, воскрешенные сильным, верным и точным словом мемуариста, который говорит о себе самом лишь самое малое, самое необходимое. Без этой книги нельзя иметь полного понятия о «героях прошлого времени», об участниках краткого, но блестящего периода русской литературной жизни начала нашего столетия.

Будучи всю жизнь хрупкого здоровья, он и внешне был хрупок, и было в нем что-то от «духа», от призрака, какая-то легкость, связанное с ней некоторое изящество в походке и движениях. Болезненному с детства, жизнь всегда была для него бременем, а изгнание и мысль о судьбе России были непрестанным грузом, который ему тем непосильнее было нести, чем яснее открывалось ему будущее. Долго и мучительно проболев, он умер в Париже (где прожил 15 лет), предчувствуя войну и последующие за ней катастрофы (война началась через два с половиной месяца после его смерти). Ровно через год, в день его смерти, 14-го июня, друзья его не могли собраться на его могиле: в этот день вступили в Париж немецкие войска, а еще через три года вокруг этой могилы, на кладбище Биянкура, после страшной бомбардировки оказались развороченными соседние с ним гроба... Все это завершает его жизнь злоедей и вместе с тем гармонирующей с этой жизнью концовкой.

Литературно и житейски он был связан личными отношениями со многими русскими литераторами своего времени, глубоко ценившими его критический ум, его поэзию, его беседы. Дмитрий Мережковский так писал о его смерти:

«Я не могу еще сказать о Ходасевиче «был», мне хочется сказать «есть». Этот человек, своеобразно-талантливый, замечательный не только как поэт, но и как человек. Мне всегда было дорого в нем — дороже всего — это крепкое, ясное, непоколебимое отношение к «тамошнему» (совет-

скому). Много ли среди нас таких, как он — верных и мужественных до конца, до смерти? С этой верностью тому, что он любил и считал правдой, он ушел туда, и останется среди нас, живой. Вот почему я не могу, не хочу сказать о нем «Ходасевич был», я говорю: «Ходасевич есть».

В этом Мережковский был совершенно прав: Ходасевич был непоколебимым врагом режима нынешней России.

В разное время своей жизни друг Андрея Белого, М. Горького, З. И. Гиппиус, он вел с этими людьми переписку, которая много даст будущему исследователю нашего времени. Один из ближайших его друзей и верных ценителей его, В. Вейдле, написал о нем слова, которые, может быть, лучше всего объяснят читателю этого единственного в своем роде русского поэта:

«Быть может, писал Вейдле, надо еще объяснять кому-нибудь всю серьезность того, что нас связывает с этим поэтом, и того, что с ним связано для нас. Быть может, надо еще объяснять, что он действительно наш поэт, не в том только смысле, что он принадлежит к послепушкинской России, к послегегетевской Европе, нашей общей непрерывной истории, но и в смысле другом, более разительном, если и менее важном, делающем его самым глубоким современником наших последних десяти лет».

Изгнание — всегда трагедия, эмиграция — всегда несчастье. Но для поэта эмиграция есть гибель, и Ходасевич отдавал себе отчет в том, что уготовила ему судьба. Уйдя из России, он знал, что такое Россия; живя в Европе, он угадывал ее судьбу и понимал, к чему ведет ее завершение огромного исторического периода. Никогда за всю свою жизнь не произнося ни единого слова для «галерки», он еще за несколько лет перед смертью увидел, что впереди, по эту сторону смерти, нет ничего. В стихах об этом сказать показалось ему кощунственным — если нет ничего, то зачем стихи? Но в одном частном письме он, в 1932 году, обронил две фразы:

«У меня нет больше ничего».

«На гордых замыслах пора поставить крест.»

После этого он прожил еще семь лет.

БЕРЛИН – ОКНО В РОССИЮ

Изю дня в день открывается окошко в зону, в оккупационную армию, в Россию. Кто не питается живыми соками родины, тот высохнет и, как сухая ветвь, упадет от дерева, превратившись в хворост.

ИДЕИ ЛЕТЯТ НА ВОСТОК

Расцветали яблони и груши вдоль дороги, окружили озеро венком гирлянд, нивы — кружевом белых лепестков. По ниве шагает крестьянин и сеет. Сеет в шаг, медленно, обдуманно. Нива маленькая — сеет рукой, как сеяли крестьяне тысячелетиями.

Дорога свернула влево и потянулась прямо-прямехенько, рядами шагающих деревьев, весенних невест, вдаль. Пошли поля, покрытые мелкой рябью разрыхленной земли. Тут они большие, трактор ползает на одном. Тарахтит... Полвека, не больше, прошло, как резануло животворную землю лезвие бездушной машины. Человечество еще не знает, к счастью или проклятью.

Теперь уже ясно видна стена высоких деревьев. Коля, мой товарищ, говорит: «Свернем с дороги, здесь будем ждать!» Вошли в кусты и сели. С дороги нас не видно.

— Миша уже с двух часов там, наблюдает. Он прошел кругом, лесом. Вон в тех кустах лежит, шагов 500 будет...

Смотрим на часы. До сумерек добрых полтора часа. Мой товарищ точно знает, когда наступают сумерки. Всегда следит за сводкой погоды.

— Сегодня ветер переменчив. Утром был юговосточный, а сейчас — прямо на восток.

Прямо на восток! В душе защемило. Это не метеорология, а символ великого имени. Там тоже поля, там тоже цветут уже деревья, но... Мы

посмотрели друг на друга, и в глазах засветилось невысказанное: Родина!..

— Да, ветер тянет прямо на восток. Сегодня пустим большие, пятифунтовые.

— Сколько там наших?

— Тысяч пятнадцать будет.

— Попадем куда надо?

— Должны попасть. Вокруг казарм упадет много, всех не уберут. Находят в кустах и в лесу еще долго после чистки. Там учебное поле километров на 10-15 тянется. Это наш сегодняшний объект.

Сумерки начинают сгущаться, над озером стелется туман. По дороге слышны шаги. Мой товарищ выглядывает из кустов. «Наши!» Дает условный знак, те останавливаются.

— Коля?

— Да. Заходите!

Они проходят меж кустов и садятся.

— Ваня уже прошел?

— Нет. Он не здесь пройдет, — по той тропинке, чтобы нас не видели вместе.

— Фу, проклятый, тяжелый какой!

— Он опускает баллон с водородом в траву. Молодой парень, даже в сумерках видно, что белобрысый.

— Хорошо здесь! Водой и лесом запахло. Как в наших лесах, в Белоруссии. Как вы решили, к первому пойдем?

— Нет, ко второму. Сегодня будет большая акция. Миша и Ваня уже с двух там. Наблюдение обеспечено.

Стало уже темно. Коля вылез на дорогу и стал прислушиваться. «Пошли!». Ребята подняли тяжелые баллоны, портфели, набитые до отказа, и мы двинулись. Темная стена деревьев подходила к нам все ближе и ближе. «Подождите здесь», — шепнул Коля и исчез в темноте. Мы сели и прислушались. Мы были у самой дороги. По ней пронеслась легковая машина, обшарив световыми снопами фар деревья, кусты и дорогу. Здесь движение редкое. Дорога — это граница. Перешел дорогу — ты стал на советскую территорию.

Появился Коля, и мы, не проронив ни слова, пошли за ним, согнувшись, как на ночной разведке, чтобы не разглядывались наши силуэты. Мой товарищ толкнул меня, шепнул что-то. Тут лежал Миша, обеспечивая наш левый фланг. Дальше — Вася обеспечивал правый. За дорогой тянулись темные силуэты высоких деревьев, а за ними шагах в пятидесяти светились окна — два, три, еще... — целый ряд. Мы впивались глазами и слухом в темноту, не услышим ли голосов, ведь часто слушали мы здесь их пение.

Перешли за куст. Там кипела работа. Трое ребят прикрепляли пачки листовок. Шар надувался до чудовищных размеров, и на его гладкой поверхности отражался даже не приметный отблеск дальнего света. Готово! Мой товарищ приготовил и отмерил фитиль для близкого прицела. Он должен был действовать над самими казармами. Фитиль, блестя в темноте, как свечечка, начал подниматься всё быстрее и быстрее. Покоряясь ветру, шел прямо на восток, к казармам. Скоро исчез за деревьями. Ребята уже успели надуть второй шар. Работали спешно. Акция начата, надо торопиться. Теперь уже падают. Могут выслать команду. Пришлось бы уйти или принять бой. Теперь идут баллоны дальнего прицела, светлячки один за другим исчезают за деревьями. Бьем по площадям. Бьем динамитом наших идей, — идей свободы. Подхватят их? Знаем: подхватят!

Пущен последний. Отошли к двум

деревьям, шагах в 30 позади нас. Присели, прислушиваясь. Револьверы в руках. Коля посчитал всех. «Ничего не забыли? Значит, готово!». Ребята взвалили тяжелые баллоны на плечи. Тронулись. И вдруг все застыли на месте. Оттуда, где светились окна в темноте, в тихую ночь неслась песня, переплывала дорогу, доходила до нас заглушенно, но отчетливо — «Зацветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой»... «Ребята поют!» — шепнул кто-то. Баллоны упали на землю. Мы слушали. Россия была за кустами, за этой вот стеною деревьев. Встань и пройди до дороги 30-40 шагов, перейди ее — и сердце сожмется: ты оставил территорию Берлина, ты стоишь на «вражеской» земле. Спустишься, перешагни маленькую канавку, по которой в дождь течет вода, сделай еще всего шагов 10-15 — и окажешься у ограды, а там резкий голос, пронизывая ночную тишину, крикнет на родном языке — «стой!»

«Там» послышался гул мотора, кто-то громко о чем-то спросил, кто-то, более дальний, ответил, и пение прекратилось. Опять стало тихо. «Пошли» — сказал Коля, и в голосе чувствовалась резкость — усилие побороть чувства, для революционной борьбы не всегда пригодные... А быть надо начеку: могли по ветру судить, где мы находимся, сделать вылазку. Акции бывают частые, два-три раза в неделю. Но вылазку провести трудно: «Ваню» пошлешь — он может не вернуться, он, может, только того и ждет, чтобы потеряться. Энкаведисты же не привыкли бороться с вооруженными. Расстреливать связанных и обессиленных — дело другое...

Мы опять рядом с Колей. Впереди идет Вася со своим тяжелым грузом. Вышли на дорогу, под ногами асфальт. Навстречу, блестя огнями, автобус. Тут конечная станция. Возле нежилого домика автобус останавливается. Двое вышли и пошли дальше по дороге. Подождем, посмотрим. Сейчас их остановит часовой. Он — там, за фонарем, — там начинается советская зона.

В световом зонтике фонаря показалась фигура. Только силуэт виден, ни звезды, ни лица. Двое подошли, задержались немного и уже двинулись дальше. Значит, бумаги соответствующие.

Один фонарь и один часовой — это всё. Видимая граница между двумя мирами. Идем пешком, чтобы нас не заметили на одинокой остановке. Не в последний раз наши придут сюда. Дорога пряма. Отошли шагов 500 и повернулись. Фонаря уже не видно, граница лежит в темноте, зловещая, как засада. Никакого препятствия — прямо, не сворачивая, из глубины советской зоны бежит дорога в недры большого города. Идем в ногу, медленно, задумчиво, у каждого чувство спины. Между нами и ними никого нет, кроме покрова ночи. Невольно всплывает мысль: «за сколько часов они были бы в центре города, если бы двинула по этой дороге вся танковая дивизия, из казарм, которые мы засыпали листовками?» Через час она оказалась бы там. Может, и раньше. Но не двигаются. Стерегут. А мы — их! Фронт первого сектора революционной борьбы НТС тянется вокруг Берлина кольцом. Борьба идет за душу сидящего в танке, летающего в воздухе, шагающего с пулеметом.

Берлин окружен советскими дивизиями. Для первого сектора — благодатная работа. С острова Берлин ведется наступление. Сектор насыщен листовками, газетами, брошюрками со знаком вил народного гнева и с тремя буквами — НТС. С фронта первого сектора поступают донесения:

Капитан передает: «Мы, офицеры и политсостав, должны вставать на час раньше, чтобы вместе с партийным активом собирать листовки. Солдаты заперты в казармы и наблюдают за нами. А мы знаем, что они их ночью уже читали».

В местечке Ц. — казарма с пехотным полком. Эти уже 7 месяцев в Германии. В казарме читали «Посев». Зачитали до ключев — и никто не пострадал. Никто никого не выдал.

Вы не верите в возможность Национальной Революции или, если хотите, переворота? Дело ваше. Берлин верит и эту веру передает по рядам.

Старший лейтенант передает через связного: «В № 6 «Посева»... статья. У нас идут споры относительно этой статьи. Объясните нам то-то и то-то». «У нас споры». Какая радость! Идеи переходят все границы, никакой занавес не в состоянии их задержать.

Офицер, не называя своего чина и фамилии, посылает листовку с обратной надписью: «Пламенный привет. Мы с вами!»

Группа из трех военнослужащих спрашивает, что лучше для дела, остаться здесь или бежать к нам. Ответ революционного штаба: остаться и бороться. А дальше посылаются инструкция и литература. Наблюдатели сообщают: Карлсхорст забросан листовками.

Ежедневно составляется сводка революционных действий в штабе НТС для всех секторов. Это — фронт свободы против Сталина и кровавого режима. Берлин — один из участков.

Мы дошли до остановки. Едем в автобусе. Все чаще встречаются автомобили, дома высятся уже сплошной шеренгой, фонари чаще и ярче. Шум города, сложный и пестрый, усиливается. Город всосал нас. Горят рекламы многочисленными и разноцветными неоновыми трубками, кино обещают убийства, авантюры, интриги. Из ресторанов, наполненных пьющими и веселящимися, вырываются на улицы джазы и, шатаясь и подпрыгивая, догоняют тебя на остановках. Поют моторы, сирены. На углах двух больших улиц пересаживаемся... Большое кабаре. Автомобиль за автомобилем подъезжает, вереница людей устремляется в освещенные залы, откуда доносится музыка. Там посетитель оставит сегодня трехкратную месячную социальную помощь или двукратную помощь безработного. Почему бы не прожигать жизнь! Почему бы не потанцевать! — до танковой дивизии 5 километров, а на углу стоит полицейский...

«ОСТРОВ» СВОБОДЫ

Вы знакомы с географией Берлина? Не думаю. Берлин разделен на две части: одна треть принадлежит СССР, а другая сама по себе — остров, балансирующий на трех комендатурах. Для коммунистов освоенная часть Германии есть Восточнонемецкая ССР. Так же, как, например, Таджикская. Разница только в том, что Таджикская ССР Красным интернационалом уже переварена, а немецкая находится еще в стадии переваривания. Кроме того, ее расположение на европейском фронте мировой революции требует определенной тактической игры.

Как же реагирует эта 20-миллионная масса немецко-советских граждан на коммунизм? Это очень интересный для нас вопрос. Часто можно слышать слова: коммунизм возможен только в России. Русский народ не имеет понятия о свободе, личность в нем не проявляется, а — только коллективный, безличностный, стадный инстинкт. Бороться с традиционным и врожденным высокомерием западноевропейца не имеет никакого смысла. Мы знаем про себя, что русский народ продержался в течение 33 лет большевистской власти, только благодаря присущей ему исключительной силе внутренней свободы. Кроме того, мы — в стадии борьбы с большевиками и в оценку других народов не входим. Это — специальность западноевропейская.

Ведется ли какая-нибудь борьба, вооруженная или пропагандная? Вооруженная не ведется. Партизан никаких нет, несмотря на существующие условия для ведения партизанской войны: профиль местности, поддержка населения, возможность получить оружие, возможность ухода в безопасную местность, и — опыт прошлой войны.

Нет сомнения, что преобладают антисоветские настроения, которые тут преломляются в большинстве, как антирусские. Это теперь не звучит так трагично, как года 2-3 тому назад.

Сплошным рефреном можно слышать слова, высказываемые немцами: немецкие коммунисты хуже русских. Когда императив коммунистической морали у западного европейца превращается в норму, он действительно страшен.

Эти антисоветские настроения ограничиваются только критикой коммунизма. Борьбу ведет, вернее — старается вести, только молодое поколение. Стихийно. Собирается кружок гимназистов или студентов, иногда довольно большой, и начинает расклеивать листовки. В листовках говорится про то, что каждому немцу в зоне известно. На 6-ом году советской власти пустая критика надоедает. Эти кружки постепенно разваливаются от внутренней измены. Сеть немецкой НКВД уже вездесуща и действует с большой последовательностью и систематичностью.

Некоторая часть этой несчастной молодежи имеет возможность спасти себя — перебираются на наш остров или бегут прямо в Западную Германию. Перед нами 16-летний гимназист. Весь класс был в заговоре против коммунистической власти. Это были мальчики. Они по ночам клеили листовки на стенах своего города. Их, конечно, очень скоро выловили. Двое сумели убежать. Остальные сидят в концлагере, в Бауцене. Все находится в таком изнуренном состоянии, что среди них частые обмороки. Мать одного из них получила право свидания. Мальчик, ее единственный сын, увидев свою мать, начал плакать и просить хлеба. Их бьют. Один из полицейских особенно свирепствует. Он хвастается, что может одним взмахом свалить троих таких юных кацетчиков. Говорят, это у него — из опыта с русскими военнопленными. Выдала мальчиков сестра одного из участников за две пары американских чулок, привезенных из западного Берлина.

У нас много примеров трагедии немецкой молодежи. Но самая большая

— это ее заброшенность. У немцев Западной Германии в значительной степени психология части нашей старой эмиграции — отсутствие истинного понимания происходящих в народе советской зоны душевных и духовных процессов. Отсутствие понимания свободы как активного действия, как нравственного императива, как творческого и героического акта. Свободы, которую народ сам должен завоевать.

Своеобразно положение немцев в восточной зоне. По географическим условиям они имеют возможность бежать, а по моральным — бежать не могут: беженцы попадают в положение малоценных и второстепенных граждан. Американцы и вся ООН не сумели разрешить всеевропейский вопрос о беженцах, толкая этот социально горячий элемент в сторону радикальных партий. Вторая значительная ошибка американцев по отношению к немцам: героический элемент, присущий немецкому народу, они не смогли сублимировать в сторону служения высшим ценностям и направить на активную борьбу против большевизма. Наоборот — старались подавить это чувство, что, кроме озлобления, кроме извращения духовных основ немецкой культуры, ни к чему не привело. На почве материализма высшие ценности не растут. «Свобода на тарелке» — принцип паразитарный и признак духовного ослабления.

В недавних разговорах о духовных течениях, возникающих среди молодого поколения восточной зоны, нам указали на два факта социальной несправедливости, характеризующих в глазах рассказчиков западный мир. В Берлине живет пожилая женщина, собственница 36 домов. Ее покойный муж проглотил эти дома — по принципу капиталистической акулы — у другой акулы.

Случилось, что одна ее квартирантка с двумя детьми осталась вдовой. Мужа во время одного из посещений восточной зоны схватили, посадили в концлагерь, где он умер. Вдова, ожидавшая третьего ребенка, уже не мог-

ла платить полностью за квартиру, просила хозяйку дома уменьшить плату. Хозяйка слышать не хотела: «Плати полностью или убирайся!». Вдова просила ее во имя детей, но домовладелица ответила: «Я тебе не велела их рожать. Через суд выброшу!». Суд, однако, стал на сторону вдовы, что свидетельствует о том, что в Германии уже не может быть возврата к старому капиталистическому строю, но не хватает еще сил смело перейти к новому.

Второй случай. В Южной Германии живет титулованная особа, владелец больше 20000 га, с тремя замками и рядом предприятий. От войны он выиграл, а от беженцев сумел почти полностью отделаться. О нем говорят в восточной зоне. Можно ли на фоне этих социальных ихтиозавров критиковать раздел помещичьей земли в Восточной зоне, передачу земли батракам?

Большевизм потрясает человека и общество до основания, и «просто так» от него не отделаться. Он, ведь, вырос на грехах старого общества. Идеалисты-комсомольцы из СММ, отвернувшись от коммунизма, к старому не возвращаются. Старое для них уже идеалом быть не может.

Из зоны приехал студент лет 22. В 1945 году ему было 16 лет. Состоял в Гитлер-югенд. Говорит сносно по-русски. Читал листовки НТС. Пришел в Комитет: «Не сможем ли мы связать его с этой организацией?» «Вы же немец, почему вас интересует русская организация?» Студент подумал немного: «Знаете, не то. Меня, правда, интересует всё русское и русский человек, но в данном случае... Вот я вам так объясню: когда я был в Гитлер-югенд, я верил в миссию Гитлера, верил, что национал-социализм должен возвеличить Германию. Когда я узнал правду о концлагерях, о газовых камерах, о жизни разных вождей, я возмутился и затих. Но я долго не мог сидеть сложа руки. Вы знаете, если у молодежи нет идеала, нет смысла жизни, она погибает духовно. В 1946 году я поступил в немецкий комсомол. Мне сначала каза-

лось, что в коммунизме есть правда, которая должна возродить мир. А потом, как насмотрелся, оказалось — те же нацисты!

Я поехал на запад и вернулся. Хорошо, что я был осторожен и никто не узнал о моей поездке. Я знал, что на западе свобода, а где свобода — все должно быть хорошо. Теперь я вижу, что им свобода совсем не нужна. Свобода, если она только для собственной жизни и наживы, без идеала, которому служишь, дегенерирует в мелкобуржуазную стихию, из которой вырастает тоска по другим мирам».

Нас этот человек очень заинтересовал. Мы долго с ним сидели. Познакомили его с одним из членов НТС. За три дня своего пребывания здесь они наговорились до хрипоты. Они так подружились, что национальные грани между ними совершенно исчезли. Он, конечно, никуда не убежит, а будет работать в революционном подполье. Он понял, что немцы и русские связаны одной судьбой. На нем мы также замечаем перемену, которая произошла в последнее время в отношениях немцев к советской оккупационной армии. Постоянно можно было слышать среди немцев в разных вариациях повторяющийся возглас: «Русских вон! Ивана вон!» Теперь многие убедились в бессмысленности этого лозунга. Какое наивное восприятие проблемы «мировой революции» свойственно всем оккупированным и угрозимым народам! Немцы постепенно убеждаются, что этот лозунг чрезвычайно вреден, что он заставит русских драться и опять объединиться вокруг Сталина...

Нам, русским, в Германии нечего делать. Ни один русский ни о какой оккупации не помышляет. И, собственно говоря, никакой оккупации и нет, ибо армия «мировой революции», к которой относится и немецко-советская, находится на собственной территории, а верховный главнокомандующий один.

Для нас пока самое радостное и отрадное явление — встреча немецкого молодого поколения с русским. Мно-

гочисленные гостиницы, законспирированные квартиры, скамейки в парках — свидетельствуют об этих встречах.

В Потсдаме, при поддержке слабых сильных политиков, за 27 лет не изучивших азов мировой революции, Сталин пробил в Берлине окно в Европу. В 1944 году, в ноябре месяце Коминтерн на своем тайном заседании выработал план вытеснения союзников из Европы без войны. Берлину была отведена значительная роль в этом деле. Большевики рассчитывали, что Берлин можно расщелкать в любую минуту дня и ночи. Город, находящийся за железным занавесом, пересекаемый советскими железными дорогами, окруженный многочисленными дивизиями, пропитанный советской агентурой и местными ячейками, терроризованный отрядами похитителей людей, — такой город должен был сдаться сам по себе, от парализующего его страха и от внутреннего разложения. На удивление всего мира случилось обратное. Берлин повернулся всей силой своей пропагандной мощи против Сталина и его опричников. В свободном состязании между миром угнетения и миром свободного творчества большевики всегда терпят поражение. Для этой борьбы требуется одно только условие — отсутствие страха. Берлин, за малыми исключениями, этого страха не знает. Не знает его — потому, что он окружен большевиками, видит их подлинный облик и на него психоз страха, творить который большевики мастера, не действует. Чем дальше от большевиков, тем сильнее страх. Первомайские и другие массовые демонстрации устраиваются у Бранденбургских ворот, в двухстах шагах от советского посольства. Полмиллионная масса внимает смелым речам ораторов и ни на минуту не думает об опасности, которая может свалиться на нее из террористических трущоб. Большевизм слабее, чем он кажется. Эту мудрость poznali берлинцы.

В Берлине, на базе такого гражданского мужества, был дан первый настоящий отпор иностранного мира

красной агрессии. Смелое противопоставление воздушного моста советской блокаде необходимо считать началом организованного сопротивления коммунистической экспансии. Это историческое событие не случайно совершилось именно в Берлине. Берлин психологически подготовил молниеносную реакцию Америки на открытие фронта мирового коммунизма в Корее.

Берлин потрясает основы большевистской пропаганды одним своим безмолвным показом иного, свободного мира. Попасть в западный Берлин являлось мечтой всех жен советских офицеров. Пока это было возможно, они в сопровождении немецких знакомых женщин приезжали и покупали всё, что возможно, иногда безрассудно. Несмотря на умение советских людей скрывать свою нищету, они всё-таки не сумели до конца сохранить маску безразличия. А что делалось в душе, какой немой, необузданный диспут шел там между «социалистическим» миром и иностранным, — повествуют бесчисленные личные встречи с ними, с глазу на глаз.

В Берлин и из Берлина ведут многочисленные пути сообщения и общения между островом и всей советской зоной. В этой зоне, вкрапленная среди 18 миллионов немцев, расположена полумиллионная советская оккупационная армия. Несмотря на все мероприятия по полной изоляции армии от населения и пресечение контакта с иностранным миром, русские люди находят и связь и контакт. Видят, слышат и говорят. Эти люди, наши братья и сыны, часто сменяются, едут в Россию, в отпуск, или перебрасываются в различные части родины. Они, как живые пропагандные факелы, несут в Россию ту правду, которую видели, и ту, которую почерпнули из подпольной революционной литературы. Коммунистическое окно в Европу все больше закрывается, окно же в Россию распаивается все шире. Берлин — окно в Россию. Потсдамское окно в Европу поворачивается против прорубавших его. Сталин

дорого бы заплатил, чтобы его не существовало. Но не ему, маниаку мировой революции, закрыть это окно теперь.

Не одна российская революционная идея проникает через это окно в ряды советской армии и через нее — в Россию. И немцы принимают в этой борьбе значительное участие. Немцы Берлина. В 1949 году немецкие партии в восточной зоне сложили оружие. Советский террор их сокрушил. Антикоммунистический мир Восточной Германии очутился перед политическим вакуумом. Тогда появилась «Боевая группа против бесчеловечности». Было найдено Слово, объединившее всех в надежде, а также в понимании и преодолении нацизма и коммунизма. Это был как бы ключ к тайному смыслу 20-го века. Человечество, пресыщенное блестящей культурой прошедших веков, пошло неправильными путями и погрязло в бездне бесчеловечности. . .

Группу возглавил и возглавляет ныне большой друг русского народа Райнер Гильдебрандт. Вначале эти бойцы, рыцари свободы и человечности, имели большой успех. Каково их теперешнее положение — не берусь судить. Мне кажется, что у них не хватает, как у всех немцев теперь, — созидательного момента, идеала нового мира вообще и — для своей родной Германии. Гильдебрандт во всех выступлениях среди своего народа, а также среди иностранцев постоянно проводит мысль о необходимости разделения двух понятий — народа и режима.

Такую же линию проводит и другой большой друг русских, также один из основателей «Боевой группы», — Гюнтер Биркенфельд. Он возглавляет «Бюро Конгресса за свободу культуры» и во всех своих выступлениях по радио, на собраниях и в своих книгах подчеркивает различие, вернее — противоположность, между русской культурой и бездуховным и опустошающим учением сталинизма. Он один из создателей «Свободного Союза немецко-русской дружбы».

БУРГОМИСТР «ОСТРОВА»

Таких немцев, друзей русского народа, еще много в Берлине. Но первенство (и не только в Берлине) принадлежит бургомистру Берлина-острова — профессору Эрнсту Ройтеру. Почему он так последовательно, всегда и везде, не взирая, нравится это кому-нибудь или нет, отделяет русский народ от большевистской власти, называя его великим, но в настоящее время подъяремным народом?

Биографию этого человека должен знать каждый россиянин, борющийся за свободу своей родины.

Ройтер родился в 1889 году в Шлезвиге-Гольштейне в семье ученого мореплавателя. Учился в университетах — в Марбурге на Лане и в Мюнхене — филологии с философским уклоном. В университете он знакомится с учением социализма, изучает Маркса, программу немецких социал-демократов и становится членом их партии. В 1913 году партия назначает его в Берлин, в партийный центр. В 1914 году он, один из немногих, в вихре общего военного психоза становится против войны. Он активно борется против войны, что требовало от каждого тогда большого гражданского мужества. В 1916 году он мобилизован. В боях на нашем фронте тяжело ранен в бедро. Попадает в плен. Тут Ройтер впервые встречается с русским народом. Наши солдаты берут его бережно на носилки, уносят с поля сражения. Они несколько раз отдыхают и делятся с ним, всем, что у них есть. Ни ненависти, ни злобы не замечает он в их поведении, наоборот — братскую, отеческую заботу. Он для них уже не немец, а человек в несчастии. В санитарном поезде, а потом в транспорте для военнопленных он еще ближе знакомится с простым русским народом. На станциях им выносят хлеб, махорку... Также никакого враждебного отношения — самое человеческое.

Революция выносит Ройтера на поверхность. Сначала он попадает в Москву, но сразу не находит путей к

верхним партийным кругам. Он устраивается на работу в шахты, работу тяжелую, физическую. Ленин обращает на него внимание, вызывает в Москву. Вскоре он назначается комиссаром республики Немцев Поволжья. Ройтер часто ездит к Ленину и к своему непосредственному начальнику — комиссару по национальным делам Сталину.

В ноябре 1918 года в Германии происходят судьбоносные события. Страна накануне социальной революции. Ленин, как и вся социал-демократия, возлагает на Германию, как страну классического социализма, большие надежды. Шутка ли, мировая революция началась! К Рождеству 1918 года Ройтер возвращается на свою родину и является к Кларе Цеткин с письмом от Ленина, с такими характерными словами: «Молодой Ройтер — замечательная и умная голова, но слишком независим». В Германии организуется немецкая КП, и Ройтер в начале 1920 года назначается секретарем партии города Берлина и области Бранденбург. В начале 1921 года КПГ готовит восстание. Рабочие не поддерживают его. Восстание не удается, но отдельные группы продолжают проводить террор. В партии происходит раскол. Вожди ее едут в Москву на 3-й конгресс 3-го Интернационала.

После возвращения с конгресса Ройтер назначается генеральным секретарем КПГ. Но опыт, почерпнутый им в Москве и на посту секретаря, достаточен, чтобы убедиться, что коммунистическая партия — не рабочая партия, а партия, добывающая власть всеми средствами. Он возвращается к социал-демократам и всецело отдается работе по коммунальному хозяйству Берлина в качестве члена Городского совета. В начале 30-х годов город Магдебург выбирает его своим бургомистром. В 1932 году его выбирают членом рейхстага. В 1933 году нацисты сажают его в концлагерь. За него хлопочет лондонский

Городской совет. Его выпускают, но вскоре арестовывают опять. С помощью друзей снова освобождают, и он, не дожидаясь дальнейших арестов, бежит в Голландию. Турция приглашает Ройтера в Анкару, где он занимает кафедру коммунального хозяйства. Там ему суждено прожить с семьей до 1946 года. С 1946 года начинается его деятельность в качестве бургомистра города Берлина-острова.

На этом посту он приобретает всемирную известность, а сердцу русских становится близким. Остров свободы не мог получить лучшего возглавителя. Большевики приобрели полноценного противника, знающего всю их подноготную, знающего, что большевизм силен, пока его боятся. Берлин — мировая трибуна, с которой Ройтер и его сподвижники говорят правду о мировом коммунизме.

НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ

В городе, насыщенном воспоминаниями об эренбурговщине, работает Общество немецко-русской дружбы, действует Ройтер. Самое яркое выступление Ройтера по русскому вопросу было на большом организационном собрании «Свободного Союза немецко-русской дружбы» 13 мая 1951 года. Начальную и заключительную фразы Ройтер сказал по-русски.

Эта речь, как и все речи, произнесенные в этот день в опере, в том числе и речь Е. Романова на русском языке, передавались по радио. Ее слушала вся восточная зона. Под самым Берлином ее слушала группа советских офицеров. Советским офицерам в оккупированной Германии приказано учиться немецкому языку, чтобы избавиться от ненадежных переводчиков. Тем самым большое количество людей ставится под удар антисоветской пропаганды, которой насыщена вся советская зона. Помимо этого, вообще всякий разговор с немцем, в особенности — с крестьянином и рабочим, без свидетелей, заканчивается раскрытием сталинского обмана. Как должна была подействовать речь Ройтера на наших людей там, если она всех нас потрясла здесь!

В чем сила и глубинный смысл его речи? В чем значение ее для дела борьбы с большевиками?

Русский народ однажды поверил Западу и заплатил за это морем крови, разорением целых областей и глубоким разочарованием в правде Запада. — Ведь Гитлер и его союзные

полчища пришли с именем культурного Запада, а не с дикого Востока. Сталинская политика с ее пропагандой вся направлена на то, чтобы в русском народе поддержать и до крайности усилить ненависть к Западу. Преступления некоторых частей Красной Армии при вторжении в пределы Германии, а также славянских стран были вызваны и поощряемы советским правительством с определенным намерением: отрезать у русского народа всякое отступление, загнать его в тупик, из которого единственный выход — жестокая и беспощадная война. В то время как союзники благодушествовали в Ялте и Потсдаме, психологическая война штаба мировой революции против капиталистического Запада была уже объявлена. Все мероприятия Сталина в советской зоне направлены на то, чтобы между населением и армией воздвигнуть непроходимый физический и психологический ров — чтобы железный занавес способствовал сохранению чувства вражды и дезориентации. Но тут сам Сталин, а не российские люди зашел в тупик. Эта задача ему оказалась неподсилу. Железный занавес оказался ситом, через которое в бесчисленные отверстия проникает правда.

Немцам в советской зоне предложена судьбой большая историческая роль — стать повседневным и вездесущим проводником идей свободы и тактики освободительной революционной борьбы среди советской

оккупационной армии. Когда наши солдаты почувствуют, что население относится к ним сочувственно, как к своим союзникам в общей освободительной борьбе, — создастся еще более благоприятная почва для революционной пропаганды и для революционных действий. Сталин и его террористический аппарат бессилён прекратить этот процесс.

*

В западном Берлине находятся три радиостанции, четвертая — под Берлином, в Потсдаме. Две советские, две свободного мира. На одной территории. Западные станции не подвергаются здесь в Берлине трусливому процессу глушения, как станция НТС «Свободная Россия» или «Голос Америки». Приходится пустить обе пропагандные струи параллельно в порядке свободной конкуренции. Население зоны слушает свободно все станции Берлина, и нам известно, что многие советские люди, как военные, так и штатские, слушают их также или же узнают о содержании передач от населения. У западных станций имеется один большой недостаток — им запрещена передача на русском языке? Почему? Неужели союзники боятся за стойкость своих слушателей, ибо знают, что Советы ответят тем же на английском языке? Или это соглашение джентльменов: американского, английского и советского?

На западных радиостанциях (РИАС и НВДР) говорили русские люди на немецком языке в течение последних шести месяцев приблизительно 15-16 раз. Говорили члены НТС из Лимбурга и из открытого сектора Берлина, члены «Российского комитета для беженцев» в Берлине, редактор и представители «Посева», беженцы под руководством Ко-

митета. Все эти выступления были направлены против поработителей нашей родины. Несмотря на то, что речи должны были быть произнесены на «нейтральном» немецком языке, они сделали свое большое дело. Немецкое население с особой охотой рассказывает такие передачи своим знакомым из оккупационной армии, а кое-кто оттуда слушают их сами.

Большое впечатление производит на нас, русских, в Берлине и в зоне, когда наши немецкие друзья пишут, говорят или по радио передают правду о России и большевизме. В Берлине много друзей России и русского народа. Это представители той Германии, которая богатством своей духовной культуры обогащала весь мир. К этой Германии нужно отнести слова Достоевского о том, что «русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог». Иногда эти слова заглушаются традиционным европейским высокомерием. Тогда становится тоскливо на душе, и вспоминаются опять-таки слова Достоевского, написавшего почти сто лет тому назад: «Только я один в Европе с моей русской тоской был свободен». Эта тоска проходит, когда мы находимся среди немцев, которые понимают нас, поддерживают нас в борьбе за нашу общую свободу. Они стараются быть всегда осторожными, когда в присутствии русского говорят на скользкие темы, касающиеся русского вопроса. Они никогда не скажут: «русские грабят, русские сажают, русские увезли», а — «большевики это сделали». Когда какой-нибудь политик с мировым именем сказал очередную подлость, оскорбив русский народ, они говорят: «Вы читали эту глупость? Господи, когда же их осенит разум!» И нам становится легче от братского умного слова.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Широкой асфальтовой лентой тянется шоссе к «Колонне Победы». Колонна стоит посреди шоссе, преграждая путь, как полагается победителям. Она облеплена пушками старинного образца, окрашенными в светлую бронзу. На самом верху парит вызолоченная балерина. Ее легкое платье раздувается в вихре победы, высоко поднимает она правой рукой лавровый венок, другой, тоже высоко, держит копьё со всякими символами, а на голове сидит птица в чине орла. Шоссе, не желая ссориться с победами, тихо обтекает колонну и устремляется вдаль. По обе стороны шоссе лентой лежат разрытые снарядами и бомбами поля, с гнездами кустарников, выросших на месте скошенных артиллерийским огнем старых лип и сосен. Но и здесь шоссе не повезло — вдали ей опять преграждает путь другой памятник победы — Бранденбургские ворота. Шагов 50-80 не доходя до памятника, проходит граница между английским и советским секторами. Шагаем по шоссе и вдыхаем свежий воздух. Такой простор среди многомиллионного города! Мимо нас проезжают легковые машины, тарыхтит трехколеска, грузно тянет грузовик свой прицеп, и все несутся к воротам и проходят под ними.

Слева над кустарниками вырастает фигура, она как бы высится над шоссе. Постепенно показывается белое сооружение, на котором — теперь видно хорошо — покоится фигура воина. Это советский памятник павшим воинам. Мы поднялись по трем ступенькам на большую площадку и стали на советскую территорию. Это экстерриториальная земля, принадлежащая Советам. Смешанные чувства охватывают нас. В полукруге перед нами высокие плоские колонны из белого мрамора, наверху связанные между собой мраморными досками. На большой, центральной колонне стоит фигура солдата-пехотинца в боевом снаряжении. Левая рука показывает вниз, где покоятся павшие воины.

Под фигурой из бронзы стоит живой часовой на часах. На миг забыт весь памятник и все внимание сосредотачивается на нем.

К колоннам повнутренним ступенькам поднимается группа немцев. Маленькая девочка пальцем показывает на автомат, переброшенный через плечо. Парнишка улыбается ей, но мать тянет ее прочь. Лучше подальше, вдруг выстрелит. Русские — странный народ. Один немец сказал: «Русский, как Бог, одной рукой берет, другой дает». Но девочка не знает, повидимому, про всю эту мудрость и машет часовому ручкой. Часовой кивает ей в ответ головой, но тут же спохватывается и медленно поворачивается назад, к караулке: не заметили ли там, не подумали ли чего-нибудь.

Мы поднимаемся по ступенькам к самым колоннам. На средней, основной, на которой стоит воин, прикреплен лавровый венок, а под ним надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Советского Союза. 1941-1945».

На шести столбах фамилии павших по родам оружия. Два крайних столба посвящены пехотинцам. Наверху лавровый венок, под ним: «Вечная слава героям-пехотинцам Красной Армии, павшим при штурме города Берлина». На остальных столбах разместились артиллеристы, летчики и танкисты. Для чекистов места не нашлось. Истребители героев на памятнике героев красоваться не могут. В 1945 году не могла произойти такая чудовищная подмена. Она произошла после войны.

Медленно проходим вдоль столбов и читаем имена павших воинов — Копейкин, Казаков, Гречка, Дудко, Саидов, Светличный, Худа Ибер, Давыдов, Кузнецов, Жук, Торба, Иванов. Полковники, лейтенанты, рядовые — все чины армии. Со всей необъятной родины. Сыны России. Часовой проходит мимо нас медленным шагом. Он нас не замечает. Лицо его

задумчиво, озабоченно. Улыбка, вызванная ребенком, исчезла, его думы на родине. Как там нужны его силы — истерзанной, изнемогающей родине! Мировая революция держит его в железных цепях. Враг России разбит, почему он должен на чужой стороне угрожать оружием мирному населению?

У подножья центральной колонны лежат венки с надписями немецких коммунистов: Пика, Ульбрехта и разных коммунистических организаций. На площадке перед памятником стоят два зенитных орудия и два танка.

Сталинские орудия смерти продолжают угрожать миру. Под венками чуждых и враждебных им людей, под тяжестью машин смерти спят российские воины вечным сном, впервые после времен святого Владимира без креста. Мы уходим. На последней ступеньке останавливается шаг. Часовой остается там, сын нашего народа. Немое расставание. Ненадолго.

Недалеко, шагов 200 — вот и Бранденбургские ворота. У шоссе большая доска: «Вы выезжаете из британского сектора». Напротив другая: «Начало демократического сектора». Одиноко стоит западный полицейский и смотрит «туда», а напротив стоит «их» полицейский и смотрит «сюда». «Что там у них?» «Маршируют, как всегда. Слышите, как кричат?» Издалека доносились выкрики. «Сейчас вы их увидите. Вот, уже идут.» Из переулка высовываются вожди на полотнищах. Усы не видны, далеко. За ними плывут флаги, а за ними в двойных рядах «организованная» немецкая масса. Проходят мимо советского посольства. Новое здание, роскошное, 345 помещений. Особое внимание уделено подвалам. Немцы удивляются, спрашивают: «варум»? Усатый, плывя на шесте мимо здания, ухмыляется.

Мы стояли здесь недавно, когда происходил конгресс мира. Все дома, доступные нашему взору, утопали во флагах. Все стены, обращенные в западный сектор, пестрели лозунгами о миролюбии Сталина и крово-

жадности капиталистического мира. В президиуме сидел Эренбург, идеолог убийства и насилия. С ним рядом с крестом на груди, по внешности напоминая традиционную Русь, сидел заместитель Патриарха, Николай Крутицкий.

Идем вдоль границы к большому от военных действий сильно пострадавшему зданию. Архитектурными красотами не блещет, но зато насыщено историческими воспоминаниями: в нем была объявлена война России в 1914 году. В 1933 году нацисты подожгли рейхстаг, свалив вину на Димитрова. Десять лет нацистские депутаты подражали своим советским коллегам в Верховном Совете, занимаясь физкультурой — горлом и руками. На пространстве этого исторического треугольника, биясь в мелких судорогах, отходило скороспелое царство, оставив после себя смерть, разрушение и горькое разочарование.

Мечта каждого участника битвы за Берлин была первым водрузить красное знамя на куполе рейхстага. Идем вдоль здания со стороны советского сектора. Улица — это граница. Никого не видно. Нет, стоят! За выступом разрушенного дома. Наши глаза встретились. Рука в кармане. На углу рейхстага западный полицейский. Лучше уходить на другую сторону. Рисковать нужно там, где это имеет смысл.

Ворота и окна здания заделаны кирпичом. Все стены испещрены выбоинами и отверстиями от свинцового дождя пулеметных очередей и мелкокалиберных снарядов. Но не эта бытовая картина XX века привлекает наше внимание. Всюду живые следы наших братьев, топтавших своими сапогами ту же землю, по которой мы сейчас ходим. Мелом и красками запечатлели они свое пребывание в завоеванной столице. «Долгих — Иркутск» — высоко на стене. Можно было добраться только по карнизу. «Кутебин — Хабаровск». «Петренко — Одесса». «Амиров — Баку». Эх, широка страна моя родная! А дальше: «От Моздока до Бер-

лина — Кондрашев». «От Краснодара до Берлина — Тюкилин».

Садимся на эти ступеньки, зеленая травка карабкается по ним вверх, желая залечить раны прошлого. Природа не любит разрушений, стыдится их, прикрывает их. Над Берлином стелется туман, вдали гремит поезд, уходя в зону. Воин на памятнике показывает рукой в землю. Пора домой. Прощаемся с надписями. Мел

уже стирается. Память о героях войны всё более меркнет. Многих из них уже покрыла земля концлагерей, и трава стелет над ними свой нежный ковер. Героев отечественной войны сменили сталинские поджигатели мировой революции. Что бывает с поджигателями — свидетельствует трава на ступеньках парадного подъезда рейхстага.

КОМИТЕТ

Вечер. В маленьком переулке светят два фонаря: один вначале, другой в конце. Берлин экономит, завтрашний день неизвестен. Все магазины погрузились в темноту. В одном только горит свет. В витрине, закрытой решеткой — таблица во всю длину витрины, освещенная неоновым светом: «Гамбургский Комитет Российских Беженцев» — Берлинское Представительство». Под таблицей разложены книги: «Записки из подполья» с портретом Достоевского, «Грани», «Смерш», «Завоеватели белых пятен» и др. На таблице прикреплена стрелка с надписью «звонок».

В переулок свернул человек, оглядывается, ищет номер дома. Он подошел к освещенной витрине, постоял немного и прошел дальше. В конце переулка он остановился, перешел дорогу и вернулся по другой стороне улицы. Так он проделал дважды. Потом подошел быстрыми шагами к дверям и позвонил. Внутри послышались шаги, дверь открылась и задержалась на цепочке. «Один»? «Да, один. Можно?» Внутри сняли цепочку и человек вошел.

— Садитесь и рассказывайте.

— Вы комитет будете?

Да, комитет. Вы из зоны?

— Из зоны. Приехал к вам за помощью. Долгая история.

— Вы должны обратно?

— Да, обязательно. Товарищ остался. Мы вместе сидели.

— Сегодня приехали?

— Да, в половине седьмого. Но днем не захотел придти. Знаю я их, наверно следят за вашим комитетом. Когда я буду уже здесь, тогда мне наплевать. Завтра утром нужно обязательно.

— А как вы узнали о Комитете? Все-таки 150 км. до вашего города...

— Немцы, которые бывали в Берлине, видели ваши плакаты. Один из них тоже сидел в лагере со мною. Я вам потом всё расскажу. И точный адрес дал. От своего товарища узнал.

— Теперь выкладывайте, что вам нужно. Вы хотите знать, как вам бежать, что будет с вами здесь и чем и как мы вам сможем помочь?

— Да, вот слушайте. Я сидел в тюрьме. 11 месяцев. Что они со мною делали! Как может человек всё это выдержать? Я вольнонаемный. Работал в бухгалтерии. Нас всех арестовали. Мы до сих пор не знаем, за что. На допросах допытывались, имели ли мы связь с полковником С. Вы слышали, может быть? Он бежал на Запад. А потом посадили. Что значит «посадили» — бросили в камеру. Ночью я проснулся. Чувствую, весь в крови, а рядом со мной стонет человек. Хотел посмотреть на него — не могу. Ничего не вижу, глаза открыть не могу. Просил я следователя, чтобы меня застрелили. «Зачем тебя расстреливать, ты и так сдохнешь. Подпиши!» Я и подписал. Выпустили. Думали, проклятые, что достаточно страху нагнали и что буду всё делать, что от меня захотят. Вчера меня вызвал лейтенант: «Ты недостаточно

сведений даешь. Смотри, будешь финтить, обратно посадим! Тогда не думай, что живым выйдешь!» Что было делать? — Бежать! Слава Богу, мы здесь в Германии можем бежать.

— А как же вы поедете обратно? Не боитесь?

— Чего бояться! Терять нечего, а товарища не оставляю.

В комитете нас было четверо. Порабощенная родина коснулась нас своим дыханием. Изю дня в день слышат сотрудники комитета горе и печаль беженцев тоталитарного режима. Глаз уже привык. Собирается ли бежать, пришел ли как беженец, оставил ли он там близких, один ли бежал, старый ли эмигрант или новый, вернее — наиневейший? Эмиграция уже достигла четырех степеней, этого забывать нельзя. Каждая из них носит свою печать. Агентов также не трудно отличить. Два-три раза обожжешься и глаз к этой породе людей привыкнет.

Кто наш кандидат на бегство, настоящий или нет? Посмотрим. Пока ничем не рискуем. Искренность его высказываний и внутренний мир его, отраженный на лице, располагают к нему. Опытный наблюдатель всегда почти заметит несоответствие между душевным состоянием и мимикой лица. Долго тянулся наш разговор за чашкой чая. Он рассказывал много про своих друзей, узнав, что нас эта сторона его рассказа особенно интересует.

— А что же он рассказывал? Как его дома встретили?

— Как встретили? Можете себе представить: 7 лет дома не был. Да и от отпуска мало осталось. Генералы, полковники, энкаведисты, политработники и всякие такие новые дворяне — те летят домой в самолетах, а наш брат половину отпуска в дороге проводит. Миша, сержант, сестру свою не узнал — замуж вышла, а девчонкой оставил. Мать умерла в 1946 году от голода, младший брат где-то на заводе, уж два года не пишет. Деревню свою, колхоз, не узнал. Начали ломать дома, конюшни — в

укрупненный перевести собирались. А потом приказ пришел: приостановить. Вот сестре помогал, весь отпуск проработал. Иногда себя упрекал: и чего в отпуск приехал? Мне Германия всю душу испортила. Раньше не видал нашу нищету, а теперь стыдно за нас всех. Побежденная страна Германия, а как там живут! Вообразите, слезы на глазах у ларнишки. Да какой он там парнишка — Берлин брал, орденов целая грудь. Пьет. Раньше редко, а теперь, как из отпуска вернулся, напивается.

— Как бы его — сюда, приспособим к нашей работе.

— Что-то он последний раз бормотал: если бы не сестренка да братишка. А что, я так и не понял. Наверно бы убежал. Вот бы ему почитать что-нибудь...

Ночь продвигалась. По улице проходили одинокие прохожие, один из них, слегка навеселе, стал у витрины и, видимо, заметил русские надписи. Начал читать их по слогам. «В плену научили, наверно», — говорит наш ночной гость. «Да, многие, кто был в России, заходят и все рады поболтать по-русски».

Долго тянулся наш разговор. Словно открылось окошко в Россию, и в помещении комитета стало светло и печально — повеял в наши души холодный с востока ветерок.

В комитет пришел пятый, и мы распрощались с гостем. Всё было сказано, всё было условлено и дано. Двое отвели его на ночлег. Завтра он уедет с нейтрального места.

★

— Я бежала. Прямо к вам пришла. Я вас знаю уже несколько месяцев!

— Вот интересно. А откуда вы?

— Откуда? Прямо из Карлсхорста.

— Ого! Рассказывайте!

Молодая женщина слегка улыбнулась:

— Вас там хорошо знают.

— Садитесь. Вы голодны?

— Ох, нет. Выпить бы чего-нибудь. Чай, если есть.

— Найдём. Идёмте в другую комнату. Раз вы из Карлсхорста, нужно вас посадить на почетное место. Нас бы тоже посадили.

— Не дай Бог. Не советую вам.

— Вы давно оттуда?

— Час тому назад.

Как мы близко друг от друга! Наша беженка видела «их» ещё час тому назад. А ещё ближе «они» были недавно, когда с нами разговаривали по телефону. Женский голос ругался площадной бранью и обещал «разбить нам морду до крови». Этот же голос спросил через несколько дней одного из нас: «Жив ты ещё, а я думала, что тебя уже повесили».

— Мы не ответили. Последовала опять брань и «продукт сталинизма» повесил трубку. У нас всех было одинаковое чувство — чувство обиды за русскую женщину.

Наша беженка пила чай и присматривалась к нам. За это время было три телефонных звонка и пришло несколько посетителей. Повторные посещения беженцев. У каждого своя просьба. А потом целый час никого не было. Начали разговор.

— Вы где работали?

— Я медсестра. Работала в больнице, в Карлсхорсте.

— Давно из России?

— С 1948 года. Думала через месяц в отпуск поехать, вот и приехала.

— Чем они вас заставили бежать?

— Заставили! Правильно вы сказали. Никогда бы я не бежала. Я уже два года здесь, в этой Европе, и никак не могу привыкнуть. Народ другой. Что из того, что у них электричество в конюшнях? Это будет и у нас, если большевиков не будет. Подумать только, что Россию никогда больше не увижу!..

— Глупости. Увидим Россию и скорее, чем вы думаете. Ну, ещё, слезы! Нужно подумать, как ее освободить.

— Разве это возможно?

— А зачем вы бежали? Если без надежды, лучше было там оставаться, где все.

Сестра посмотрела удивленно и не нашла ответа на эти жесткие слова.

— Ну, не так страшно, как вам кажется. Мы с вами разберемся потом во всех этих вопросах. Потом посмотрим, какие у вас бумаги, чтобы помочь вам легализоваться. Теперь расскажите всё, что с вами случилось? Вы в больнице работали? Солдаты или офицеры были ваши больные?

— И те и другие. Ухаживала за всеми, но охотнее я работала у солдат и младших офицеров. Хуже всего было у генералов. У каждого из них была в больнице целая квартира — две комнаты, телефон, радио и ещё ванная, шкафы — совсем на больницу непохоже. А солдаты и младшие офицеры меня очень любили.

— Скажите, они вам когда-либо говорили, что недовольны?

— Как же, говорили! В ночное дежурство то один приходит, то другой. Письма приносят с собой из дому. Письма написаны так, что кажется, всё в порядке, а там всё скверно. Объясняют мне, «вот это что значит». И грустными становятся и ругаются. Потихоньку, говорю, уснуть. «Один чорт, пусть слышат». А потом произошла история с листовками. Как вспомню — до сих пор страшно. Всю больницу оцепили. Больных с кровати на кровать перекладывали, все матрацы, все уголки обыскивали. Говорят, листовки с вилами появились кругом больницы и на заборах Карлсхорста. Приехала команда на грузовике, все из НКВД, и начали собирать и срывать.

— Взяли кого-нибудь?

— Тогда никого. Может, потом. Все время берут, и не знаешь, за что. После этого меня вызвали и сказали: «Мы знаем, что ты считаешься хорошей сестрой и что к тебе доверие больные имеют. Хочешь послужить советской власти? Хочешь помочь Советскому Союзу?» «Конечно, хочу». А у самой всё похолодело. «А что я должна делать?» — спрашиваю.

«Вот что. Наши враги не дремлют. Они всюду. И здесь среди нас они есть. Ты должна подслушивать разговоры больных. Всё, что они говорят, запомни, а дома запиши. Каждую субботу или воскресенье, как там у тебя по дежурствам выходит, приходи ко мне».

Он мне всё точно рассказал: как к нему придти, где встречаться, чтобы никто не заметил. Потом вынул бумагу и сказал: «Эти фамилии запомни. За этими ты должна следить особенно тщательно». Следующий раз расскажешь». Вообразите, среди них был один генерал. Я ему сказала: «Как же я генерала подслушивать буду?» «А ты сумей. Смотри у меня, я шутить не буду...» Был там младший лейтенант, мы с ним давно знакомы, гуляли вместе. Его взяли вчера. При обыске нашли мои письма. Сегодня утром слышу стук в двери. Всю ночь не спала, лежала одетой. Думала, пришли за мной, а там сержант знакомый. Я не успела поздороваться с ним, как он шепнул: «Беги, через полчаса придут за тобой». Я хотела его спросить, что с Мишей, а он уже побежал по лестнице вниз. Взяла портфель — и прямо к вам.

Мы ее приняли полностью под нашу опеку. Поместили к знакомым. Поместить в лагерь нельзя было. За ней, надо предполагать, пустили в погоню и лягавых и гончих в большом количестве. Мы встречались с ней, много беседовали. А потом переправили ее на запад. Она найдет свое место в борьбе.



«Несколько месяцев я был без работы, дошел до края. Всё время скрывал, что я русский. А тут не выдержал: подошел к солдатам — они ездили на грузовике куда-то, — говорю: «Дайте что-нибудь поесть, третий день не ел ничего». Вся группа солдат затихла, смотрят с удивлением: «А что, — русский будешь?» А другой: «Давно из России?» Третий:

«Дайте ему поесть — не всё ли равно, давно или нет». Дали хлеба и колбасы. Вдруг майор появился, незаметно. Солдаты испугались. Он как будто не заметил ничего. Приказал старшине: «Езжай до площади, там обождите меня. Сейчас приду». Солдаты отъехали, и я хочу смыться. Он меня взял за руку и говорит: «Пройдемся с тобой». Мы пошли. «Ты давно в Германии?» — «Двадцать лет». «Скажи ты мне, почему немцы так хорошо живут? Победенные!» Я посмотрел искоса на него. «Не бойся, мне некогда спрашивать, а тебе всё равно тикать надо, таких, как ты, всех вылавливать будем. Ну говори!» — «Товарищ майор, вы не смеетесь? Сейчас, ведь, они плохо живут, а если это еще продлится, то будет совсем, как...» Мне было страшно выговорить «у нас». — «Понимаю». Потом протянул мне папиросу. Мы шли с ним молча до конца улицы. — «Ну иди и делай, что я тебе сказал». Я повернулся и пошел. Прошел десяток шагов и вдруг слышу: «Стой!» Остановился. Майор подходит ко мне, держит что-то в руках. — «Бери». Смотрю: две пачки папирос. Повернулся молча и ушел».



«Едет легковая машина по восточной зоне. Из города Н. в город М. В ней полковник танковых войск, капитан НКВД и главный инженер большого завода, месяца два назад приехавший из Москвы. Все сильно навеселе. «Поджигатели войны! Войны захотели! Трумэн и Черчилль говорят. А у нас таких мало? Всех повесить надо!» — Полковник выругался. А капитан ему в ответ: «Я одного знаю, его бы повесить... Тогда остальных можно было бы не вешать». «А ты что думаешь?» — спрашивают меня. А у меня мороз по коже от таких слов. Думаю: завтра протрезвятся, меня испугаются, да профилактически заберу. «А? — говорю — ничего не слышал, простудился, все уши заложил». Часто с ними езжу. Когда

трезвые — молчат, а как немного выпьют, тогда костят всё на свете. Видно, что дошло до горла».

✱

«Сам видел, могу вам нарисовать, как выглядят. В Дрездене все знают. Фабрика работает в три смены. Кандалов не видел, но наручники сам в руках держал. Они сделаны с расчетом, чтобы трое могли двигаться на одной цепи. Народ разное говорит. Одни говорят, что это сделано для будущих военнопленных, для сокращения числа конвоиров. Другие — для новых транспортов рабочих-рабов из стран народной демократии. Третьи уверены, что это хороший признак, что большевики их готовят для самих себя. Даже знают, кого будут вести на одной цепи».

✱

Поляк, партизан. У них маленький отряд, есть и 5 русских солдат. Разными путями пришли. Трое из них искали партизан-поляков. Партизаны их остановили на лесной дороге. Солдаты спрашивают: «Вы партизаны? Поляки? Ну, тогда мы с вами». «Они теперь первые в отряде. Мы могли бы иметь гораздо больше, но не можем принимать не знающих польский язык. Теперь партизаны не живут постоянно в лесу». У нашего гостя разочарование. Связь со своей эмиграцией потеряна. Иностранцы поляков предали. Они никому больше не верят. Они в тупике, и у них происходит серьезный пересмотр отношения к русскому народу. За нашим партизаном охотились. Советский офицер помог ему бежать. Комитет оказал ему необходимую помощь.

Мы их ждали две недели. В установленный день они не пришли. Мы их ждали еще неделю. Во второй установленный срок они не пришли. Мы установили дежурство. Один из них явился вечером. Он знал дорогу, был уже два раза у нас. Мы его встретили. Обнялись.

— Удално?

— Все в порядке.

— А где же Василий Михайлович?

— Василий Михайлович, — медленно произнес наш друг, — не мог приехать. Василий Михайлович сослан в Россию.

В комнате повисло молчание. Под гнетущей тяжестью сникли плечи. Как молния сверкало в сознании: сослан в Россию. Сослан в Россию!..

Проговорили до рассвета. Берлин просыпался, когда мы провожали друга. Утренняя прохлада — как ключевая вода. Заря занималась, и радостно было от победы света.

Ну, что же: и «ссылный» — борец. Их миллионы, таких «ссылных». А здесь место одного сосланного заняли трое.

Трещит, ломается лед; костер революции вот-вот займется. Искры разлетаются из Берлина, западают в души, и люди проносят эти искры в Россию.

Никто не потушит их!

А на великом празднике освобождения нашей Родины мы вспомним о тебе, остров свободы, многострадальный и мужественный город Берлин!

РЕЧЬ

**на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы» 13 мая 1951 года в
Берлинской городской опере.**

Дорогие друзья, разрешите мне сказать русским участникам: «Добро пожаловать, мои братья и друзья, представители великого народа!»

Этот час нашей сегодняшней встречи — час понимания, из которого только и может родиться сила, нужная для достижения того, чего мы хотим достичь. В отличие от хладнокровных технологов войны, мы работаем для мира; все наши действия продиктованы одной единственной мыслью: как сохранить, как выиграть мир для человечества? Мы в достаточной мере убедились, что можно выиграть войну; мы уважаем и, частично, восхищаемся военными вождями, выигравшими войну, но мы видим и переживаем несовершенство того, что они духовно подготовили; мы дорого расплачиваемся за их промахи, допущенные в вот уже тридцатилетней европейской гражданской войне, которой еще не видно конца. Как немец, я вспоминаю о времени, проведенном мною в концлагере, я вспоминаю, как мои измученные товарищи, оставаясь наедине, мечтали о возмездии мучителям, и, признаюсь, я им всегда возражал и готов повторять всегда: из мести не возникнет ничего нового. (Аплодисменты). Мы не можем уподобиться нашим мучителям (аплодисменты), и мы никогда не будем достойны предстать перед нашим народом, если мы не найдем ничего лучшего, как лишь повторять то, что содеяно в отношении нас. Мы должны преодолеть этот мир ненависти, этот мир мучителей. Я помню час, когда радио принесло весть «о безоговорочной капитуляции»; я никогда не забуду этого часа — одного из горчайших часов, которые я, как немец, пережил. Какое фундаментальное отсутствие представ-

ления о задачах этой войны! Как вообще можно было совершить такую непростительную историческую ошибку: отождествить народ с режимом? За эту ошибку мы все теперь дорого расплачиваемся: и побежденные и победители! (Аплодисменты).

Когда я вернулся в Берлин, первая фраза, услышанная мною от одного из представителей держав-победительниц, была: «Ну, берлинцы, вы легко сделаете выбор, ибо вы против русских!» Я ему ответил: «Вы никогда не пытались понять, что может происходить в сердце какого-либо народа, но мы вам здесь, в Берлине, покажем, что творится в сердце народа германского». И вот, в Берлине, в городе, пережившем страшнейшие события, какие только выпадали на долю народа, в этом самом городе мы пришли к ясному сознанию исторической необходимости в качестве средства к обретению свободы, как нашей, так и всех народов мира, — проведения четкого различия между советским режимом и великим русским народом (аплодисменты).

Я никогда не забуду один апрельский день 1947 года, когда, после большого доклада, прочитанного мною на партийном собрании моей партии, в конце собрания подошел ко мне, осторожно и боязливо, удостоверясь, что поблизости никого нет, известный мне в лицо русский политический офицер связи. Он со слезами на глазах благодарил меня за слова, которые я нашел, говоря о русском народе. А я ничего другого не сказал, как то, что никто не может вырвать из моего сердца любви к великому русскому народу, который дал миру так много великого и прекрасного. Достоевский нарисовал драму нашего времени: Великий

Инквизитор заключает в темницу и допрашивает Христа, вернувшегося на землю: «Почему Ты вернулся? Люди не хотят быть свободными. Предоставь нам владычествовать над людьми, ибо лишь наше господство удовлетворяет их». Христос молчит, он всё время молчит. И это молчание есть молчание победителя. Молчание духа, побеждающего силу и власть, воображающих, что они могут господствовать вечно.

Как часто говорил я моим друзьям из лагеря союзников: «Будете ли вы повторять ошибку, полагая себя вправе отождествлять русский народ с его теперешними властителями? Поймете ли во-время, что перед нами одна задача: освободить не только немецкий, но и русский народ, ибо в противном случае и сами вы не будете свободными?» Не случайно, что именно здесь, в этом городе, впервые осуществился замысел дружбы между русскими и немцами, и этот замысел пронесем мы во все свободные страны. Только из дружбы народов, только из ясного сознания, что мы должны освобождать, но не покорять и завоевывать народы, только из этого ясного сознания может возникнуть и развиваться лучший мир.

Уже наступает час просветления, и неправда, будто последнее, решающее слово остается за силой. В конечном итоге решает дух, более сильный, чем вся земная мощь, более сильный, чем вся земная власть, и только власть, проистекающая из духа правды, может найти конечное решение. Нужно неустанно повторять, пока не поймет весь мир: сила советской тирании гнездится во внутренней слабости Запада, который еще не осознал своей реальной мощи и своего исторического задания (апломсы). Мы не хотим здесь, в Берлине, на передовых позициях, оказаться виновными в этом непонимании: мы никогда не будем проповедывать ненависти к русскому народу, но всегда и всем сердцем стремиться к тому, чтобы русский и немецкий народ обрели свободу совместно и в единении. Я хотел бы дожить до того дня, когда представитель освобожденной России возьмет слово в здании нашего Рейхстага; я хотел бы вновь увидеть прекрасную широкую Волгу; я хотел бы вновь посетить простую избу русского крестьянина, у которого я, как военнопленный, пользовался дружбой и гостеприимством; вместе с ним мирно

пить из самовара чай и чувствовать, что ради свободы стоит жертвовать и жизнью.

Мы отчетливо сознаем, что ведущаяся нами борьба во много раз важнее, чем борьба маленьких стратегов из пивных всего мира, оперирующих атомными бомбами, оружием и дивизиями. Мы не дети и не столь наивны, чтобы предполагать, что сможем невооруженными противостоять нападению. Мы отчетливо сознаем, что для защиты от нападения мы должны быть сильны и вооружены. Но мы также знаем, что самое сильное оружие есть оружие духа, оружие справедливой идеи мира, который мы должны выиграть прежде, чем дело дойдет до войны (апломсы). Для европейских народов и для народов всего земного шара нужны проводники идеи мира; мы должны отбросить в сторону все старые силы, живущие представлениями прошлого, желающие воздвигнуть между Германией и Францией или Германией и Россией стену прошлого, ибо они не могут себе представить будущее развитие вне категорий минувшего столетия. Мир стал слишком мал, чтобы мы могли жить и существовать как изолированный народ. Мир стал слишком тесен; мы должны каждому народу протянуть руку братства, не только европейским народам, но и великому русскому народу, и только тогда мы сможем надеяться достичь истинной и конечной свободы. В нас живет, пульсирует и внутренне движет к достижению цели сила этого глубокого познания, приобретенного нами, когда мы глядели прямо в глаза страшному лику нашего времени. Мы знаем, что устроить нашу эпоху можно лишь в случае, если ее вождь и идеологов осенит сознание, уже давно живущее в руководимых ими народах — сознание необходимости новых путей.

И Германия и Россия, каждая по-своему, многое дали миру; они — лишь часть вселенной, но горе нам, если между ними вновь вспыхнет ненависть, если силам, которые мы здесь хотим представить, не удастся истребить самый корень ненависти. Россия, великая страна мыслителей, философов, поэтов, дала нам, немцам, и всему миру слишком много, чтобы мы не были ей благодарны, и русский человек — да позволят мне употребить излюбленную у немцев формулу — с его добрыми качествами, его внутренним богатством, с прав-

дой его сердца и стремлением к культуре, такой, каким его живым, воочию показал нам Толстой, этот русский человек не истреблен советской системой! — Он жив, этот русский человек, и мы впервые присутствуем при замечательном явлении — наличии эмиграции, выросшей не из традиций и воспоминаний прошлого, но из неистребимого стремления человеческого сердца быть свободным, даже тогда, когда люди ни разу в своей жизни не испытали, что такое свободная жизнь. Этим нашим русским братьям протягиваем мы, немцы, руку. И я надеюсь, что политики, партии, стратеги, думающие, что они понимают мир, действительно поймут, какая огромная сила может возникнуть из общения свободных немцев и свободных русских.

Наше дело только начато, но это начало, этот фундамент заложили мы в Берлине тем, что доказали свою готовность пойти на любые жертвы ради утверждения свободы. Мы заложили этот фундамент еще раньше, ибо никогда не одолевала нас ненависть, и по отношению к нацистским тиранам в концлагерях испытывали мы лишь чувство: «Господи, прости им, не ведают, что творят».

Но мы-то хотим знать, что мы творим, творим же — то, что только и может обеспечить будущность нашего народа и всего мира. Я хотел бы закончить речь восклицанием, которым я уже в другом месте приветствовал моих русских друзей: да здравствует свобода великого русского народа! (Бурные аплодисменты).»

Вне времени

Есть лишь один город на земле, где теперь так пишут стихи: Париж. Мир условного одиночества, намеков, блужданий в самом себе, размышлений о смерти.

Бравому мажору соцзаказа на Родине противостоит унылый минор поэтических «исповедей», отличающихся одна от другой лишь размерами дарования. Счастлив тот из «парижан», кому удастся хоть изредка освободиться от перепеваний Баратынского, Тютчева и Блока и показать свое подлинное «необщее выражение»! И, раскрывая книгу стихов, изданную в Париже, невольно, прежде всего, ищешь — нет ли в ней «просветов» в каноническом тумане самососредоточенья?

Книга Сергея Маковского «Круг и Тень» радует именно этими просветами. Но даже высокое мастерство стиха не радует там, где чувствуешь: это от Баратынского (как, например):

«Ах, нет действительности, нет
Ни плоти немощной, ни тленья» и т. д.

или

«В какое призрачное бытие,
Куда он канул этот день бесследный...»

А вот от Тютчева:

«Всуе пытаю ту же
Глухонемую тьму.
Сонмами звезд мерцаю,
Вечность глядит на меня...»

или

«Сегодня ветер долго слушал я
В заросших вереском июньских чащах,
И час и два баюкали меня
Глухие жалобы вершин шумящих».

Зато те стихи Сергея Маковского, где он не подпадает под искушение идти по дорогам, проложенным сто лет назад, доставляют искреннюю, большую радость, кото-

рую всегда несет с собою настоящий поэт. Одно из таких стихотворений, на наш взгляд, лучших в сборнике, позволим себе привести целиком:

Затишье виллы... Мерным стоном
Всё чьи-то гаммы. Солнце. Лень.
Из детской — сад, а над балконом
Опущенной маркизы сень...

И ветер с моря, под маркизу
Нырять весело, хмельно,
Слегка пощелкивает снизу
В напряженное полотно.

И это всё: одна минута,
Одна зарница волшебства,
Прошли года, но почему-то
Ве мне с тех пор она жива...

Уносят к югу, к счастью, к детству
Тугие всплески полотна —
И чьи-то гаммы по соседству
Из незнакомого окна.

Широкому читателю Сергей Маковский известен, как художественный критик, как автор умных и выразительных «Силуэтов русских художников»; как поэт, он ему почти неизвестен, несмотря на то, что в «послужном списке» Маковского значится и сотрудничество в «Апполоне».

Причина этому, думается нам, та, что поэт сознательно суживает свой кругозор, поддавшись услужливому соблазну стать «поэтом для немногих». Между тем, вышедшее (если не ошибаемся) в 1945 году в Париже его стихотворное переложение Апокалипсиса свидетельствует о том, что автору по силам и более богатая палитра, чем та, которой он пользуется в «Круге и Тенях». Об этом, последнем, нельзя не пожалеть: сборник «Круг и Тени», несмотря на все свои поэтические достоинства, как бы «вне времени». Читатель вправе ожидать большего.

А. Неймирок.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. Круг и Тень. Пятая книга стихов. Издательство «Рифма». Париж, 1951.

Грустная книга

Бывают такие книги: в груде временно-го и больного автор старается подчеркнуть и утвердить вечные, незыблемые, здоровые черты в жизни и этим словно подбодрить, подкрепить не только читателя, но и самого себя. И вместе с тем, оставаясь правдивым, свое повествование автор ведет в таком грустном тоне, что и тон этот, и правдивое изображение убеждают читателя в одном: жизнь безотраднa, а наше время едва ли не безнадежно. Добросовестно изображенная автором правда, а главное его внутреннее ощущение, отразившееся в изображенном, действуют сильнее, чем его попытки «от ума» опровергнуть навешанный им же самим вывод.

Роман В. Корсака «Один», пожалуй, принадлежит к таким книгам. Полубольной от раны русский эмигрант приезжает из Африки, со службы у арабского царька, во Францию. Новые, но опять чужие места, маленькие, в общем не плохие, но тоже очень чужие люди — одиночество, тоска. Русское общество — то безнадежных «политиков», с разговорами на давно говоренные и переговоренные темы, однако общество еще с претензиями на что-то; то других, более интересных, культурных, хороших, но от которых веет каким-то угасанием или прозябанием. Жизнь в берлоге мансарды, упорная работа, встреча с когда-то любимой девушкой, давно вышедшей замуж за другого, болезнь — за героем трогательно ухаживают окружающие его хорошие друзья. Удача — работа героя высо-

ко оценена авиационной фирмой; встреча с чудесной девушкой-итальянкой: выздоровление уже не только физическое, а и духовное.

Всё это могло быть и всё это может быть. И герой, в сущности, не был духовно болен: это прекрасный, честный русский человек, быть может, только чуть «мягкотелый» (как, впрочем, и полагается хорошему русскому человеку) со здоровыми и твердыми жизненными взглядами, воспитанный христианством, здоровым русским укладом и старой русской — общечеловеческой — культурой. Он только немного «потерялся» в чужом мире, среди чужих людей и — среди чужой ему вообще новой жизни. И девушка-итальянка, тоже умная и чистая, тянущаяся от прозябания в мецанской среде к человеческому теплу, к человеческой жизни, тоже, наверное, существует на свете, и не в одной изображенной автором личности, а в миллионах: люди остаются людьми.

Всё это так, и автор будто бы вывел героя на правильную дорогу, но почему нас не оставляет чувство, что радости у героя всё-таки не будет и что его дальнейшая жизнь, даже и с чудесной девушкой, всё равно будет словно тронута отравой какой-то неизбежной печали? Не потребовалась ли автору встреча героя с девушкой только для того, чтобы доказать, что несмотря на печаль, жизнь всё же не плоха и должна идти именно так, как пишет он, и тогда всё будет хорошо? Не нужно ли всё это только для того, чтобы «утвердить» жизнь и ободрить читателя и самого себя?

В. КОРСАК. «Один». Роман из эмигрантской жизни. Париж, 1951.

Думается, что герой романа, во многом или в малом, отражает самого автора: не автобиографичен ли роман? Покойный В. Корсак, о котором автор этих строк не знает абсолютно ничего, но ещё один роман которого ему довелось прочесть («История одного контролера» — такой же «тихо-грустный» и также старающийся утвердить и ободрить), очевидно, был похож на героев этих романов: культурный и хороший русский человек, глубоко порядочный, верящий в Россию, в людей, в жизнь и тщетно пытавшийся внушить другим свои мысли, чувства, убеждения. Тщетно потому, что автор, по-русски не умеющий кривить душой, вместе с тем, должно быть, ощущал, что время наше всё же больное и что одним убеждением его не излечишь, — и это помимо его воли отражалось в его романах. Отсюда печальная окраска его творчества, логически утверждающего жизнь, а худо-

жественно только подчеркивающего беспомощность этого утверждения. Трагическое противоречие, от которого, наверное, страдал сам автор и страдают его герои, которое заставляет относиться и к автору и к его героям с теплым чувством, но которое бессильны разрешить попытки обращения только к вечным и здоровым началам жизни.

«Иные времена, иные песни»: очевидно, что для решения этого противоречия нужно рождение каких-то новых форм, в которые должно отлиться это вечное, так чтобы оно отвечало современному строю жизни, современным мыслям, чувствам и стремлениям человека. Только тогда он найдет для себя какое-то успокоение, излечение от опустошения и потерянности в больном водовороте нашего времени, — для того, чтобы потом идти к новому неизвестному, опять мучиться им и страдать.

Г. А.

Полет «по ломаной кривой»

Этот взлет авторской души —

«... всё выше, выше,
в эфир прозрачно-голубой» —

труден и прерывист. Это полет «по ломаной кривой», настойчиво тревожащий авторское поэтическое сознание, — полет —

— «В такую высь, к такой свободе...»,
«... В пустынные миры
Сквозь мрак и дождь к созвездью Геркулеса».

Но летит не только душа поэта:

— «уже летит над лугом синева,
.. быть может, смерть»,

летят ангелы, ветер, бумажный цветок, сквозняк, «органный тром», ночь, осенние листья, детские воздушные змеи — центральный образ, давший заглавие сборнику. Поэт не покидает землю, но он — над ней, выше ее власти. Даже тюрьма, «где раб с винтовкой сторожит», не в силах приостановить это тяготение в высь:

— «А я над городом парю, —
Моя дорога так воздушна,
Моя тюрьма мне так послушна»,

ибо —

«В застенках всех земных широт
Свободы легкое дыханье».

Замечательно, что с движением, с полетом ассоциируется у поэта и

«живая тень внимающего Бога».

Авторский полет — поиски свободы, уход в иные миры, — он:

«Сквозь асфальтовый покров
Различает, многоводный
Плавный ток иных миров».

Это стремление — «в бессмертье»; даже «остывающее тело рвалось к лазурной высоте». Самая смерть —

— «Мой первый день земной
моей разлуки,
Мой первый путь к лазурным
высотам!»

«Железная земля тяжка», но поэт не отрицает —

— «Мир, переполненный теплом,
Любовью и привычным злом,
Весь оснащенный нашей болью».

В него «безмолвно ангел деловитый
нисходит...»

Но земля погибнет от прилетевшего «шара» — «звезды», пророчествует поэт.

Быть может, этот полет — иллюзия, «пузырь», в котором есть место только для «двойника» поэта? Быть может, это — «буйная небылица», прельстившая поэта? Оптический обман?

Для поэта ясно одно:

— «Живое сердце мыслить учит
Не в глубину, а в высоту».

Даже любовь всего острее выражена в образе шекспировской Офелии —

— «В цветах, в слезах, шурша фатой,
Офелия скользит по дому
(Так ветер входит в дом пустой,
Так сон является больному)».

И любовь не остановит души поэта от зачаровавшей его «ломаной кривой» полета:

— «Оставь душе ее свободу,
Но пламень сердца укроти».

ВЛ. КОРВИН - ПИОТРОВСКИЙ, «Воздушный змей». Стихи. Париж, 1950, 91 стр.

Таковы основные черты поэзии Вл. Корвина-Пиотровского. Его конкретно-образный, четкий язык как бы подчеркивает

неслучайность его поэтического мира. Сборник — подлинно органичен. Тематика и трактовка поэтического материала глубоко характерны для господствующего в зарубежной поэзии настроения ухода из реальности. Вероятно, муза нашего автора обречена и в дальнейшем, как любимейший его образ — детский «воздушный змей», касаться земли, но сила его поэзии,

конечно, в романтическом стремлении поднаться над жизнью в неясно-пленительную высь.

Благодарно отмечает читатель бережное отношение к языку, — во всем сборнике неясен, кажется, лишь один образ:

— И было весело качать ее текучее миганье» (?) — на стр 63.

П. Тверской

КНИГИ НА ОТЗЫВ

В редакцию на отзыв поступили следующие книги:

Родион Березов. Дождь и слезы. Стихи. Изд-во «Дело», Сан-Франциско, 1951 год, стр. 100.

Южный крест. Литературно-художественный сборник. Буэнос-Айрес. 1951 г., стр. 192.

Издания Института по изучению истории и культуры СССР. Мюнхен, 1951 г.

Б. Микорский. Разрушение культурно-исторических памятников в Киеве в 1934-1936 годах, стр. 22.

Д-р Григор Саарун. Борьба армянской церкви против большевизма, стр. 30.

Проф. д-р И. Л. Кованьковский. Финансы СССР во вторую мировую войну. Стр. 48.

«Г р а н и». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли.

Май-июнь 1951 года.

Редакционная коллегия: Г. Андреев, Л. Ржевский, Е. Романов (главный редактор).

К печати принимаются только произведения, ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в переписку не вступает. Желаящие получить рукописи обратно должны указать свой адрес. Перепечатка без разрешения издательства воспрещается.

Copyright by Verlag „Possev“

Адрес редакции: Verlag „Possev“. Limburg/Lahn.

„Grani“, Edition April - June 1951, Published quarterly. Circulation 2000

Sponsor — International Refugee Organisation

Publisher: Vladimir Gorachek, Limburg/Lahn

Printer: Limburger Vereinsdruckerei in Limburg/Lahn

Editorial and Executive Office: Verlag „Possev“, Limburg/Lahn
Postschließfach 77 US Zone Germany

Продолжается подписка на 1951 год

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ, ИСКУССТВА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ * НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
* БОЛЬШОЙ ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И ПРОБЛЕМ ИСКУССТВА * ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА * БИБЛИОГРАФИЯ

Редакционная коллегия: Г. Андреев, Л. Ржевский, Е. Романов (главный редактор).

Выходит 4 раза в год. В 1951 году выйдут №№ 11, 12, 13 и 14. В ближайших номерах будут напечатаны:

Н. Нароков: Мнимые величины — Роман.

В. Мартов, Угасшие звезды — Роман. Часть 2-ая.

Ю. Соколов: Пути-дороги — Повесть.

СТИХИ: Ю. Иссако, О. Анстей и др.

СТАТЬИ: Н. Кошеватого, В. Горича, Н. Громова, В. Маркова, Н. Осипова, Р. Редлиха, Л. Ржевского, Евг. Шугаева, Н. Берберовой, Г. Струве, В. Мерцалова, А. Иванова, В. Горелова, В. Поремского, А. Уралова, Н. Рутыча.

ВВЕДЕН НОВЫЙ ОТДЕЛ: «ДОКУМЕНТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

	На год (4 номера)	Цена отдельн. номера в розничн. продаже
В Германии (в марках)	12.00	4.00
В США, Канаде (в ам. долларах)	4.00	1.25
В Англии (в шилл.)	20/—	6/—
В Австралии (в шилл.)	22/—	7/—
Во Франции и Марокко (франки)	960	300
В других странах (в ам. долларах)	4.00	1.25

Подписка принимается в Издательстве «Посев» или у представителя
Издательства «Посев» в любой стране.

Год издания VI

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

под редакцией Е. Романова

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Башилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — Суриков, как художник-историк; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, Б. Тополев, А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Питирим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. В-в. — Древнерусская икона; Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 3

В номере:

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Ггарин — Белые ночи; Н. Табурин — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, Б. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); Б. Филиппов — Чудодей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

№ 4

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Зава-

лишин, В. Тополев, В. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаев — Музыкальная жизнь Америки; В. Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршенин О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Предвоенная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Шугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; Библиография; В. Стремлев — «Размышление о ювелирах».

На складе издательства есть небольшое количество старых (2 - 5) номеров.

Цена отдельного номера: 3 марки (заграницей 1 доллар с пересылкой).

Комплект (№№ 2 - 5) — 8 марок (заграницей 2 доллара с пересылкой).

№ 6-7

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

Цена 8 марок

заграницей — 2,50 доллара.

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршенин — Стихи; Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина; В. Мерцалов — Сталин.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 9

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Филиппов — Монастырь; Святое Паозерье; А. Шишкова — Стихи; Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; Б. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Непринятая жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — И Т К; Жак Сорель — Запад и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927-1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

Находится в печати № 13

Продолжается подписка на 1951 год

НАШИ ИЗДАНИЯ

«ПОСЕВ»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

«ГРАНИ»

Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли

ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

КНИГИ

Большой склад. Специальный каталог

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ПОСЕВ

**ВО ВСЕХ СТРАНАХ РУССКОГО
РАССЕЯНИЯ**

AUSTRALIEN: W. Upenik, 13, Floodstreet, Leichhardt (Sydney), NSW * B. Jatzenko, 143, Lintonstreet, Kangaroo Point, Brisbane. * Z. Romanchik, 480, Hay Str. Perth * O. Perecrestov, 193, Beaconsfield PDE, Middle Park, Melbourne, Vic. * ARGENTINIEN: G. Knirscha, Pedernera 772 (Flores), Buenos Aires * SÜD-AFRIKA: Mr. S. M. Mishtowt, 100, Sixth Str, Linden-Johannesburg * BRASILIEN: N. Nikitin, Caixa Postal 8095, Correo Braz., Sao Paulo * BELGIEN: N. Platonow, 455, Rue Vanderkindere, Uccle (Bruxelles). * DÄNEMARK: F. Ladischensky, Virum Stationsvej N 136, pr. Lyngby * CANADA: Mr. P. Swoboda, 218 East 28th Street, Hamilton, Ontario * CHILE: B. Miller, Casilla 13153, Santiago * ENGLAND: V. V. Baratchewsky, Russian Book Shop, 26, Tottenham Street, London W 1 * FRANKREICH: „La Renaissance“ 73, Av. des Champs Elysées, Paris 8. Le Semis, Société d'Édition, 6, Rue de Bizerte, Paris 17-e * GRIECHENLAND: Georg Mazarakis und Co., Patission Street 9, Athenes * IRAN: Leonid Popoff, 273, Ave Ferdowski, Theran-Iran * MAROC: A. Zwikevitch, Boîte Postale Ain-Sebaa. Casablanca * NORWEGEN: Fedor Tarakanow, Krusesgt. 5., Oslo * OESTERREICH: Verlag „Lutsch“, Salzburg, Gaisbergerstraße 9. * SCHWEDEN: Tidskriften „Possev“, Postbox 14, Huddinge * SCHWEIZ: Leo Grossen, Postfach-Transit. Bern * U S A.: I. P. Nefedov, 1405, gates ave. Brooklyn 21, N. Y. * S. Podgorny, 4902 California Street, San-Francisco 18, California * VENEZUELA: A. Kandauroff, San Felipe a Pueblo, Nuevo N 26, Caracas.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
19	первая	6 сверху	дол-	должен
25	вторая	13 сверху	Жаркое	Жаркою
29	вторая	22 сверху	скрывать	скрывайся
41	первая	5 снизу	Баронов	Баранов
45	вторая	24 снизу	бало	было
48	первая	28 снизу	гребовать	требовать
97	первая	перед стр. 18 снизу пропуще-	на реплика:	Вера: Это меня
100	вторая	5 снизу	запозревать	не интересует.
113	вторая	11 сверху	с Нону	заподозревать
115	вторая	21 сверху	Спасибо вам.	с Дону
120		16 снизу	Падагог	Счастливо вам.
123		13 снизу	вместе	Педагог
160	вторая	3 снизу	заберу	вместо
165	первая	3 снизу	Круг и Тень	заберут
				Круг и Тени.

Цена 4 марки
